

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Экономическая теория
- Методология экономической науки
- От теории к экономической политике
- Междисциплинарные исследования
- Экономическая история
- Обзоры и рецензии

№2
2022

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 2017 г.
ВЫХОДИТ 4 РАЗА В ГОД

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
МОСКВА

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

научный журнал

№ 2/2022

Является сетевым СМИ
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций;
серия Эл № ФС77-78796 от 30 июля 2020 г.

ISSN 2587-7666

Выходит с 2017 г., периодичность выхода — 4 раза в год

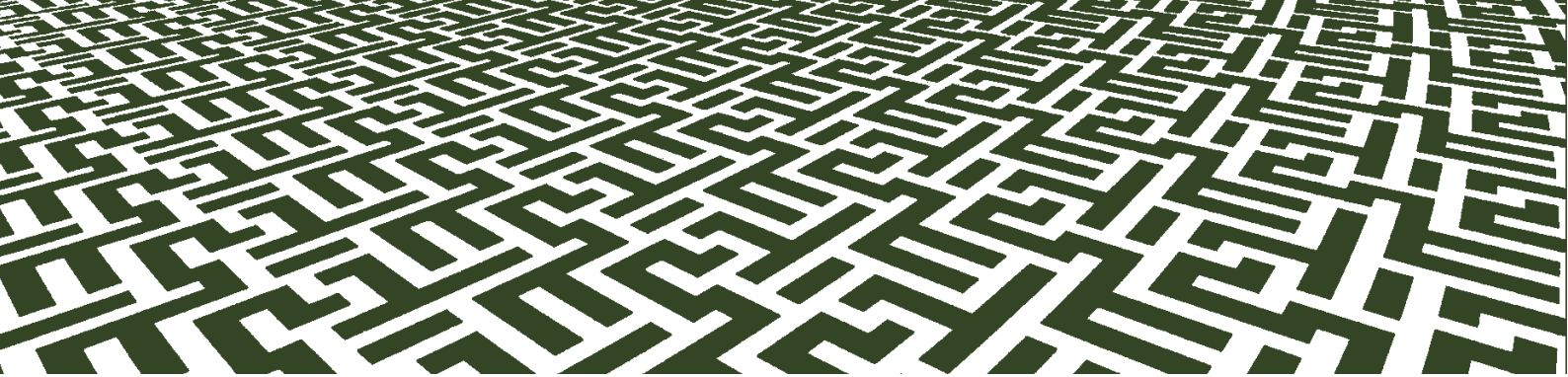
Журнал внесён в перечень ВАК по следующим специальностям:
Экономические: 5.2.1. Экономическая теория
Социологические: 5.4.2. Экономическая социология
Политические: 5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики

Главный редактор П.А. Ореховский
Отв. секретарь А.И. Волынский

Редакционная коллегия

В.С. Автономов	Н.А. Макашева
О.И. Ананьин	<i>зам. гл. редактора</i>
М.Р. Байсингер (США)	В.С. Мартьянов
А.Е. Варшавский	В.Ю. Музычук
М.И. Воейков	Р.М. Нуреев
<i>зам. гл. редактора</i>	А.Н. Олейник (Канада)
Г.Д. Гловели	Н.М. Плискевич
Р.С. Гринберг	<i>зам. гл. редактора</i>
В.Е. Дементьев	Л.И. Полищук
А.П. Заостровцев	В.М. Полтерович
<i>зам. гл. редактора</i>	Т.Ф. Ремингтон (США)
Л.В. Зеленоборская	А.Я. Рубинштейн
Р.И. Капелюшников	М.Е. Симон
С.Г. Кирдина-Чэндлер	Н.Е. Тихонова
О.Б. Кошовец	М.Ю. Урнов
А.М. Либман (ФРГ)	Б.А. Хейфец
В.И. Маевский	Т.В. Чубарова
	<i>зам. гл. редактора</i>

Компьютерная верстка — Хацко Н.А.
Адрес издателя: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32
тел./факс: 8(499) 724-15-41
e-mail (издателя): ieras@inecon.ru
e-mail (для авторов статей): editorqet@gmail.com
© Вопросы теоретической экономики, 2022



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

THEORETICAL ECONOMICS

- **Economic theory**
- **Methodology of economic science**
- **From theory to economic policy**
- **Interdisciplinary studies**
- **Economic history**
- **Surveys & reviews**

Nº2
2022

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

MOSCOW

VOPROSY TEORETICHESKOY EKONOMIKI
scientific journal

№ 2/2022

Chief Editor Petr Orekhovsky
Executive Secretary Andrei Volynskii

Editorial board

V.S. Avtonomov	N.A. Makasheva <i>Deputy Chief Editor</i>
O.I. Anan'in	V.S. Martyanov
M.R. Beissinger (USA)	V.U. Muzychuk
A.E. Varshavskiy	R.M. Nureyev
M.I. Voyeikov <i>Deputy Chief Editor</i>	A.N. Oleinik (Canada)
G.D. Gloveli	N.M. Pliskevich <i>Deputy Chief Editor</i>
R.S. Grinberg	L.I. Polishchuk
V.E. Dementiev	V.M. Polterovich
A.P. Zaostrovtssev <i>Deputy Chief Editor</i>	T.F. Remington (USA)
L.V. Zelenoborskaya	A.Y. Rubinshtein
R.I. Kapelyushnikov	M.E. Simon
S.G. Kirdina-Chandler	N.E. Tikhonova
O.B. Koshovets	M.Y. Urnov
A.M. Libman (FRG)	B.A. Kheyfets
V.I. Mayevskiy	T.V. Chubarova <i>Deputy Chief Editor</i>

Address: 117218, Russia, Moscow, Nakhimovskiy pr., 32
tel./fax +7 499 724 1541
e-mail (direction): ieras@inecon.ru
e-mail (redaction): editorqet@gmail.com
© Voprosy teoreticheskoy ekonomiki, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

О.Б. Кошовец

Экономический агент в ваших мозгах: нейроэкономический дискурс и границы рационального 7

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

В.Л. Тамбовцев

Что могут делать институты? Метафоры организационного институционализма 22

ОТ ТЕОРИИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

М.Э. Дмитриев, В.Б. Крапиль

Стратегическое планирование на распутье: старые вызовы и новые возможности 39

Е.Е. Шестакова

Старение населения и изменение в социальной политике развитых стран 60

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Я. Рубинштейн

К вопросу теории и методологии исследования культурной активности населения 77

Я.Г. Шемякин

Проблема культурной детерминации различных сфер жизни социума: латиноамериканский опыт в универсальном контексте (институциональное измерение) 92

В.Л. Римский

Архаизация судебной власти России: исследовательская гипотеза 112

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

М.А. Фельдман

Первый пленум: к вопросу о значении Совета при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР в мае 1935 г. 128

А.Ю. Ермолов

Причины экономического краха СССР в российской историографии 139

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Н.М. Плискевич

Человек, общество, государство в годы постсоциалистической трансформации (о книге «Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя») 155

А.П. Заостровцев

«30 лет после социализма: Политическая экономия российской эволюции»: 21-я ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» 172

CONTENTS

ECONOMIC THEORY

O. Koshovets

An Economic Agent in Your Brain: Neuroeconomic Discourse and the Limits of Rationality 7

METHODOLOGY OF ECONOMIC SCIENCE

V. Tambovtsev

What Can Institutions Do? Metaphors of the Organizational Institutionalism 22

FROM THEORY TO ECONOMIC POLICY

M. Dmitriev, V. Krapil

Strategic Planning at the Crossroads: Old Challenges and New Opportunities 39

E. Shestakova

Population Ageing and Changes in Social Policy in the Developed Countries 60

INTERDISCIPLINARY STUDIES

A. Rubinshtein

To the Issue of Theory and Methodology of the Study of Cultural Activity of Population 77

Y. Shemyakin

The Problem of Cultural Determination of Various Spheres of Social Life: Latin American Experience in a Universal Context (Institutional Dimension) 92

Vladimir Rimskiy

Archaization of the Russian Judiciary: A research Hypothesis 112

ECONOMIC HISTORY

M. Feldman

The First Plenum: On the Question of the Significance of the Council under the People's Commissar of Heavy Industry of the Ussr in May 1935 128

A. Ermolov

The Views of Modern Russian Scientists on the Economic Problems of the Late USSR 139

SURVEYS & REVIEWES

N. Pliskevich

The Man, the Society and the State in Years of Post-Socialist Transformation (About the Book «Dismantling Communism. Thirty Years Later») 155

A. Zaoztrovtssev

«Economics and Sociology»: XIX Annual International Conference from the «Leontiev Readings» 172

О.Б. Кошовец

*к.филос.н., старший научный сотрудник Институт экономики РАН
(Москва)*

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АГЕНТ В ВАШИХ МОЗГАХ: НЕЙРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ГРАНИЦЫ РАЦИОНАЛЬНОГО¹

Аннотация. Ключевые понятия экономической теории фундаментально зависят от модели *Homo economicus*, предполагающей на онтологическом уровне, что человек — это рациональная (калькулятивная) машина. Попытки отказаться от этой модели или усовершенствовать её на основе эмпирического изучения поведения и экспериментальных практик в итоге привели к тому, что принцип так или иначе сохраняется (по крайней мере, в неявном виде или в виде нормативного ориентира). В этой работе мы попытаемся ответить на вопрос, может ли нейроэкономика решить эту проблему? Данная молодая дисциплина обещает радикально пересмотреть стандартную модель экономического агента и её ключевую предпосылку о рациональности. Мы последовательно рассматриваем, насколько в действительности обоснованы претензии нейроэкономики (её двух весьма различных исследовательских программ) на то, чтобы снабдить экономическую науку более реальным «экономическим человеком» и способен ли при этом экономический агент не быть рациональным? Несмотря на кажущуюся радикальную несовместимость стандартной и нейроэкономической моделей экономического человека, лежащая в основе первой предпосылка рациональности многократно усиливается в рамках нейроэкономики. Более того, при внимательном рассмотрении обнаруживается, что нейроэкономика полностью разделяет со стандартной экономической теорией ключевые эпистемологические принципы в понимании поведения и выбора. Вместе с тем, если стандартная экономическая теория работает с упрощённым нереалистичным представлением о человеке, то нейроэкономика идет гораздо дальше, подменяя человеческого экономического агента (пусть и абстрактного и представляющего из себя рациональную калькулятивную машину) на нечеловеческого агента, полностью лишённого свободы воли и наделяемого рациональностью извне (подобно голему, в которого вдувают душу). Наконец, несмотря на всю свою революционность, нейроэкономика оказывается всего лишь современным изводом механического материализма XVIII в., а также закономерным продолжением и развитием его ключевого онтологического построения — «церебрального субъекта». Это, в свою очередь, одна из ключевых интуиций европейской теоретической культуры, предполагающая бездоказательное, метафизическое по своей сути отождествление самости (души, сознания, разума, поведения) и мозга — её вместилища. Таким образом, в своей трактовке экономического агента нейроэкономика допускает фундаментальную методологическую ошибку: даже если допустить, что решению субъекта соответствует строго определённое нейрофизиологическое состояние (что не очевидно), это не дает никаких оснований считать, что нейрофизиологическое состояние является причиной принятия решений или выбора, поскольку из того, что мышление невозможно без мозга, не следует, что мышление и есть мозг или мозг — причина мышления.

Ключевые слова: *нейроэкономика, рациональность, рациональное поведение, экономический агент, Homo economicus, дискурс, поведенческая экономика.*

JEL: A12, B41, C83, C90.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_7_21.

¹ Автор выражает признательность к.филос.н. Т.А. Вархотову, в рамках совместных обсуждений с которым родились некоторые идеи этой статьи. Некоторые из них были последовательно представлены нами на международных конференциях в 2016–2018 гг.

В исторической перспективе развитие экономической теории отмечено резким углублением формализма и абстрактных предпосылок, так как ключевой целью экономического анализа стало создание мощных математических инструментов для анализа социальной действительности. Репрезентация и описательные инструменты ещё сохраняются в рамках многочисленных эмпирических и исторических исследований, однако теория, будучи высоко абстрактной, формализованной и дедуктивистски ориентированной, давно опирается на формальные онтологии, которые дополняются (в интерпретации моделей) многочисленными метафорами, заимствованными из естественных наук. Всё сказанное в полной мере касается ключевой онтологической конструкции экономической науки *Homo economicus* [Биггарт, 2001. С. 54]. При этом, если в случае с моделями, которые изучают конкретные аспекты «экономики», пересобранной как набор статистических показателей и множества операций, обозначенных как экономические и абстрагированных от остальной социальной жизни, их нереалистичность можно игнорировать, ссылаясь на то, что целями моделей является планирование, прогнозирование, проектирование, они выполняют роль экспериментов (или мысленных экспериментов) и аналогий и т.п., то в случае с «экономическим человеком» такая аргументация не совсем проходит. С одной стороны, концепт *Homo economicus* это конкретная модель и чрезвычайно универсальный инструмент анализа поведения человека, не претендующий на его синтетическое видение [Автономов, 1998. С. 48]. С другой стороны, это также набор предпосылок и допущений, образующих онтологическое ядро неоклассической экономики (стандартной экономической теории). Отсюда закономерно вытекает тенденция смешивать «экономического человека» как аналитический конструкт и как определённый антропологический тип. Иначе говоря, по этой причине происходит онтологизация и реификация этого исходно методологического инструмента.

Между тем очевидно, что в онтологии экономической теории *Homo economicus* выступает именно как *антропологический тип*, репрезентируя собой идею *естественности* «экономического», в частности, экономического поведения, которую критиковал К. Поланьи, отмечая, что классическая экономическая теория специально не маркирует, где экономическое поведение, а где не экономическое. По этой же причине «экономический человек» может выступать в качестве социотехнического устройства, способствующего распространению и воспроизводству рациональности (и её ключевого элемента калькулятивности), и в этой связи обладает значительными перформативными возможностями [Юдин, 2008; Callon, 2005]. В этом аспекте «экономический человек» как часть наших экономических знаний и представлений интуитивно, на уровне здравого смысла и наших повседневных практик и привычек мышления зачастую вступает в противоречие с тем, какой мы знаем или видим природу человека (включая и его экономическое поведение в реальной жизни).

Таким образом, можно сказать, что *Homo economicus* — это эпистемологическая «ахиллесова пята» экономической науки. Ибо если статистические показатели благодаря естественнонаучной культуре и социальным практикам бухгалтерского учёта могут выступать в качестве эмпирического базиса, наблюдаемых величин, репрезентирующих то, что называется «экономикой» (аналогично тому, как смесь наблюдаемых величин и эмпирических математических отношений, созданная к XVIII в. в рамках естествознания, стала называться «Природой»), то абстрактный, нереалистичный (в антропологическом смысле) конструкт «экономического человека» постоянно упирается в вопрос, что он описывает? Почему наука, изучающая рациональное поведение человека, не может работать с его более реалистичной репрезентацией?²

² Здесь важно отметить, что модель *Homo economicus* вводилась в духе статистического эмпиризма как нечто «среднее», т.е. традиционно «использовалась экономистами для объяснения не индивидуального, а усредненного, типического, массовидного поведения больших групп — для объяснения результирующей, которая возникает из переплетения множества решений, принимаемых отдельными людьми» [Капелюшников 2020. С.13]. Это необходимое условие формулирования законов и закономерностей.

Представляется, что, хотя почти все экономисты согласны с нереалистическими предпосылками концепта *Homo economicus*, имеются как минимум три ключевые причины — онтологическая, эпистемологическая и дисциплинарная, по которым экономическая теория *принципиально не может от него отказаться*. Экономическая теория по своей сути *агентоцентрирована* (в особенности, когда её предметом стали не экономика или хозяйство, а именно экономическое поведение), таким образом, «экономический человек» (его рациональное/оптимизирующее поведение и выбор) *воплощает собой экономические процессы* (экономические закономерности). Фундаментальной предпосылкой для этого служит отождествление экономического с рациональным, поэтому экономическая теория игнорирует или отвергает нерациональное поведение. «Нерациональное» значит для неё «неэкономическое», а соответственно, и не представляющее интереса. Закономерно, что большинство ключевых концептов экономической теории принципиально зависят от допущений, содержащихся в концепте «экономического человека», — таким образом, эти допущения с необходимостью будут воспроизводиться в экономическом знании так или иначе. Наконец, абстрактный и нереалистичный *Homo economicus* столь устойчив к любой критике, поскольку представляет собой «объект», идеально репрезентируемый математическими средствами, которые стали не только основным средством исследования/проектирования экономической (социальной) реальности, но и формируют формальную онтологию экономической теории. Поскольку принятая модель «экономического человека» идеально соотносится с доминирующей формой репрезентации знания в дисциплине — математическим моделированием, она по сути подпирает и защищает всё здание экономической теории. Однако при этом, по-прежнему, не решается только одна проблема — привязка концепта *Homo economicus* к реальности, для этого необходим эмпирический базис под эту модель.

В этой связи закономерно, что попытки постепенно приблизить «экономического человека» к реальности основаны на рассмотрении принципа рациональности как *эмпирического суждения* о поведении. Между тем в действительности такие поправки нацелены, прежде всего, на то, чтобы никоим образом не затронуть и не снизить уровень формализации и использования продвинутых математических инструментов, который достигнут стандартной экономической теорией. В результате модель «экономического человека» становится лишь более сложной, корректирующей некоторые упрощающие предположения. Примером может служить модель ограниченной рациональности Г. Саймона [Simon, 1987]. Однако на этом пути техника моделирования становится более сложной и изощренной, и поэтому большинство экономистов предпочитают следовать прежнему концепту «экономического человека». Иными словами, они продолжают (явно или неявно) опираться на предположение о рациональности *Homo economicus*, поскольку это позволяет им строить более простые и более работоспособные операционные модели и успешно тестировать их.

Таким образом, с одной стороны, нереалистичность концепта *Homo economicus* очевидна. Но с другой стороны, эта нереалистичная репрезентация — чрезвычайно удобный для экономистов инструмент анализа, который к тому же, несмотря на свой статус методологического регулятива и аналитического средства [Автономов, 1998], является *частью онтологического ядра* экономической теории, то есть определённым представлением о человеческой природе, о том, как человек устроен. Именно из этого вырастает неустранимая проблема — вопрос о реалистичности описания человеческого поведения концептом «экономического человека». И именно поэтому критика экономического человека не прекращается и по сей день, даже внутри самой экономической теории, которая пытается скорректировать это представление с помощью новых направлений (поведенческая экономика, экспериментальная экономика) или даже новых субдисциплин, таких как нейроэкономика.

Поведенческая экономика, которая отвергает стандартную модель рационального выбора как адекватное описание «экономического человека», в то же время сохраняет её в качестве *нормативного стандарта* [Капелюшников, 2013]. Всякий раз, когда поведенческие экономисты обнаруживают существенный разрыв между результатами реальных решений, принимаемых экономическими агентами, и предписаниями рационального выбора, их рекомендации сводятся к приближению поведения обычных людей к нормативному идеалу совершенной рациональности [Leonard, 2008]³. В свою очередь, экспериментальная экономика — это не столько новый концепт «экономического человека», сколько новая практика изучения предположительно типичных случаев экономического поведения посредством экспериментов (которыми называются игровые симуляции) в лаборатории или в стенах университетов с участием студентов. Эксперимент в экономике, как и в общественных науках в целом, не в состоянии обеспечить субстанциональную тождественность экспериментальной реальности и собственно реальности (моделируемой с помощью эксперимента), иными словами в экономическом эксперименте исследователи де-факто работают с объектом, который радикально меняется в ходе эксперимента [Кошовец, Вархотов, 2015]. Как только субъект узнаёт, что он вовлечен в эксперимент и помещён в игровые условия с жёстким набором искусственных правил и инструкций, он с неизбежностью меняет свое поведение, приспособляясь к игровой ситуации. Таким образом, естественность и реалистичность подобного экономического поведения остаётся под большим вопросом.

Итак, ключевые понятия экономической теории фундаментально зависят от модели Homo economicus, предполагающей человека как рациональную (логическую) машину. Попытки отказаться от неё в итоге привели к тому, что принцип так или иначе сохраняется (по крайней мере, в неявном виде или в виде эпистемологического и нормативного ориентира). Может ли нейроэкономика решить эту проблему лучше? Будучи новой экономической дисциплиной с серьёзным естественнонаучным бэкграундом, опирающейся на новейшие экспериментальные методы исследования естественных наук и продвинутое техническое приспособление, нейроэкономика обещает не только радикально пересмотреть экономическую теорию в узких местах, но и революционизировать стандартную модель экономического агента, которая рутинно полагает, что люди действуют рационально [Glimcher, 2003; Camerer, Loewenstein, Prelec, 2005; Camerer, 2007]. Однако насколько в действительности обоснованы претензии нейроэкономики на то, чтобы снабдить экономическую науку более реальным «экономическим человеком», и способен ли при этом экономический агент не быть рациональным? Чтобы ответить на этот вопрос, далее мы проведем эпистемологический анализ репрезентации экономического агента в нейроэкономике. Наша задача здесь — показать, что, несмотря на кажущуюся радикальную несовместимость стандартной модели экономического человека и нейроэкономической, лежащая в основе первой предпосылка рациональности лишь многократно усиливается в рамках нейроэкономики. Более того, при внимательном рассмотрении обнаруживается, что нейроэкономика полностью разделяет со стандартной экономической теорией ключевые эпистемологические принципы в понимании поведения. Чтобы подтвердить эту гипотезу, мы представим эпистемологический анализ репрезентации экономического агента в нейроэкономике и на этом основании попытаемся

³ Как верно отмечает Р. Капелюшников [Капелюшников, 2013], признание на основе эмпирических наблюдений, людей ограниченно рациональными существами подразумевает, что самостоятельно они не в состоянии избавиться от имеющихся у них когнитивных ошибок. Помочь им в этом призвана специфическая политика «подталкивания», активно продвигаемая поведенческими экономистами [Thaler, Sunstein, 2008]. Таким образом, можно сказать, что признание ограниченной рациональности и сохранение в качестве нормативного стандарта идеала полной рациональности фактически имеет целью теоретически обосновать политику «подталкивания», а не снабдить нас более реальной моделью экономического человека.

поставить вопрос, возможно ли в принципе переделать модель экономического человека и сделать её более реалистичной? Насколько такая перестройка не только будет успешна, но и осуществима?

Как показано в литературе, нейроэкономика — весьма неоднородная дисциплина, в действительности она состоит из двух ветвей или лучше сказать исследовательских программ, которые весьма отличаются по своим методологическим устремлениям и эпистемологическим стратегиям [Ross, 2008]. Первая программа, условно названная «поведенческая экономика в сканнере»⁴ (behaviorial economics in scanner, далее ПЭС), или по-другому «собственно нейроэкономика» [Craver, Alexandrova, 2008] — это проект дополнения поведенческой экономики нейробиологическими исследованиями. Конкретно речь идет о привнесении в исследование экономического поведения нейробиологических методов, концептов, экспериментальной базы и технологий. Необходимой предпосылкой этого проекта является сформировавшееся в рамках мейнстрима представление о предмете экономической теории как о поведении. Это делает принципиально возможным проникновение в экономическую теорию экспериментальной психологии (тех её разделов, которые изучают поведение или редуцируют психическое к наблюдаемому, т.е. к поведению). При этом психология не стремится к замещению предметного ядра и ключевых данностей экономической теории, но предоставляет определённые исследовательские практики — прежде всего экспериментальные, — на основе чего формируется поведенческая экономика как относительно самостоятельная дисциплина естественнонаучного типа. Аналогично формируется и исследовательская программа ПЭС.

Вторая программа — нейроклеточная экономика (neurocellular economics, далее НКЭ), которую иначе называют «экономикой нейронной активности» [Vromen, 2007] или «экономико-нейробиологическим моделированием» [Craver, Alexandrova, 2008]. Под ней прежде всего имеется в виду проект нейробиолога Пола Глимчера. Задача НКЭ — привлечь теоретический и формальный аппарат экономической теории (ключевые концепты) для объяснения и моделирования получаемых в нейронаучных исследованиях экспериментальных данных. П. Глимчер считает, что теория ожидаемой полезности и теория игр являются прекрасным фундаментом для изучения нейронной активности мозга и, в частности, тех его отделов, что вовлечены в принятие решений [Glimcher, 2003]. При этом его амбиции весьма велики, задачу нейроэкономики он видит в переходе от поведенческих моделей к интерпретации и объяснению экономического поведения в терминах церебральных процессов и снабжении экономической теории строгими причинными моделями механического типа вместо привычного экономистам моделирования «как если бы» [Glimcher, 2011]. По сути, НКЭ — разновидность экономического империализма, демонстрирующая успешную интервенцию экономических моделей как универсального объяснительного инструментария в иную научную сферу [Koshovets, Varkhotov, 2019].

Существование двух значительно различающихся исследовательских программ в рамках нейроэкономики затрагивает и экономического агента. По факту мы получаем два разных онтологических конструкта. Ключевые эпистемологические элементы обеих программ, существенные для построения ими модели «экономического человека», представлены в нижеследующей таблице.

⁴ Оставлен авторский термин «сканнер» с двумя «н», что позволяет различать техническое устройство (сканер) и программу исследований нейроэкономики (сканнер). — Прим. ред.

Таблица
Свойства ПЭС и НКЭ

	Поведенческая экономика в сканнере	Нейроклеточная экономика
Материнская теория, когнитивная база и инструментарий	Поведенческая экономика и экспериментальная психология	Нейрофизиология и нейронауки
Исследовательская и методологическая задача	Привнести в исследование экономического поведения нейробиологические методы, концепты и экспериментальную базу, чтобы лучше (<i>реалистичнее!</i>) интерпретировать поведение	Внедрение экономической теории в нейронауки и её применение с целью прояснить посредством экономического инструментария нейронные механизмы, перенастроить то, как нейробиологи думают о механизмах мозга, лежащих в основе поведения и его нейронной активности. Экономическая теория, полагая себя универсальной теорией о человеческом поведении, на основе созданного ею обширного модельного инструментария предлагает себя в качестве гранд теории нейронаукам
Онтология	Последовательное проведение принципа биологического редукционизма	Биологический редукционизм; ключевые объяснительные схемы (онтологически значимые причинно-следственные механизмы) пытаются не только расширить на чужое предметное поле, но и переопределить с их помощью онтологическое ядро другой дисциплины

Источник: разработано автором.

Чтобы ответить на вопрос, действительно ли нейроэкономика предлагает нам более реалистичную модель экономического человека, мы должны обратиться к ключевым онтологическим предпосылкам, лежащим в основании обеих нейроэкономических исследовательских программ. Забегая вперед, отметим, что именно здесь обнаруживается их общность, так как обе они методологически основываются на тотальном биологическом редукционизме. Действительно, онтологическая конструкция любого нейроэкономического исследования предполагает три уровня:

1) поведение (индивидуальных акторов), в том числе выбор. Принципиально *наблюдаемо*;

2) ментальные (психические) состояния и процессы (мотивы, предпочтения, ожидания и т.п.). Принципиально *ненаблюдаемое*. По сути это внутренняя сторона предыдущего уровня, находящаяся с ним в причинных отношениях. Несмотря на то, что объекты этого уровня не наблюдаемы, они имеют свою репрезентацию в теории в виде математических конструктов.

Следует отметить, что отношения между первым и вторым уровнем — это основное поле противоречий между стандартной экономической теорией и поведенческой экономикой, соответственно, эти проблемы наследует и поведенческая экономика в сканнере.

3) нейроны (состояния и процессы, субстанции). Это материальный — биохимический и физиологический — базис двух предыдущих уровней, который принципиально можно измерить и который находится в причинных отношениях с двумя верхними. Объекты этого уровня в сравнении с предыдущими весьма гетерогенны (нейротрансмиттеры, гормоны, нейронные пути, области мозга).

Посмотрим, к примеру, что происходит с ключевым для нейроэкономики понятием «выбор», когда он перемещается по этим уровням. На уровне поведения выбор — это то,

что мы можем наблюдать (человек съел яблоко или грушу). На втором уровне происходит попытка определить, чем обусловлен этот выбор. Например, «оптимальным решением», которое нам сложно определить в психологических терминах, но которое прекрасно репрезентируется математическими средствами («выбор» — один из ключевых элементов формальной онтологии экономической теории, а формализованное представление «выбора» отождествляется с ним самим). Наконец, на уровне нейронной активности «выбор», по сути, отождествляется с наблюдаемыми электрическими и биохимическими процессами в мозгу [Krajbich, Oud, Fehr, 2014; Rangel et al., 2008]. Это позволяет сделать проведённая с «выбором» на предыдущем уровне трансформация из социальной вещи в математический объект и затем в биохимический импульс, поскольку сами нейронные процессы исследуются посредством измерений и формализуются. Приведем другой пример, как это работает в проекте П. Глимчера. Ключевая задача, которую решает его проект, — это построение «связей» между экономикой, нейробиологией и психологией и «частичная редукция» экономики к психологии, а этой последней — к нейробиологии. При этом П. Глимчер признаёт, что сами по себе данные нейробиологии не могут выполнять функцию доказательного свидетельства и должны быть адаптированы и интерпретированы для встраивания в предметное поле экономической науки [Glimcher, 2016. P. XV].

Решая эту задачу на примере рассмотрения сексуального поведения и производимого в этом контексте выбора, он последовательно редуцирует «социальное» к «бихевиоральному», т.е. наблюдаемому поведению [Glimcher, 2016. Pp. 5–15], что позволяет объединить все направления исследований, содержащие концептуализацию человека и проигнорировать все различия между биологическим человеком (животным) и социальным человеком. Затем он подбирает концепты, которые идеально подходят для математического моделирования наблюдаемого человеческого поведения и при этом не зависят от каких-либо конкретных «социальных» средств интерпретации. Концепт «выбора» наилучшим образом подходит для решения этой задачи, «потому что в своей формализованной математической форме он не предполагает каких-либо содержательных, т.е. субъективных, “внутренних”, скрытых от наблюдения компонентов (таких как “смысл”, “моральная ценность” и т. д.), но нуждается всего лишь в двух альтернативных возможностях со статистически наблюдаемыми вероятностями (математическими весами). Понятый таким образом “выбор” (который не определяется ценностями субъекта, а наоборот, объясняет и предсказывает ценности в терминах статистики предшествующих и вероятности последующих “выборов”) может быть инкорпорирован в биологию или любую другую дисциплину как способ математического моделирования поведения человека. Для П. Глимчера этого достаточно, чтобы утверждать, что экономика, психология и биология одинаково объясняют, например, сексуальное поведение как специфический случай “выбора” [Кошовец, Вархотов, 2020. С. 43–44].

Итак, стандартная экономическая теория работает с первым уровнем поведения и частично привлекает второй уровень (ментальные/ психические состояния) для объяснения первого уровня. Возникает ключевой вопрос, а что дает третий уровень (нейроны) для объяснения экономического поведения? Для нейроэкономистов ответ один — *причинность*, которая всегда идет от нейронных структур мозга к психическим состояниям и поведению. Это подразумевает отождествление социального и биологического и редукцию поведения (психических процессов за ним стоящих) к нейронной активности мозга, а также принципиально меняет взгляд на поведение. Однако значит ли это, что оно перестает быть рациональным?

Итак, онтология и поведенческой экономики в сканнере, и нейроклеточной экономики основывается на тотальном редукционизме. Однако, поскольку как эпистемологические стратегии они существенно различаются не только в том, как в них осуществляется междисциплинарный синтез, но и по своей методологии, то в результате мы имеем *два возможных типа субъекта*, т.е. Homo neuroeconomicus. Рассмотрим их последовательно и постараемся показать, в чем их фундаментальная схожесть.

Как видно, из таблицы выше, задача НКЭ понять нейронную активность мозга, обращаясь к стандартной экономической теории, подразумевает, что концепт «экономического человека», а точнее его ключевая характеристика «рациональность» переносится в нейронауку в качестве универсальной объяснительной схемы. Иначе говоря, не определяя и не исследуя, что такое «рациональное», объясняет через рациональность любое поведение, действие, взаимодействие, в данном случае определённую нейронную активность мозга. Последняя в результате приобретает новое онтологическое качество быть рациональной. Однако тут возникает ключевой вопрос, где локализуется эта рациональность, иначе говоря, чьим в действительности свойством она является? Объект исследования в нейроклеточной экономике подразумевает последовательную редукцию от социального к биологическому через цепочку — сведение человека к поведению, поведения к мозгу и мозга к нейронам и сложным биохимическим процессам в нем. На этом пути экономический человек, да и человек вообще утрачивается, поэтому вполне закономерно, что его можно легко заменить в исследовании любым животным [Kalenscher, Wingerden, 2011].

Нейроэкономисты делают это весьма охотно, исходя из предпосылки о том, что, если экономическое (то есть рациональное) поведение, по существу, определяется не социально, а биохимически, то логично предположить, что животные также обладают таким поведением. Подобные допущения, как мы отмечали выше, разделяются большинством нейроэкономистов и представлены множеством исследований (см. например, [Gan, Walton, Phillips, 2009; Louie and Glimcher, 2010]). Однако поскольку вся наблюдаемая нейрофизиологическая активность интерпретируется с помощью аппарата экономической теории, то необходимо возникает и обратное движение — от биологического к социальному, с которым возвращается и Homo economicus. В проекте одного из ключевых представителей нейроклеточной экономики П. Глимчера, как мы уже отмечали выше, эту функцию воскрешения выполняет математическое моделирование и математическое по своей сути понимание выбора, что с неизбежностью приводит к интерпретации социального как рационального. Однако поскольку интерпретацию осуществляет исследователь, исходя из знания, что поведение и конкретные действия строго обусловлены наблюдаемыми объективными мозговыми процессами, то по сути право атрибуировать «рациональность» делегируется именно ему — в ходе своих наблюдений и последующей интерпретации он определяет и решает, когда поведение (нейронная активность) рациональны.

Какого в результате мы получаем субъекта? Эту разновидность Homo neuroeconomicus можно определить, как неодушевленную материальную субстанцию, нечто подобное «вольту» или «голему», т.е. существам, полностью лишённым субъектных, сознательных и волевых характеристик, а также и рациональности, которая возникает лишь когда подобное существо приводится в движение своим творцом (наделяется им рациональным выбором). Таким образом, любое поведение (человека, обезьяны, кошки, коралловой рыбки) становится рациональным (и экономическим), если наблюдатель придает ему свойство рациональности. На этом пути нейроэкономика как бы открывает глубинные законы любого поведения (общие для всех существ), а рациональность де-факто становится частью Природы, одним из её скрытых механизмов. Таким образом, рациональность поведения и выбора не только сохраняется, но и усиливается, более того, рациональность обретает материальную форму и новую локализацию на уровне нейрофизиологии всего живого, перемещаясь с уровня социального в природный порядок [Кошовец, Вархотов, 2020]. В целом «экономизация» наук о жизни и, в частности, мозговой активности подразумевает подмену биологических механизмов экономическими (рациональными).

Теперь обратимся к модели экономического агента в другой исследовательской программе нейроэкономики — к поведенческой экономике в сканнере. Это направление по сути — расширение в область нейробиологии поведенческой экономики, которая, в свою очередь, является разновидностью бихевиоризма. Поэтому, как и поведенческая экономика, ПЭС

наследует ключевую эпистемологическую интуицию бихевиоризма о сознании как «черном ящике», но при этом видит своей амбициозной задачей вскрытие его содержимого (нейрофизиологические и биохимические взаимодействия — это ключ к поведению) [Sanfey, Rilling, Aronson, Nystrom, Cohen, 2006; Camerer, 2007]. Фундаментальной предпосылкой этих амбиций выступает убежденность в том, что такие инструменты, как функциональная магнитно-резонансная томография или диффузионная тензорная томография в перспективе могут обеспечить доступ к структурам субъективности [Rangel, Camerer, Montague, 2008]. Соответственно, цель ПЭС — радикальные изменения в экономической теории за счёт выявления и наблюдения «материального субстрата» поведения и определяющих его ментальных процессов. Решает эту задачу ПЭС, последовательно проводя принцип биологического редукционизма (но без возвратного движения, как в случае НКЭ). Для этого определяющий поведение «черный ящик», т.е. ненаблюдаемые ментальные процессы, предварительно редуцируются к нейронным и биохимическим взаимодействиям и затем отождествляются с ними [Vromen, 2010].

В рамках этого исследовательского проекта закономерно встает вопрос об *эпистемологической автономии* нейроэкономики. Является ли она ещё одним экспериментальным дополнением к системе экономического (и шире — социального) знания, позволяя вскрыть некоторые ранее остававшиеся в тени, но значимые причины экономического поведения? Часть экономистов воспринимают нейроэкономику именно как интервенцию нейронаук в область экономического знания, считая выяснение содержания «чёрного ящика» (поведения) нерелевантным задачам экономической теории, и выдвигая радикальный аргумент против такого рода исследований: «экономические модели не делают предсказаний или предположений относительно температуры тела, уровня сахара в крови или по поводу других физиологических данных, следовательно, подобные данные никак не опровергают и не доказывают несостоятельность экономических моделей» [Gul, Pesendorfer, 2008. P. 19].

Заметим, что суть этого аргумента в указании на принципиальное концептуальное различие и несовместимость, за которым стоят онтологический разрыв между социальным и биологическим и отсутствие средств описания переходов между ними и их совмещения (если таковым не считать редукцию). Чтобы можно было оценить подобный аргумент, П. Гойнинген-Гюне предлагает нам представить воображаемую новую науку «нейроматематику» и ответить на вопрос, может ли подобная дисциплина, исследуя активность мозга в процессе математического доказательства, внести вклад в математику, в частности, помочь отличить действительные доказательства от недействительных, найти более простое и более элегантное доказательство или альтернативную аксиоматизацию? [Hoyningen-Huene, 2015]. Менее радикальный аргумент экономистов против нейробиологической интервенции заключается в том, что мы, конечно, можем изучить содержимое чёрного ящика, но, по сути, в этом нет необходимости, так как в этом нет ничего ценного, — то, что мы найдём, не имеет практического значения [Gul, Pesendorfer 2008; Bernheim, 2009].

Между тем редукция к нейронам и биохимическим взаимодействиям в рамках ПЭС подразумевает, что сложные социальные поведенческие акты, по сути, подменяются изучением чисто моторной активности или инстинктивных (рефлекторных) действий. Вместе с тем такие социальные по своей сути явления, как «экономическое поведение», «рациональный выбор» и т.п., натурализируются, ведь рациональность понимается как свойство нейронов. Это же происходит и с концептом «экономического человека», коль скоро он сводится к нейрофизиологическим процессам и биохимическому субстрату, определяющим его поведение и ментальные процессы. Натурализация экономического поведения, выбора и рациональности делает их не только естественными, но уже неотъемлемо принадлежащими порядку Природы (т.е. свойственными всему живому) [Koshovets, Varkhotov, 2019].

Попытка переопределить и заместить социальную семантику понятий и концептов, таких как «поведение» или «выбор», нейрофизиологическим описанием с необходимостью

ведёт к потере описываемых этими понятиями объектов. Это в полной мере касается и экономического человека, если его выбор может быть задан электрической стимуляцией определённого участка мозга, то это уже не выбор, а разность импульсов активации и торможения, простейшая реакция на раздражение рецепторов [Fumagalli, 2016]. Более того, если имеется возможность механически предопределять выбор (или любое другое социальное действие), то перед нами не человек. Скорее, мы имеем дело с автоматом, в данном случае биохимическим, а его субъектность — это всего лишь побочное явление, эпифеномен (каковым сознание является в бихевиоризме). Обладает ли такой биохимический автомат свойством быть рациональным?

ПЭС закономерно продолжает линию поведенческой экономики на критику рациональности человека и утверждает, что человек действует на основе эмоций [Camerer, Loewenstein, Prelec, 2005]. Однако де-факто, как и поведенческая экономика, ПЭС сохраняет рациональность экономического человека как нормативный стандарт. В этой связи в рамках нейроэкономических рассуждений «эмоциональное» объявляется разновидностью рационального [Sanfey, Rilling, Aronson, Nystrom, Cohen, 2003; Corcos & Pannequin, 2011]. Для этого сначала вводится ложная оппозиция «эмоциональное» (животное) — «рациональное» (человеческое). Затем на основе приспособления одной из версий оптимизационной теории рациональности (которая объясняет поведение в эволюционистских понятиях) вместо оппозиции «эмоциональное — рациональное» вводится различие разновидностей «рационального» и, соответственно, новая оппозиция: «размышляющий (deliberative) — эмоциональный». При этом под первой разновидностью «рационального» понимается наличие определённого временного промежутка между стимулом и действием, тогда как эмоциональная реакция — это немедленное, инстинктивное действие. В рамках такой трактовки «эмоциональных» реакций реальное эмоциональное поведение человека, как и сам он, закономерно утрачиваются. В итоге эмоциональное состояние рассматривается как коррелят объективного нейрофизиологического (материального) состояния, которым «субъект» (а точнее — изучаемый биохимический автомат и механизмы, определяющие его активность) строго детерминирован (рис.).

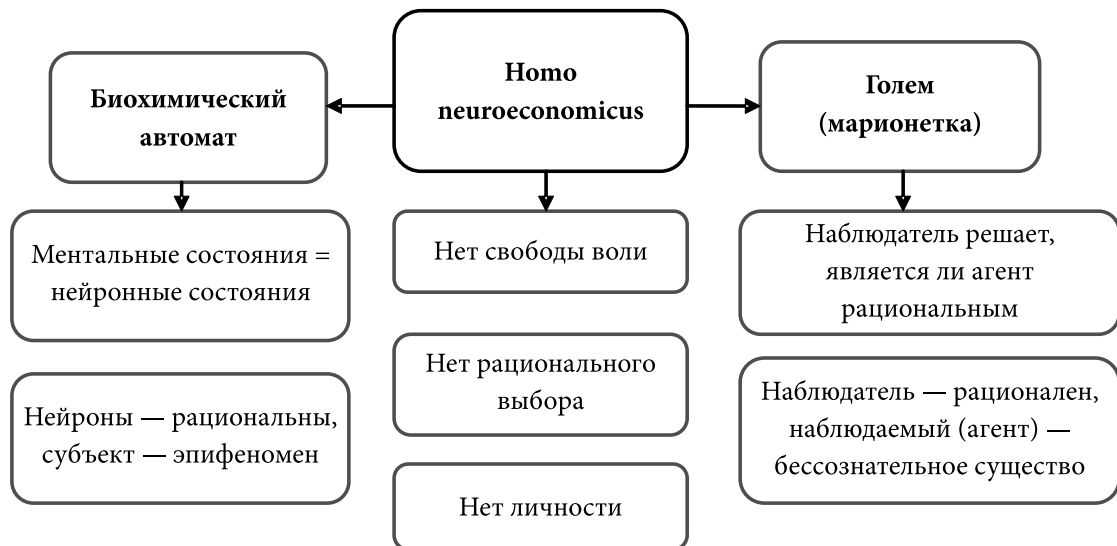


Рис. Нейроэкономика: между големом и биохимическим автоматом

Источник: разработано автором.

Следует подчеркнуть, что, как и в случае с НКЭ, наблюдаемый агент в ПЭС остаётся полностью рациональным для экспериментатора, имеющего доступ к его нейрофизиологической системе, — его поведение полностью прозрачно и понятно, ибо осуществляется строго в соответствии с заложенным алгоритмом, соответственно, при необходимости в него можно вмешиваться и направлять его. Это отсылает нас к одному из ключевых прак-

тически и политически ориентированных концептов поведенческой экономики «подталкиванию» [Thaler, Sunstein, 2008]. Таким образом, несмотря на кажущееся, на первый взгляд, радикальное расхождение с классической моделью экономического человека (само залезание в чёрный ящик подразумевает, что исследователь покидает область рефлексивного и рационального), на практике тезис о рациональности в рамках ПЭС также, как и в случае с НКЭ, многократно усиливается. Таким образом, Homo economicus и нейроэкономический агент оказываются более чем совместимы, — при внимательном рассмотрении обнаруживается, что нейроэкономика полностью разделяет со стандартной экономической теорией ключевые эпистемологические принципы в понимании поведения⁵.

Между тем фундаментальные онтологические характеристики нейроэкономического агента и его поведения обнаруживают свои корни (как и все основные представления нейронауки) в ключевом концепте новоевропейской культуры — «церебральном субъекте» [Vidal, Ortega, 2017]. В этом контексте нейроэкономика является лишь элементом масштабных социальных практик нейрологизации субъективностей в ходе бурного развития нейронаук. Основой этой нейрологизации является связка между мозгом и самостью, которая благодаря нейронаукам и особенно связанным с ней практикам визуализации, кажется *самоочевидной, естественной, эмпирически обоснованной*. Однако отнюдь не нейронаука (и даже не науки о мозге) породила представление о связи мозга и самости, оно лежит в основании западноевропейской культуры и некоторых научных практик Нового времени. «Церебральный субъект», или, иначе говоря, специфический способ мышления личности, подразумевающий редукцию человека к его мозгу [Vidal, Ortega, 2017. Р. 6], так или иначе восходит к механическому материализму XVII–XVIII вв., который определяет мозг как материальный субстрат психического сознания, самости, а также порождающую причину образа реальности вокруг нас и субъективного опыта. Анализируя весьма репрезентативный трактат Шарля Бонне 1760 г., Ф. Видаль и Ф. Ортега показывают [Ibid. Р. 33], что определение мозга какместилища души, субъектности или даже инструмента, с помощью которого изначально в некотором смысле одинаковые души могут проявлять себя по-разному, — это *метафизический тезис, а не научный факт*, обоснованный концептуально и/или подтверждённый эмпирически. Однако он не просто описывает нововременные представления о человеческой природе, но и определяет последующие *практики работы с человеческой субъектностью*. Нейронаука лишь продолжает эту магистральную линию европейской культуры, принимая тезис о связанности мозга и сознания как базовую предпосылку и задним числом постоянно подтверждает её, в том числе за счёт нейровизуализации (которая между тем не является эмпирическим свидетельством).

Таким образом, очевидно родство «революционно нового» нейроэкономического агента с механическим материализмом XVIII в. в части представлений о ментальных состояниях и внутренней жизни субъекта (ненаблюдаемое). Основные идеи, высказанные в одном из наиболее репрезентативных текстов этого философского направления, знаменитом трактате Ж.О. Ламетри «Человек-машина», можно свести к следующему тезису: люди — это просто сложные животные, и поэтому не существует резкого перехода от животных к человеку. Такие представления о человеке и животных основывались на двух типах преемственности. Первый предполагает, что люди и животные состоят из одних и тех же вещей, но организованы (в психическом плане) по-разному, второй — что психология и поведение людей и животных не так уж сильно различаются (и те и другие — своеобразные автоматы, подчиняющиеся природным

⁵ К таким же выводам приходит Р. Капелюшников относительно поведенческой экономики: «...распространённое мнение, что поведенческая экономика “похоронила” модель рационального выбора, ошибочно. Вместо того, чтобы перестать ею пользоваться, поведенческие экономисты начали её модифицировать и усложнять за счёт включения в неё разнообразных когнитивных “поломок”. В результате никакой целостной альтернативной модели человека ими предложено не было (если, конечно, такая цель ими вообще ставилась» [Капелюшников 2020. С. 36].

законам) [Ламетри, 1998]. Последнее также предполагает, что различия между человеком и животным чисто количественные, люди более развиты, но эта развитость связана с мозгом и это принципиально измеряемый параметр (устройство мозга млекопитающих почти такое же, как и у человека; отличие только в том, что у человека мозг в организме занимает более высокий удельный вес, и он более «извилист», чем у других животных [Там же]). Итак, по сути своей метафизическая интуиция, редуцирующая душу, сознание, поведение к мозгу, который понимается как материальный субстрат психического (бихевиориального), лежащая в основе нейроэкономики (и всех остальных нейронаук) закономерно предполагает и основной способ оперирования этим объектом, задаваемый механическим материализмом, где нет качественных различий между человеком и животным, а то, что отличается — наблюдаемо и количественно измеримо. Таким образом, в пределе эта линия рассуждения, утверждая естественность «рационального», делает последнее уже не столько свойством разума, сколько природы.

Такой поворот в трактовке рациональности от разума к природе (через мозг как опосредующее звено) не должен нас удивлять. Исторически тезис о рациональности поведения человека (экономического агента) развивался из идеи о рациональности познавательной деятельности, понимаемой как «калькулятивная рациональность» (законы поведения внутри субъекта). Идея рациональности Природы по сути происходит из той же эпистемологической традиции и основывается на идее того, что в основе её постижения лежат измерение и исчисление (программа Галилея-Ньютона, сводимая к триаде «numero, pondere et mensura» — «числом, весами и мерой»), которые позволяют обнаруживать и выявлять законы (структурные инварианты), которые математически репрезентируются. Лежащий в основе механического материализма в качестве базовой причинной схемы (нейро)физиологический детерминизм позволяет нейроэкономистам, основываясь на идее эволюционного развития мозга и мозговой деятельности, обращаться к более простым (примитивным) формам «экономического» (рационального) поведения, нежели человеческие формы, опираясь при этом на ключевой принцип редуционизма о возможности изучать сложное через простое (элементарные формы). Тот факт, что здесь возникает фундаментальная онтологическая проблема, частью нейроэкономистов осознаётся. Тем не менее в своей исследовательской практике они склонны её игнорировать.

Однако между биологическим и социальным существует непреодолимый онтологический разрыв, поскольку у нас отсутствует содержательная теория, описывающая переходные и промежуточные уровни. Языки нейробиологии и социальных наук радикально отличаются по семантике, что связано с разной онтологией объектов [Lakoff, 1993]. Такие понятия, как «выбор», «цель» или «субъективная ценность» не могут быть определены на языке (или техническими средствами) нейронауки, поскольку они уже подразумевают наличие сознательного субъекта. Попытка заменить «социологическую» семантику нейрофизиологическими описаниями приводит к исчезновению объекта. Таким образом, пересборка человека в нейроэкономике, определяемая установкой на реализм отображения/репрезентации, не достигает своей цели. Нейроэкономический агент возможно значительно менее абстрактен, чем стандартный Homo economicus, предстающий как логическая машина, однако он онтологически значительно дальше от человека как социального существа, чем модель экономического агента мейнстримной экономической теории (где он сохраняет свою автономность и разумность).

ЛИТЕРАТУРА

- Автономов В.С. (1998). Модель человека в экономической науке. — М.: Экономическая школа.
- Биггарт Н. (2001). Социальная организация и экономическое развитие // Экономическая социология. Вып. 2. № 5. С. 49–58.
- Капелюшников Р.И. (2013). Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Ч. II // Вопросы экономики. №10. С. 28–46.

- Капелюшников Р.И. (2020). Кто такой Homo economicus? // Экономическая политика. Вып. 15. №1. С. 8–39.
- Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. (2015). Эпистемологический статус моделей и мысленных экспериментов в экономической теории // Вопросы экономики. №2. С. 123–140.
- Кошовец О.Б., Вархотов Т.А. (2020). Натурализация предмета экономики: от погони за естественнонаучными стандартами к обладанию законами Природы // Логос. №3 (Т. 30). С. 17–50.
- Ламетри Ж. (1998). Человек-машина. — М.: Литература.
- Юдин Г.Б. (2008). Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма социологического анализа рынков // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 11. №4. С. 47–58.
- Bernheim B.D. (2009). On the potential of neuroeconomics: a critical (but hopeful) appraisal // American Economic Journal: Microeconomics. Vol. 1. Pp. 1–41.
- Callon M. (2005). Technology, Politics, and the Market: An Interview // Technological Economy. A. Barry, D. Slater (eds.). — Oxford, New York: Routledge. Pp. 285–306.
- Camerer C.F. (2007). Neuroeconomics: Using neuroscience to make economic predictions // The Economic Journal. Vol. 117. No. 519. Pp. 26–42.
- Camerer C.F., Loewenstein G., Prelec D. (2005). Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics // Journal of Economic Literature. Vol. 43. Pp. 9–64.
- Corcos A., Pannequin F. (2011). Neuroeconomics, decision-making and rationality // Economie et institutions. Vol. 16. Pp. 13–32.
- Craver C., Alexandrova A. (2008). No revolution necessary: neural mechanisms for economics // Economics and Philosophy. Vol. 24. No. 3. Pp. 381–406.
- Fumagalli R. (2016). Choice models and realistic ontologies: three challenges to neuro-psychological modelers // European Journal for Philosophy of Science. Vol. 6. Pp. 145–164.
- Gan J. O., Walton M. E., Phillips P. E. (2009). Dissociable cost and benefit encoding of future rewards by mesolimbic dopamine // Nat. Neurosci. Vol. 13. Pp. 25–27.
- Glimcher P.W. (2003). Decisions, uncertainty, and the brain: the science of neuroeconomics. Cambridge Mass.: MIT Press.
- Glimcher P. (2011). Foundations of Neuroeconomic Analysis. — New York: Oxford University Press.
- Gul F., Pesendorfer, W. (2008). The Case for Mindless Economics // The Foundations of Positive and Normative Economics. A. Caplin A. Schotter (eds.). — New York: Oxford University Press. Pp. 3–41.
- Hoyningen-Huene P. (2015). Appreciation Problems of Neuroeconomics: Lecture in Leibniz University Hannover / Inst. of Philosophy & University of Zurich, Dept. of Economics.
- Kalenscher T., Wingerden M. (2011). Why we should use animals to study economic decision making — a perspective // Frontiers in Neuroscience. Vol. 5. No. 82. Pp. 1–11.
- Koshovets O.B., Varkhotov T. (2019). Neuroeconomics: New Heart For Economics or New Face of Economic Imperialism // Journal for Institutional Studies. Vol. 11. No. 1. Pp. 6–19.
- Krajbich I., Oud B., Fehr E. (2014). Benefits of Neuroeconomic Modeling: New Policy Interventions and Predictors of Preference // American Economic Review: Papers & Proceedings. Vol. 104. No. 5. Pp. 501–506.
- Lakoff G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. Metaphor and Thought / A. Ortony, ed. — Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 202–251.
- Leonard T.C. (2008). Review of «Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness» // Constitutional Political Economy. Vol. 19. No. 4. Pp. 356–360.
- Louie K., Glimcher P.W. (2010). Separating value from choice: delay discounting activity in the lateral intraparietal area // Journal of Neuroscience. Vol. 30. Pp. 5498–5507.
- Rangel A., Camerer C., Montague P. (2008). A framework for studying the neurobiology of value-based decision making // Nature Reviews Neuroscience. Vol. 9. Pp. 545–556.
- Ross D. (2008). Two Styles of Neuroeconomics // Economics and Philosophy. Vol. 24. Pp. 473–483.
- Sanfey A.G., Loewenstein G., McClure S.M., Cohen J.D. (2006). Neuroeconomics: cross-currents in research on decision-making // Trends in Cognitive Sciences. Vol. 10. Pp. 108–116.
- Sanfey A.G., Rilling J.K., Aronson J.A., Nystrom L.E., Cohen J.D. (2003). The neural basis of economic decision making in the ultimatum game // Science. Vol. 300. Pp. 1755–1757.
- Simon H.A. (1987). Bounded Rationality // The New Palgrave. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.). — New York: W.W. Norton.
- Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008). Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. — New Haven: Yale University Press.
- Vidal F., Ortega F. (2017). Being Brains: Making the Cerebral Subject. — New York: Fordham University Press.
- Vromen J. (2007). Neuroeconomics as a natural extension of bioeconomics: the shifting scope of standard economic theory // Journal of Bioeconomics. Vol. 9. No. 2. Pp. 145–167.
- Vromen J. (2010). On the surprising finding that expected utility is literally computed in the brain // Journal of Economic Methodology. Vol. 1. No. 17. Pp. 17–36.

Кошовец Ольга Борисовна

helzerr@yandex.ru

Olga Koshovets

Senior Research Fellow, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences (Moscow)

helzerr@yandex.ru

AN ECONOMIC AGENT IN YOUR BRAIN: NEUROECONOMIC DISCOURSE AND THE LIMITS OF RATIONALITY

Abstract. The key economics' concepts depend on the Homo oeconomicus model deeply, and this latter stands ontologically on that humans are rational (calculative) machines. Any attempts to decline this model as simplified and unrealistic or to refine it on the basis of empirical behavioral studies and experimental practices have ultimately resulted in the principle survives and sprouts in new theoretical constructions remaining at least as a normative imperative. In this paper I aim to answer the question, can neuroeconomics solve the problem providing to economics with new Homo oeconomicus? This young discipline promises to reconsider radically the standard model of the economic agent and its key assumption of rationality. I consider whether the claims of neuroeconomics (in fact its two quite different research programs) to equip economic science with a more realistic "economic person" are actually valid? Can an economic agent not be rational? I will show that despite the seemingly radical incompatibility between the standard model of the economic person and her neuroeconomic model, the latter actually reinforces the assumption of rationality significantly. Moreover, a closer look reveals that neuroeconomics fully shares with standard economic theory the key epistemological principles on how to understand and interpret behavior and choice. Furthermore, while standard economic theory works with a simplified unrealistic notion of person, neuroeconomics goes too far, substituting a human economic agent (albeit abstract and representing a rational calculating machine) for a non-human agent completely devoid of free will and endowed with rationality externally (like a golem in which a soul is blown). Finally, despite all its revolutionary claims, neuroeconomics turns out to be just a modern version of eighteenth-century mechanical materialism and a natural continuation of its key ontological construction — the "cerebral subject". This latter is one of the key intuitions of European theoretical culture and implies an unproven, metaphysical identification of the self (soul, consciousness, mind, behavior) and the brain, its receptacle. Thus, conceptualizing the economic agent neuroeconomics makes a fundamental methodological mistake: even if we assume that a subject's decision corresponds to a strictly defined neurophysiological state (which is not obvious) this provides no grounds for assuming that the neurophysiological state is the cause of decision-making or choice. As it does not follow from the fact that thinking is impossible without the brain that thinking is the brain or the brain is the cause of thinking.

Keywords: *neuroeconomics, rationality, rational behavior, economic agent, Homo oeconomicus, discourse, behavioral economics.*

JEL: A12, B41, C83, C90.

REFERENCES

- Avtonomov V.S. (1998). *Model' cheloveka v ekonomicheskoy nauke* [The human model in economic science]. — M.: Ekonomicheskaya shkola. (In Russ.).
- Bernheim B.D. (2009). On the potential of neuroeconomics: a critical (but hopeful) appraisal // *American Economic Journal: Microeconomics*. Vol. 1. Pp. 1–41.
- Biggart N. (2001). Social'naya organizaciya i ekonomicheskoe razvitie [Social organisation and economic development] // *Ekonomicheskaya sociologiya*. Vol. 2. No. 5. Pp. 49–58. (In Russ.).
- Callon M. (2005). Technology, Politics, and the Market: An Interview // *Technological Economy*. A. Barry, D. Slater (eds.). — Oxford, New York: Routledge. Pp. 285–306.
- Camerer C.F. (2007). Neuroeconomics: Using neuroscience to make economic predictions. // *The Economic Journal*. Vol. 117. No. 519. Pp. 26–42.
- Camerer C.F., Loewenstein G., Prelec D. (2005). Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics // *Journal of Economic Literature*. Vol. 43. Pp. 9–64.
- Corcus A., Pannequin F. (2011). Neuroeconomics, decision-making and rationality // *Economie et institutions*. Vol. 16. Pp. 13–32.
- Craver C., Alexandrova A. (2008). No revolution necessary: neural mechanisms for economics // *Economics and Philosophy*. Vol. 24. No. 3. Pp. 381–406.
- Fumagalli R. (2016). Choice models and realistic ontologies: three challenges to neuro-psychological modelers // *European Journal for Philosophy of Science*. Vol. 6. Pp. 145–164.

- Gan J.O., Walton M.E., Phillips P.E. (2009). Dissociable cost and benefit encoding of future rewards by mesolimbic dopamine // *Nat. Neurosci.* Vol. 13. Pp. 25–27.
- Glimcher P.W. (2003). *Decisions, uncertainty, and the brain: the science of neuroeconomics*. — Cambridge Mass.: MIT Press.
- Glimcher P. (2011). *Foundations of Neuroeconomic Analysis*. — New York: Oxford University Press.
- Gul F., Pesendorfer W. (2008). The Case for Mindless Economics // *The Foundations of Positive and Normative Economics*. A. Caplin A. Schotter (eds). — New York: Oxford University Press. Pp. 3–41.
- Hoyningen-Huene P. (2015). *Appreciation Problems of Neuroeconomics*: Lecture in Leibniz University Hannover / Inst. of Philosophy & University of Zurich, Dept. of Economics.
- Kalenscher T., Wingerden M. (2011). Why we should use animals to study economic decision making — a perspective // *Frontiers in Neuroscience*. Vol 5. No. 82. P. 1–11.
- Kapelyushnikov R.I. (2013). Povedencheskaya ekonomika i "novyj" paternalizm. Chast' II [Behavioural economics and the "new" paternalism. part II] // *Voprosy ekonomiki*. No. 10. Pp. 28–46. (In Russ.).
- Kapelyushnikov R.I. (2020). Kto takoj Homo economicus? [Who is Homo economicus?] // *Ekonomicheskaya politika*. Vol. 15. No. 1. Pp. 8–39. (In Russ.).
- Koshovec O.B., Varhotov T.A. (2015). Epistemologicheskij status modelej i myslennyh eksperimentov v ekonomicheskoy teorii [Epistemological Status of Models and Thought Experiments in Economics.] // *Voprosy ekonomiki*. No. 2. Pp. 123–140. (In Russ.).
- Koshovec O.B., Varhotov T.A. (2020). Naturalizaciya predmeta ekonomiki: ot pogoni za estestvennonauchnymi standartami k obladaniyu zakonami Prirody [Naturalizing the subject of economics: from following the norms of natural science to owning the laws of nature] // *Logos*. No. 3 (T. 30). Pp. 17–50. (In Russ.).
- Koshovets O., Varkhotov T. (2019). Neuroeconomics: New Heart For Economics or New Face of Economic Imperialism // *Journal for Institutional Studies*. Vol. 11. No. 1. Pp. 6–19.
- Krajbich I., Oud B., Fehr E. (2014). Benefits of Neuroeconomic Modeling: New Policy Interventions and Predictors of Preference // *American Economic Review: Papers & Proceedings*. Vol. 104. No. 5. Pp. 501–506.
- Lakoff G. (1993). *The Contemporary Theory of Metaphor. Metaphor and Thought* / A. Ortony, ed. — Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 202–251.
- Lametri Zh. (1998). *Chelovek-mashina* [The man-machine]. — M.: Literatura. (In Russ.).
- Leonard T.C. (2008). Review of «Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness» // *Constitutional Political Economy*. Vol. 19. No. 4. Pp. 356–360.
- Louie K., Glimcher P.W. (2010). Separating value from choice: delay discounting activity in the lateral intraparietal area // *Journal of Neuroscience*. Vol. 30. Pp. 5498–5507.
- Rangel A., Camerer C., Montague P. (2008). A framework for studying the neurobiology of value-based decision making // *Nature Reviews Neuroscience*. Vol. 9. Pp. 545–556.
- Ross D. (2008). Two Styles of Neuroeconomics // *Economics and Philosophy*. Vol. 24. Pp. 473–483.
- Sanfey A.G., Loewenstein G., McClure S.M., Cohen J.D. (2006). Neuroeconomics: cross-currents in research on decision-making // *Trends in Cognitive Sciences*. Vol. 10. Pp. 108–116.
- Sanfey A.G., Rilling J.K., Aronson J.A., Nystrom L.E., Cohen J.D. (2003). The neural basis of economic decision making in the ultimatum game // *Science*. Vol. 300. Pp. 1755–1757.
- Simon H.A. (1987). *Bounded Rationality* // *The New Palgrave*. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.). — New York: W.W. Norton.
- Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008). *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness*. — New Haven: Yale University Press.
- Vidal F., Ortega F. (2017). *Being Brains: Making the Cerebral Subject*. — New York: Fordham University Press.
- Vromen J. (2007). Neuroeconomics as a natural extension of bioeconomics: the shifting scope of standard economic theory // *Journal of Bioeconomics*. Vol. 9. No. 2. Pp. 145–167.
- Vromen J. (2010). On the surprising finding that expected utility is literally computed in the brain // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 1. No. 17. Pp. 17–36.
- Yudin G.B. (2008). Performativnost' v dejstvii: ekonomika kachestv M. Kallona kak paradigma sociologicheskogo analiza rynkov [Performativity in action: M. Callon's economics of qualities as a paradigm for sociological analysis of markets] // *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii*. T. 11. No. 4. Pp. 47–58. (In Russ.).

В.Л. Тамбовцев

д.э.н., профессор, гл.н.с., Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ ИНСТИТУТЫ? МЕТАФОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Аннотация. В организационном институционализме и некоторых других институционализмах регулярно можно встретить выражения, согласно которым институты могут научиться, взаимодействовать с социальными структурами, оказывать давление, соблазнять и т.п. Вместе с тем в новой институциональной экономической теории (НИЭТ) институты могут осуществлять какие-либо действия только в метафорическом смысле. Это несоответствие может вызвать, особенно у начинающих исследователей, трудности в научной коммуникации. Чтобы снизить вероятность возникновения таких затруднений, в статье проводится анализ нескольких работ, в которых используются приведенные выше выражения. Показано, что все они являются метафорами, за которыми авторы не всегда показывают реально существующие механизмы влияния институтов на решения и действия индивидов. Сопоставляются трактовки таких механизмов в НИЭТ и в организационном институционализме.

Ключевые слова: *институты, влияние, организационный институционализм, новая институциональная экономическая теория.*

JEL: B52, D91.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_22_38.

Введение: В чём проблема?

В современной литературе, посвященной изучению институтов, можно встретить более двух десятков наименований различных институционализмов, которые относятся, как минимум, к трём различным наукам: экономике, социологии и политической науке [Тамбовцев, 2021a]. Поскольку в каждой из них — своё понимание того, что такое институты, а также свои подходы к методам их исследования как к философской, так и к «рабочей» методологии, то используемая в различных институционализмах терминология и понятийный аппарат существенно различаются.

Использование одного слова в разных значениях — омонимия — обычно не вызывает затруднений в коммуникации, поскольку применяемый вариант значения непосредственно логически следует из смысла содержащего его предложения либо из несколько более широкого контекста. Однако в силу сложности определений научных терминов, особенно при их нечёткости и нестрогости, выявление конкретного содержания термина-омонима может стать непростой задачей. Такая задача требует, например, для своего решения анализа тех статей, на которые ссылаются авторы, использовавшие термины-омонимы, и которые могут оказаться недоступными в библиотеках как бумажных, так и электронных. Такого рода трудности могут дезориентировать читателей, если они предположат, что автор использует термин в том же смысле, что и читатели.

В литературе, посвящённой исследованию институтов, читатель-экономист¹ может встретить выражения, способные, как минимум, удивить его: институты научаются [Stein, 1997], конкурируют [Caplin, Nalebuff, 1997], взаимодействуют [Gehring, Oberthür, 2009; Прийма, 2015], соблазняют [Hodgson, 2003], взаимно влияют друг на друга [Von Jacobi, 2018], конфликтуют [Pache, Santos, 2010] и общаются друг с другом [Lammers, 2011; Meyer, Vaara, 2020], оказывают давление [Oliver, 1991; Butkeviciene, Sekliuckiene, 2022], обладают силой [Davidsson, Hunter, Klofsten, 2006] и даже думают [Douglas, 1986; Thompson, 2018; Ferrando, Ganoulis, Preuss, 2021].

Заметим сразу, что некоторые из приведённых наименований свойств институтов обусловлены тем, что под институтами понимают *организации*: это финансовые институты (например, банки), международные институты (например, ВТО) и т.п. Приписывание организациям свойств индивидов через использование терминов типа «научающаяся фирма», «цели фирмы» и т.п., можно охарактеризовать как холистический антропоморфизм². Однако какого-либо ощутимого затруднения во внутринаучных коммуникациях он не вызывает: и авторы, и читатели понимают, что речь идет о сокращенных обозначениях таких более длинных выражений, как «фирма, работники которой постоянно научаются новому» или «цели и задания, поставленные руководством фирмы перед её работниками».

Поэтому для предотвращения взаимного непонимания приведу некоторые характеристики институтов, следующие из того определения этого понятия, которое было дано Д. Нортом и приведено в сноске 1. Более кратко его можно переформулировать так: институты — это правила вместе с внешними (по отношению к индивиду, который должен им следовать) механизмами принуждения их к исполнению. Правила, входящие в институт, включают описания *адресатов* — тех, кто должен следовать правилу, *содержания правила* — что именно должны делать адресаты, *ситуаций* — в каких случаях адресаты должны выполнять правила, *санкций* — что произойдёт с адресатом в случае нарушения правила, *гарантов* — кто должен контролировать соблюдение правил и/или налагать санкции. Исходя из такого описания, можно определить также *стейкхолдеров* институтов — тех индивидов, которые получают выгоды или ущерб от следования адресатов правилам. Гаранты правил могут осуществлять свою деятельность специализированно, т.е. получать оплату своего труда; в этом случае институт является формальным. В роли гаранта может выступать также любой человек, считающий, что определённые типы индивидов должны исполнять данное правило; в этом случае институт является неформальным. Введённые здесь понятия я буду использовать далее в своем анализе.

Отмечу далее, что другая группа действий, которые, по мнению ряда авторов, осуществляют институты, связана с конкретизацией публицистического выражения «Институты имеют значение» (Institutions matter), которое вошло в широкий оборот в начале 1990-х гг., вероятно, с подачи Д. Норта [North, 1994]. Действительно, раз институты имеют значение для экономического роста и развития, а именно это подчеркивал Норт в своих работах, то они должны как-то *влиять* на эти феномены. Вполне корректный вопрос в этой связи был поставлен в [Bardhan, 2005]: институты имеют значение, но какие институты? Автор показывает, что наряду с общепринятым признанием важности защищённых прав собственности не меньшее значение имеет и соотношение механизмов координации,

¹ Поскольку среди экономистов нет совпадения в понимании того, что такое институты, сразу отмечу, что здесь они понимаются как «множество ограничений поведения в форме правил и регуляций, множество процедур обнаружения отклонений... и, наконец, множество... норм, которые ограничивают способы, которыми правила и регуляции специфицируются и принуждаются к исполнению» [North, 1984. P. 8]. Важно отметить, что в литературе наиболее часто ссылаются не на *определение* институтов Д. Нортом, а на их метафорическое описание как «правил игры». Оно не включает такой важный компонент института, как механизм принуждения к исполнению (enforcement mechanism), который есть в приведённом определении.

² Этот термин введён в [Тамбовцев, 2010. С. 5–6].

таких как государство, рынок и локальные сообщества. Исследователи демонстрировали, что институты влияют и на многие другие экономические и социальные процессы, такие как потребление [Dolfsma, 2002], справедливость [Frey, Bohnet, 1995], предпринимательство [Fuentelsaz, González, Maicas, Montero, 2015] и многие другие. Обоснование соответствующего влияния иногда имело характер логического вывода, но чаще — эконометрического анализа, который стал возможен после появления ряда страновых индикаторов, характеризовавших институциональную среду большего или меньшего числа стран.

Методология таких исследований была поставлена под сомнение А. Пржеворски, который задал следующий вопрос: Институты ли имеют значение? С его точки зрения, «Теория “нового институционализма” включает два утверждения: 1) институты имеют значение: они влияют на нормы, убеждения и действия; следовательно, они формируют конечные результаты; 2) институты эндогенны: их форма и функционирование зависят от условий, в которых они возникают и существуют (*endure*). Однако совершенно очевидное наблюдение состоит в том, что если эндогенность строгая, то институты сами себе не могут быть причинной действенности. Представьте себе, что в данных условиях жизнеспособны только те институты, которые приносят определённые результаты, скажем, те, которые увековечивают власть тех, кто могуществен в остальном. Тогда у институтов нет самостоятельной роли в игре. Их определяют условия, а институты только транслируют причинные воздействия этих условий. Вопрос, следовательно, в том, как разделить эффекты институтов от тех, которые создают порождающие их условия» [Przeworski, 2004. P. 527].

С моей точки зрения, ответ на этот вопрос зависит от того, *однозначно* ли условия определяют правила действий, вошедшие в институт? Иными словами, могут ли в одних и тех же условиях возникнуть *разные* институты? Ключевым для ответа на эти вопросы является ответ на другой вопрос: что мы понимаем под *условиями*, в которых появляются институты? Если трактовать их очень широко, например, в терминах «демократия», «автократия» и т.п., очевидно, их воздействие на институты будет неоднозначно. Если же трактовать условия крайне детально, включая конкретных индивидов, действия которых породили тот или иной формальный институт, то, на первый взгляд, связь между условиями и институтом становится однозначной, и отграничение эффекта института от эффекта условий становится невозможным.

Однако такой вывод лишен серьёзных оснований, поскольку не учитывает масштаба *издержек*, которые пришлось бы нести «творцам института» для оказания результативного воздействия на его адресатов при отсутствии этого института. Действительно, смогли бы авторы правил дорожного движения *лично*, как элементы, входящие в условия возникновения института, обеспечить исполнение этих правил хотя бы на основных автодорогах? Этот простой условный пример ясно показывает, что влияние (сколь угодно детально понимаемых) условий *отличается* от влияния институтов: последние, в силу своего устройства, *умножают* потенциальное воздействие условий на коэффициент, примерно равный численности гарантов института, т.е. числу работников контрольно-надзорных органов, которым за их зарплату поручено обеспечивать следование адресатов правилам, включённым в (формальный) институт. Подчеркну, что этот вывод о разделимости влияния условий и влияния институтов верен для каждого отдельного формального института, возникшего в ситуации, описываемой составом конкретных индивидов, создавших такой институт. Он остаётся в принципе верным, если в состав условий включать все уже принятые ранее формальные институты, если правила нового института не повторяют в точности их правил.

Между тем рассмотренная трудность отнюдь не наиболее значима в изучении влияния институтов на те или иные экономические процессы. Таковой выступает проблема измерения институтов, что необходимо для применения различных форм количественного анализа, в первую очередь эконометрических методов. Ведь в *строгом* смысле можно сказать: институты *влияют* на А, если эконометрический анализ покажет, что независимые

переменные, так или иначе отражающие именно эти, а не другие институты, действительно оказывают статистическое влияние на зависимую переменную, отражающую это А. Однако отражают ли независимые переменные именно институты, или что-то ещё? Мой анализ показывает — индикаторы институциональной среды, широко применяемые для межстрановых сопоставлений в ходе поиска свидетельств того, что институты имеют значение, обладают значительными изъянами [Тамбовцев, 2021b. С. 52-53]. Эти трудности, таким образом, имеют место, когда мы пытаемся количественно оценить влияние совокупности институтов на экономику. Однако они существенно изменяются при оценке влияния отдельных конкретных (единичных) институтов на поведение их адресатов. Ведь для такой оценки понятен механизм влияния: это новая информация о правилах и санкциях за их нарушение, которую получают адресаты и которая учитывается ими при принятии решений. В этом плане подтверждения того, что институты имеют значение, многообразны и очевидны.

В оставшейся части статьи разберем содержание нескольких из упомянутых выше статей для того, чтобы выявить, как авторы трактуют используемые термины действий, которые якобы способны осуществлять институты, а в заключительной части — сформулируем выводы из проведенного анализа.

Могут ли институты научиться?

Анализ определённого числа публикаций, содержащих в заголовках термины «научение» и «институты», показывает, что последние трактуются в двух смыслах: во-первых, под ними понимают те или иные организации [Falk, 1999; de Moura Castro, 2011; Rusok, Samy, Bhaumik, 2021], а во-вторых — нечто иное, как, например, в [Stein, 1997]. Именно эта статья будет рассмотрена в данном разделе.

Свои представления о том, как институты учатся, Й. Стейн начинает описывать с изложения характеристик знаний об окружающем их мире, которыми обладают люди: «В социальном измерении человеческое поведение зависит от межсубъектно разделённого и привнесённого ценностями знания относительно “реальной и должной природы вещей” (“the way things are and the way things should be”). Такие знания являются частью социальных структур и процессов» [Stein, 1997. P. 729]. При этом автор не указывает, что у разных людей свои межсубъектно разделённые и привнесённые ценностями знания, отнюдь не тождественные для всех. Такие знания являются (если являются) частью разных социальных структур и процессов. Ключевой вопрос — какие из этих структур отражены в знаниях каких людей и их групп? Ведь внутри одного сообщества представления могут сильно различаться, тем более — в современных обществах, наполненных многообразными локальными и иными сообществами, объединяемыми сильно различающимися представлениями о «реальной и должной природе вещей». «В когнитивном измерении, — продолжает он, — человеческое поведение зависит от привнесённого ценностями знаний коллективов индивидов. Более того, индивиды действуют, исходя из своих интерпретаций социальных воздействий. Исходя из социального измерения, становится, следовательно, важным рассматривать, как и до какой степени интерпретация подвержена социальным силам» [Там же, P. 730]. Здесь, как и в предыдущем случае, автор не подчеркивает разнообразие источников этих «сил» применительно к разным обстоятельствам получения знаний, а также того факта, что восприятие и информационная обработка получаемой информации в большинстве случаев, кроме сознательного научения чему-либо, происходит *автоматически*. Автоматичность научения, эмпирически выявленная задолго до публикации анализируемой статьи [Shiffrin, Schneider, 1977; Fazio, Sanbonmatsu, Powell, Kardes, 1986], означает, что человеческий мозг выявляет закономерности в окружающем мире (как природном, так и социальном), не различая, принадлежат ли

оцениваемые стимулы какой-то социальной структуре или являются действиями других людей, не связанными с той или иной структурой. Тем самым утверждение об *определяющем* влиянии структур на научение является не более чем *гипотезой*: структуры могут как быть, так и не быть факторами, входящими в выявленную закономерность, становящуюся одним из источников информации для принятия решений.

Между тем именно понятие социальной структуры является центральным для трактовки понятия института: это «социально сконструированная система убеждений относительно реальной и должной природы вещей, которая организует человеческую мысль и действие. Это не объективный физический феномен, но человеческий ментальный конструкт. Институты межсубъектно распределены в коллективе индивидов, как сознательно, так и неосознанно. Они ранжированы в шкале между четко структурированными (articulated) и неявными (tacit)... Это дает синтетическую картину институтов как принципов, которые управляют созданием значений и структуризацией (patterning) действий на различных социальных уровнях. По отношению к другим социальным структурам, институты суть принципы структуризации (structuration principles)» [Stein, 1997. P. 730].

Это развернутое описание свойств институтов не может не породить ряд вопросов, прежде всего вопрос о том, *где* они существуют? То, что они «социально сконструированы», мало что означает: если это «человеческие ментальные конструкты», то они существуют лишь в сознании/памяти индивидов, и у каждого они могут быть свои. Иначе говоря, в чём разница между институтами и «личными собраниями предположений относительно реальной и должной природы вещей», которые формируются индивидами на основе интернализации информации, получаемой из их социальных контекстов, о чём Стейн пишет чуть далее, на с. 731, со ссылкой на [Anderson, 1990]. Он продолжает: «Эти собрания могут быть сравнены с институтами на социальных уровнях» [Stein, 1997. P. 731], что снова порождает вопросы: кто и как может осуществить такое сравнение? Ведь для этого нужно знать и личные собрания, и институты, а каковы институты (если исходить из определений автора) и чем они отличаются от личных собраний, определить невозможно. Выражение «на социальных уровнях», используемое автором для локализации гипотетического сравнения, совершенно лишено операциональности, поэтому на поставленные вопросы затруднительно получить ответы...

Автор, однако, продолжает: «На индивидуальном уровне институты, как любые другие социальные феномены, являются ментальными конструктами. Это означает, что изменения таких конструктов подразумевает научение (запоминание) или разучение (забывание) относительно институтов... если у индивидов нет опыта относительно убеждений, разделяемых в данном коллективе, они могут прекрасно (very well) действовать вопреки общепризнанным (established) убеждениям других» [Stein, 1997. P. 732]. Каким образом возникают (устанавливаются) «общепризнанные убеждения других»? Ведь в сообществе у всех могут возникнуть разные личные собрания убеждений. Опыт и социальное давление, на которые любят ссылаться социологические институционалисты, могут в определённой мере обеспечить сходство таких собраний в *малых группах*, но не в современных больших сообществах. Образно говоря, логика таких рассуждений вполне допустима для групп охотников/собирателей, в которых человечество существовало до неолитической революции, но не для современных открытых сообществ.

Поскольку разделение институтов и личностных представлений об окружающих людей социальных условиях никак не операционализировано, то приведённое принципиально важное положение оказывается ничем не подкреплённым: как институты (т.е. субъективные ментальные конструкты) влияют не только на своих «владельцев», но и сами на себя?! Ведь убеждения у людей могут быть самыми разными, но, кроме убеждений, есть опыт, который они получают, осуществив те или иные действия, исходя из принятых решений. Ничего, кроме недоумения, не может вызвать приведённое со ссылкой на [Douglas,

1986] утверждение о том, что институты «думают и действуют посредством (through the medium) индивидов, оказывая на них влияние» [Stein, 1997. P. 732]. С тем же успехом (и убедительностью/доказательностью) можно сказать, что животные — это средство для существования микробов. Дело не в том, что такого рода высказывания оскорбительны для человеческого достоинства, а в том, что большое число микробов люди уничтожают, и в то время других — используют для производства ряда полезных для себя веществ. Поэтому считать, что животные (и люди в том числе) — это средство для жизни микробов, безусловно, можно, но только нужно понимать, что это утверждение не имеет отношения к науке: если институты думают и действуют через людей, влияя на них, очевидно, это влияние имеет целенаправленный со стороны институтов характер: они влияют на людей так, как считают нужным для себя. Напомню, что это всё говорится об институтах, представляющих собой, согласно приведённому выше определению, ментальные конструкции...

Пытаясь внести некоторую ясность в совокупность выдвигаемых положений, автор далее пишет: «Институты являются принципами структуриации, не только представленными в познаниях индивидов, но также в социальных манифестациях, таких как правила, рутины и ресурсы, и в символах, таких как мифы и истории. Эти манифестации возникают как структуриационные свойства (structuration properties) принципов структуриации (т.е. институтов), которые они репрезентируют... Эти структуриационные свойства могут рассматриваться как социальные или коллективные дублёры памяти... Существенно, что институты как принципы структуриации, подобно структуриационным свойствам социальной природы, могут сохраняться индивидуально. Это не то же самое, что сделать вывод, что институты существуют независимо от индивидов, поскольку они используются и эволюционируют в зависимости от их интернализации индивидами» [Stein, 1997. P. 732]. Получается, что индивидуальные ментальные конструкции каким-то образом порождают «правила, рутины и ресурсы», а также «мифы и истории». Как и почему они это делают?! Ответ автора прост: потому, что перечисленные феномены — это «структуриационные свойства принципов структуриации (т.е. институтов)», поэтому никаких затруднений у него (в отличие от внимательных читателей его работы) не возникает.

Приписывание придуманных *ad hoc* свойств невнятно и неоперационально определённым объектам — очень удобная вещь для того, чтобы создавать правдоподобные и убедительные для читателей тексты, по крайней мере для тех читателей, которые придают используемым в тексте выражениям свои собственные значения для того, чтобы эти тексты не утрачивали видимости научного характера. Если же пытаться строго следовать вводимым определениям (или чему-то, похожему на определения), становится понятным, что утверждения, похожие на подтверждения предыдущих, таковыми не являются.

Завершая наш затянувшийся анализ, можно заключить, что ответ на вопрос «как институты научаются?» в действительности очень краток — никак. Научаются люди, в большей или меньшей степени согласные с тем, что в определённых ситуациях имеет смысл вести себя так, как зафиксировано в релевантных ситуациям институтам, и это научение может вести как к изменению поведения, так и стремлению изменить институты, если следование им приносит скорее вред, чем пользу. Такие изменения действительно происходят, если, конечно, не срабатывает эффект блокировки [North, 1990. P. 7].

Что же касается Й. Стейна, то он завершает свой текст так: «В рамках социо-когнитивного подхода институты определены как принципы структуриации систем коллективных убеждений относительно реальной и должной природы вещей. Другое центральное понятие этого подхода — структуриационные свойства различных социальных манифестаций, которые являются результатом привнесённых ценностями убеждений институтов (result of the value-infused beliefs of institutions). Вместе с тем, принципы структуриации и структуриационные свойства как влияют, так и оказываются под влиянием развития человеческого знания» [Stein, 1997. P. 738]. Как представляется, комментарии излишни.

Как связаны институты?

В рамках того определения институтов, которое представлено в первом разделе, связанность или взаимодействие институтов имеет место, если они ограничивают, координируют или направляют поведение адресатов в одной и той же ситуации. Такого рода связанность или взаимодействие является вместе с тем лишь потенциальной: индивиды *могут* учитывать несколько институтов, принимая решения о действиях. Связанность институтов становится реальной, если на деле учитывается индивидами в соответствующих ситуациях.

Между тем в литературе взаимодействие институтов трактуется и иначе. Во-первых, под институтами часто понимаются организации [Young, 1996; Okada, Stanislawski, 2021], во-вторых, исследователи иногда трактуют институты очень широко, считая таковыми судей, адвокатов, полицейских, нормативные акты и т.п. [Prado, Trebilcock, 2009], в-третьих, взаимосвязанность институтов пытаются оценить количественно, с использованием статистических методов [Von Jacobi, 2018]. Именно этот подход мы и проанализируем в данном разделе.

Охарактеризовав предмет исследования как углубление понимания взаимосвязанности между институтами и другими структурными факторами в процессах их влияния на развитие, автор трактует институты как подмножество социальных структур, определяя их как «системы социально принятых правил, разделяя между формальными, принуждаемыми к исполнению государством, и неформальными институтами, принуждаемыми к исполнению механизмами, внешними по отношению к государственной власти... институты глубоко связаны с другими факторами, обычно некоторого структурного качества, такими как география или демография, локальная история, культура или экономические различия» [Von Jacobi, 2018. P. 853]. Отметив сложность взаимосвязанности институтов и их эндогенность, она вполне обоснованно отмечает ограниченность преодоления последней посредством инструментальных переменных и предлагает альтернативный способ изучения *симбиотических отношений* [Op. cit. P. 858]³. Для институтов среди их отношений автор, с одной стороны, выделяет взаимодополняемость или взаимозаменяемость, а также наличие положительных или отрицательных внешних эффектов, что позволяет построить соответствующую типологию. При этом «данное исследование рассматривает социальные структуры по аналогии с организмами и воздерживается от выдвижения гипотез относительно механизмов выбора на уровне индивидов. Это создаёт преимущество отказа от опоры на репрезентативных агентов и специальные поведенческие предпосылки. С другой стороны, оно остается агностическим относительно ключевых драйверов институциональных изменений, а именно — человеческого выбора и действий» [Op. cit. P. 860]. Между тем агностицизм мог оказаться преодолённым, если бы автор опиралась не на социологическое, а на экономическое понимание институтов, что позволило бы считать организмами не социальные структуры, а реальных людей — адресатов, гарантов и стейкхолдеров институтов. Ведь именно этот подход дает возможности анализировать механизмы взаимодействия институтов как факторов принятия индивидуальных решений. Однако вместо такого анализа Н. Якоби идет по пути вычисления матриц сопряженности переменных, которые тем или иным способом отражают интересующие её социальные структуры и институты в муниципалитетах Бразилии, такие как индикаторы этнического и возрастного распределения населения, разницы в оплате труда, неграмотность взрослых, социальные установки, уровень самоубийств и т.п.

Легко видеть, что многие перечисленные показатели измеряют не только (а иногда и не столько) институты и другие социальные структуры, сколько результаты взаимодействия решений, принятых самым разнообразным кругом индивидов, — от руководителей

³ Как известно, симбиоз — биологическое понятие, обозначающее совместное проживание организмов, принадлежащих разным видам.

штатов и муниципалитетов до семейных пар и отдельных граждан. Достаточно странно считать, что корреляции между этими показателями будут отражать именно взаимодействие институтов и социальных структур, а не совокупные, стохастически сложившиеся последствия реализации решений упомянутых индивидов. То, что некоторые из совокупности проанализированных факторов (индикаторов, показателей) имеют более тесные корреляции с другими, сомнений не вызывает. Сомнения начинаются, когда эти факторы предлагается отождествить с теми или иными институтами или социальными структурами. Ведь для такого отождествления необходимо чётко показать, что эти факторы порождены соответствующими институтами, что они отражают (измеряют) именно эти институты, а не какие-то совокупности институтов и чего-то другого. Без такой демонстрации утверждение, что некоторый институт является наиболее значимым (или более значимым, чем некоторые другие), оказывается необоснованным: расчёты свидетельствуют о значимости факторов, а не институтов, которые исследователь счел валидно измеряемыми соответствующими индикаторами или показателями.

Таким образом, подход к оценке взаимодействия институтов с другими социальными структурами, реализованный в [Von Jacobi, 2018], сталкивается в точности с теми проблемами, на которые было обращено внимание в [Przeworski, 2004].

Могут ли институты оказывать давление?

Представления о том, что институциональная среда влияет на поведение индивидов в организациях, в организационном институционализме связана в первую очередь с работой [DiMaggio, Powell, 1983], в которой были введены представления о трех типах «институционального давления». С тех пор о том, что институты оказывают давление, предъявляют требования и т.п., в работах по организационному институционализму пишут достаточно часто [Goodstein, 1994; Clemens, Dougl, 2005; Aharonson, Bort, 2015].

Мы проанализируем только одну статью на эту тему [Pache, Santos, 2010] в силу того, что она специально посвящена реакции организаций на предъявляемые к ним «институциональные требования» и, кроме того, хорошо отражает представления сторонников данной исследовательской программы: на неё дано почти две тысячи ссылок. Характеризуя задачи своего исследования, авторы подчёркивают, что их интересуют не просто возможные ответы организаций на упомянутые требования, но ситуации, в которых они *противоречат друг другу*. В статье говорится, как об общем понятии, об «институциональных требованиях», однако при этом имеются в виду весьма различные источники давления, такие как официальные нормативные акты (регуляции), формальные и неформальные требования профессиональных ассоциаций, а также ожидания различных социальных групп [Pache, Santos, 2010. P. 457]. В силу того, что эти источники способны породить принципиально различные типы санкций и наносимых ими ущербов, понятно, что ответ организации (если она стремится принимать рациональные решения) будет определяться соотношением этих ущербов: он будет таков, чтобы минимизировать совокупный ущерб. Однако авторы об этом не говорят: «В этой статье мы используем термин *институциональные требования* по отношению к тем разнообразным давлениям, направляемым для достижения согласия, которые в данном поле осуществляют на организацию входящими в него институциональными объектами. *Конфликтующие институциональные требования*, тем самым, означают антагонизм в организационных соглашениях, требуемых институциональными объектами. Организации, сталкивающиеся с конфликтующими институциональными требованиями, оперируют в множественных институциональных сферах и являются субъектами множественных и противоречивых регуляторных режимов, нормативных порядков и/или культурных логик» [Pache, Santos, 2010. P. 457] (со ссылкой на [Kraatz, Block, 2008]).

При этом они обращают внимание на то, что, хотя изучение феномена противоречивых требований к организации вызывает всё возрастающий интерес, «исследователи пренебрегают изучением специфических организационных ответов на конфликтующие институциональные требования» [Pache, Santos, 2010. P. 457]. Казалось бы, здесь самое место для указания на то, что разные требования сопряжены с неодинаковыми санкциями и ущербами для организации, что и будет определять её реакцию на противоречия. Однако авторы полагают, что «понимание того, как организации отвечают на конфликтующие требования, прежде всего, требует понимания, как возникают такие конфликты, и как они возлагаются на организации» [Ibid.]. Такие знания, как представляется, могут быть полезны, но вряд ли являются решающими для объяснения организационных реакций на противоречивые требования к ней. Между тем в статье выдвигается следующая гипотеза: «конфликтующие институциональные требования с наибольшей вероятностью возникают во фрагментированных полях», поясняя со ссылкой на [Meyer, Scott, Strong, 1987], что «фрагментация означает число нескоординированных организаций или социальных акторов, от которых зависят участники поля» [Ibid.].

Из этого пояснения следует (если понимать его как определение), что для фирм, действующих на конкурентных рынках, любые поля фрагментированы, поскольку на них действуют неорганизованные покупатели (как разновидность стейкхолдеров), предъявляющие фирмам свои требования, которые вряд ли будут совпадать с требованиями их акционеров, владельцев, работников и т.п. Однако в силу того, что ущербы от санкций сильно различаются, эта (типичная для конкурентных рынков) конфликтная ситуация разрешается фирмами всякий раз с использованием привычных и новых конкурентных действий — иногда успешно (фирма формирует конкурентные преимущества), а иногда неудачно (фирма оказывается побеждённой в конкурентной борьбе и уходит с данного рынка). Тем самым для наиболее массовых «организационных полей» на рынках было бы естественно связать изучение проблемы «конфликтующих институциональных требований» с исследованиями практик конкуренции, которые используют фирмы. Однако ничего похожего в рассматриваемой статье мы не найдем.

Авторы лишь выделяют регулирующие агентства как наиболее значительные «институты», обладающие юридической властью предъявлять организациям свои требования, что, с одной стороны, вполне очевидно, но с другой — даёт фирмам возможность искать легальные формы «обхода» регуляций, изобретать схемы (взаимо)действия, формально отвечающие требованиям регулятора, но реально выходящие за их рамки. При этом, правда, вторая из названных опций в статье не упоминается.

В целом же, пишут авторы, «мы доказываем, что организационные ответы на конфликтующие институциональные требования являются функцией природы этих требований и той степени, с которой эти требования представлены внутри организации. Мы утверждаем, что организации могут различаться в своих стратегиях ответов, в зависимости от содержания конфликта и от мотивации организационных групп видеть одно из требований преобладающим» [Pache, Santos, 2010. P. 458].

Последний из указанных факторов похож на фактор ожидаемого ущерба, однако может и не быть им, поскольку означает значимость для *некоторой группы* участников организации, а о ранжированности групп здесь ничего не говорится. Однако не скрывается ли уровень возможных ущербов за выражением «природа требований»? Текст статьи показывает, что это не так: «Природа требований — важный фактор при изучении организационных ответов на конфликтующие требования, поскольку она позволяет нам предсказывать степень, с которой эти требования согласуемы (negotiable)» [Pache, Santos, 2010. P. 459]. По мнению авторов, требования могут касаться как целей организации, так и средств их достижения. Поскольку цели определяются ключевой системой ценностей, об их изменении вести переговоры нелегко, в то время как требования об изменении средств достижения целей гораздо более гибки.

Мы видим, таким образом, что пренебрежение экономическим анализом во многом лишает авторов возможности провести детальное исследование вариантов поведения организаций в ситуации противоречивых требований к ним со стороны стейкхолдеров. Более того, недостаточно ясным осталось и само понятие «институциональных требований» (или «институционального давления»): ведь требуют не институты, и даже не организации, а *люди*, — как частные покупатели услуг или продуктов, либо как работники государственных регулирующих агентств. Нет определения этих понятий и в статье [Oliver, 1991], специально посвященной анализу вариантов ответов организаций на «институциональное давление». Тем самым, «давление» и «требование» фактически являются метафорами, используемыми для краткого обозначения того очевидного факта, что любой институт включает в себя те или иные ограничения (но, разумеется, не только их), наличие которых, а также санкций за их нарушение, и позволяет использовать упомянутые метафоры.

Соблазняют ли кого-то институты?

Образная характеристика институтов как «тайных соблазнительей», т.е. феноменов, определяющих и изменяющих установки, предпочтения и убеждения людей, была дана Дж. Ходжсоном, который в целом описал их так: «Институты — это жизнестойкие (*durable*) системы установленных и укоренённых социальных правил и конвенций, которые структурируют социальные взаимодействия. Язык, деньги, право, системы мер и весов, манеры вести себя за столом, фирмы (и другие организации) — все они являются институтами. В частности, жизнестойкость институтов следует из того полезного факта, что они могут создавать устойчивые ожидания поведения других людей. В общем, институты способствуют упорядочению мышления, ожидания и действий, устанавливая (*imposing*) форму и последовательность (*consistency*) человеческих действий. Они зависят от мыслей и действий людей, но несводимы к ним» [Hodgson, 2003. P. 163].

Если первая фраза этой цитаты представляет собой определение понятия «институт», вторая содержит примеры элементов содержания этого понятия⁴, то третья и четвертая — это совокупность гипотез, никак не вытекающих логически из данного определения. Как язык может создать устойчивые ожидания поведения других? Как та или иная фирма упорядочивает мысли индивида, который знать не знает о её существовании? Как право упорядочивает наши ожидания относительно действий преступников? Как язык упорядочивает наши действия относительно охраны природы? Понятно, что число таких безответных вопросов можно продолжать сколь угодно долго: ведь заключительная фраза имеет общий характер, и для того, чтобы не быть ложной, она должна была бы иметь иной вид, например: разные институты оказывают различное воздействие на многообразные характеристики тех или иных индивидов, после чего должны были бы следовать примеры конкретных институтов, оказывающих, по мнению цитируемого автора, соответствующие воздействия. В той же форме, как она дана, её можно считать скорее ложной, чем истинной, поскольку поставленные выше вопросы вряд ли могут получить убедительные ответы. Для целей данного анализа важно подчеркнуть также, что отсутствует и ответ на вопрос о том, как столь разнородные объекты «устанавливают форму и последовательность человеческих действий».

Что же придаёт институтам указанные автором удивительные черты, что предоставляет им такие способности и как они их реализуют? По мнению Ходжсона, «правила укоренены, потому что люди систематически выбирают следование им» [Hodgson, 2003. P. 163]. А почему их выбор именно таков? Потому что «философы прагматизма... и экономисты

⁴ Приведенные примеры ясно показывают, что это понятие является композитным, охватывающим качественно различные объекты, что ощутимо затрудняет научные коммуникации с его использованием.

”старого” институционализма... полагают, что институты работают только потому, что входящие в них правила укоренены в коллективных привычках мышления и поведения» [Ibid.]. Кроме как ссылки на авторитеты, иных аргументов, подтверждающих высказанные гипотетические утверждения, автор не приводит, он просто заключает: «В рамках этого подхода, институты являются эмерджентными социальными структурами, основанными на общих привычках мысли: институты воспитаны на (are conditioned by) и зависят от индивидов и их привычках, но они не сводимы к ним. Привычки являются конституирующим материалом (constitutive material) институтов, обеспечивающим им повышенную жизнестойкость, силу (power) и нормативную власть (normative authority)» [Ibid.].

Но подобное заключение нельзя считать обоснованным ни логикой, ни фактами. Обоснованность же авторитетами вряд ли можно считать свойственной науке: тот, кто является авторитетом для одной группы людей, может вовсе не быть таковым для других. Кроме того, последняя цитированная фраза входит в прямое несоответствие с приведённым выше определением института: ведь получается, что установленное, например, правило, повышающее налоги, т.е. приносящее дополнительные издержки своим адресатам и вовсе не ставшее привычкой (привычкой становится поиск способов его не исполнять), не является институтом. Вообще, объявление институтами только тех правил, которые люди исполняют по привычке, без каких-либо иных мотивов, сразу либо делает необъяснимым существование в любой стране масштабных контрольно-надзорных агентств, либо требует вывести из состава институтов большую часть нормативно-правовых актов, имеющих перераспределительный характер.

Установление весьма жёсткой связи институтов и привычек тем более необосновано, поскольку относительно последних автор утверждает следующее: «привычка не означает поведения. Это склонность (*propensity*) вести себя определённым образом в определённом классе ситуаций. Что особенно важно, мы можем иметь привычки, которые лежат неиспользованными в течение долгого времени. Привычка может существовать, даже если она не проявляется в поведении. Привычки — это скрытый (*submerged*) репертуар потенциального поведения; они могут быть запущены (*triggered*) подходящим стимулом или контекстом» [Hodgson, 2003. P. 163]. Но сказанное означает, что трактовка институтов как «опривыченных правил» лишается какой-либо операциональности, поскольку привычки лишаются *наблюдаемости*: мы не сможем утверждать, что люди следуют именно институту, а не чему-то, что не является институтом (конечно, если строго следовать введенным Ходжсоном определениям, а не приписывать терминам того значения, которое удобно в данном контексте...).

Отмеченный момент тем более повышает важность ответа на вопрос о том, как же институты *действуют*? К сожалению, последующее изложение авторских позиций отнюдь не облегчает получение ответа на этот вопрос: «Институты суть структуры, с которыми сталкиваются индивиды, равно как и происходящие из индивидов как таковых. Соответственно, институты одновременно являются как объективными структурами “снаружи”, так и субъективным источником человеческой свободы выбора (*agency*) “в голове”. Актор и структура, хотя и отличны друг от друга, соединены в цикл взаимных взаимодействий и взаимозависимостей» [Hodgson, 2003. P. 163]. Но как всё же «объективные структуры “снаружи”» на нас влияют? Автор продолжает: «отношения между ними несимметричны; структуры и институты обычно предшествуют индивидам... Мы все рождены в мире ранее существующих институтов, дарованных историей» [Ibid.]. По всей видимости, именно этот факт он считает *объяснением* того, как институты влияют на индивидов. Но данный очевидный факт вовсе *нельзя* считать *объяснением влияния*: если бы люди в точности следовали тем правилам, которые «работали» в момент их появления на свет, мы скорее всего продолжали бы жить жизнью палеолитических охотников-собираателей, в которой явно не нашлось бы места для научного исследования институтов.

Безграничность использования де-операционализованного определения привычки хорошо демонстрируют следующие утверждения Ходжсона: «Например, хорошо продуманная мысль зависит от усвоенных привычек языка, равно как и расцвечена ими. Кроме того, для придания смысла словам мы располагаем усвоенными привычками к классификации и привычно ассоциированными значениями. Критическим пунктом является то, что все действия и рассуждения зависят от прежних привычек, которые мы приобретаем в течение нашего индивидуального развития» [Hodgson, 2003. P. 167].

Что изменится, если мы заменим слово «привычка» на слово «знание»? По содержанию — ничего, но у автора в этом случае исчезают «обоснования» всеобщности привычек и их магической роли воспринимать влияние институтов и транслировать их в действия людей. Автор ссылается на якобы действующий механизм переустанавливающей нисходящей причинности (*reconstitutive downward causation*), но какой-либо конструктивной, доказательной характеристики его работы не приводит. Используемые «обоснования» его действия приведены выше, и за пределы ссылок на «авторитетные» суждения некоторых авторов они не выходят.

Что можно сказать на тему *влияния институтов*, основываясь на положениях НИЭТ? Исходя из приведённого выше определения института, возможно выделить два канала его влияния на поведение адресатов: *информационный*, через который адресаты получают знания и представления о содержании правил и возможных последствиях их нарушений, и *силовой*, через который на адресатов непосредственно влияют гаранты института. Разумеется, прилагательное «силовой» не означает здесь исключительно прямое физическое воздействие (хотя оно тоже может иметь место), оно лишь подчёркивает связь влияния с определённой группой людей — гарантами, в то время как первый канал соединяет адресатов с широким кругом устных и/или письменных сообщений. Можно также сказать, что через первый канал адресат получает кодированную информацию, а через второй — еще и опыт, т.е. некодированную информацию.

Через информационный канал осуществляется также *социальное научение* [Bandura, 1969a; Bandura, 1969b], т.е. восприятие не собственного, а чужого опыта, которое также позволяет узнать, каковы последствия следования или не следования правилам, входящим в некоторый институт. Более того, социальное научение может сформировать у индивида *субъективные нормы* — «воспринятое социальное давление относительно того, вести или не вести себя определённым образом» [Ajzen, 1991. P. 188]. Социальное давление — как в данном, так и в других случаях — это *ожидаемые санкции* со стороны наблюдающих некоторые действия людей к субъектам этих действий. Понятно, что ожидания здесь могут возникнуть в первую очередь *из наблюдения* за случающимися ситуациями, т.е. из социального научения. Хотя вполне возможно также и непосредственно вербальное обучение, т.е. целенаправленная передача информации от одних индивидов к другим, а также чтение текстов, в той или иной форме говорящих о том, как вести себя⁵.

Говоря о социальном научении, важно подчеркнуть, что индивиды, воспринимая информацию из внешней среды, при принятии решений вовсе не реагируют на неё автоматически. Они ставят для себя те или иные цели, оценивают последствия возможных действий и выбирают из них те, которые позволяют двигаться к целям. При этом они формируют *личные стандарты* оценки, научаясь сами и вознаграждать, и наказывать самих себя [Bandura, 1991; Bandura, 2001].

Из сказанного следует, что говорить о влиянии тех или иных социальных структур, если они лишены гарантов, можно лишь в метафорическом смысле. Поскольку эти струк-

⁵ Нельзя не отметить, что социальное научение более надёжно, чем иные формы получения знаний о поведении, поскольку последние могут содержать неточную информацию, например, сведения о том, как кому-то надо, чтобы люди вели себя определённым образом, хотя на самом деле они ведут себя иначе.

туры представляют собой не более чем результаты теоретического осмысления некоторыми людьми наблюдаемого опыта, и как таковые являются не более чем гипотетическими конструктами: ведь один и тот же наблюдаемый опыт можно теоретически описывать далеко не единственным способом.

Таким образом, трактовка институтов как «тайных соблазнительей» является чрезмерным преувеличением их роли в нашей жизни. Да, как и многое другое, они могут *влиять* на человеческие действия, но *определять* их — лишь в достаточно редких случаях. Если бы это было не так, если бы *все* люди на протяжении человеческой истории были «соблазнены» вести себя так, как «требуют» существовавшие до них институты, вряд ли их жизнь изменилась по сравнению с той, которой жили первые *homo sapiens* сотни тысяч лет тому назад.

Заключение: Так что же могут институты?

Разумеется, нам удалось более или менее детально проанализировать далеко не все те метафорические высказывания относительно институтов, которые можно найти в литературе, посвящённой различным современным институционализмам, преимущественно организационному. Рассмотренные четыре примера показывают, что с соответствующими метафорами так или иначе сочетаются такие моменты авторских размышлений, как отсутствие строгих определений, содержание которых не менялось бы по ходу рассуждений, невнимание к чётко трактуемым фактам как подтверждениям высказываемых гипотез и попытка заменить их суждениями философов, вероятно, и другие черты, детальный анализ которых выходит за рамки данного исследования. Использование таких риторических приемов предоставляет авторам широкие (если не сказать — безграничные) возможности строить свои рассуждения для демонстрации того или иного понимания окружающей нас социальной действительности, которое у них имеется (или, если следовать логике Дж. Ходжсона — которое является привычкой, почерпнутой ими из социальных структур, появившихся задолго до нашего времени).

Безусловно, можно понять исследователей (особенно начинающих), которые, обнаружив подобные сложносочиненные тексты и не будучи хорошо знакомыми с разнообразием подходов к изучению институтов, начинают считать, что именно такие статьи, лишённые строгости, но наполненные сложностью, и есть настоящее изучение институтов — неважно, в социологии, экономике или антропологии. В этой связи нельзя не привести суждения Б. Чарнявски, работающей в ряде областей социальных наук и приглашённой сторонниками организационного институционализма к участию в готовившемся в конце 2000-х гг. в издательстве Сейдж «Справочнике по организационному институционализму». Изучив уже подготовленные рукописи, она заключила: «В прочитанном мною, наиболее интересные интерпретации институциональной теории вытекают из неверного использования термина “институт” (from the misuse of the term “institution”)... Исходя из этого, некоторые читатели могут ожидать рекомендаций о том, что заинтересованное сообщество учёных должно мобилизоваться и сделать институционализм “совершенной теорией”, со строгими определениями своего предмета, множеством аксиом и логически связанными утверждениями. С моей точки зрения, это стало бы смертью той институциональной теории, которую мы знаем и высоко ценим... Это так, поскольку институциональная теория — вообще не теория, но концепция, словарь, способ размышления о социальной жизни, имеющий много разных путей. Это и будет моей рекомендацией институциональной теории относительно институциональной теории» [Czarniawska, 2008. Pp. 767–768].

Всёцело присоединяясь к этому заключению, завершу анализ следующим ответом на вопрос в заголовке раздела: институты, подобно многому другому, могут влиять на действия индивидов, в то время как выбор того, что делать, остается за человеком.

ЛИТЕРАТУРА

- Прийма К.А. (2015). Исследование форм взаимодействия институтов банковского и реального секторов экономики // *Экономическое возрождение России*. №2 (44). С. 116–120.
- Тамбовцев В.Л. (2010). Стратегическая теория фирмы: состояние и возможное развитие // *Российский журнал менеджмента*. Т. 8. №1. С. 5–40.
- Тамбовцев В.Л. (2021a). Институционализмы в экономической науке: что стоит за их разнообразием? // *Journal of Institutional Studies*. Т. 13. Вып. 1. С. 86–99.
- Тамбовцев В. Л. (2021b). Качество институтов: проблемы определения и оценки // *Вопросы экономики*. № 7. С. 49–67.
- Aharonson B.S., Bort S. (2015). Institutional pressure and an organization's strategic response in Corporate Social Action engagement // *Strategic Organization*. Vol. 13. No. 4. Pp. 307–339.
- Ajzen I. (1991). The theory of planned behavior // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. No. 2. Pp. 179–211.
- Anderson J.R. (1990). *Cognitive Psychology and Its Implications*. — New York: Freeman & Company.
- Bandura A. (1969a). Social-learning theory of identificatory processes // *Handbook of Socialization Theory and Research / D. A. Goslin (Ed.)*. — Chicago: Rand McNally. Pp. 213–262.
- Bandura A. (1969b). Social learning of moral judgments // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 11. Is. 3. Pp. 275–279.
- Bandura A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. Is. 2. Pp. 248–287.
- Bandura A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective // *Annual Review of Psychology*. Vol. 52. Pp. 1–26.
- Bardhan P. (2005). Institutions matter, but which ones? // *Economics of Transition*. Vol. 13. Is. 3. Pp. 499–532.
- Butkeviciene J., Sekliuckiene J. (2022). Exploring the institutional pressures that affect international new ventures // *Entrepreneurial Business and Economics Review*. Vol. 10. No. 1. Pp. 97–112.
- Caplin A., Nalebuff B. (1997). Competition among Institutions // *Journal of Economic Theory*. Vol. 72. Is. 2. Pp. 306–342.
- Clemens B.W., Dougl, T.J. (2005). Understanding strategic responses to institutional pressures // *Journal of Business Research*. Vol. 58. No. 9. Pp. 1205–1213.
- Czarniawska B. (2008). How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Reflections on Institutional Theory(ies). // *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism / R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, R. Suddaby (Eds.)*. — London: Sage. Pp. 767–780.
- Davidsson P, Hunter E., Klofsten M. (2006). Institutional Forces: The Invisible Hand that Shapes Venture Ideas? // *International Small Business Journal*. Vol. 24. Is. 2. Pp. 115–131.
- de Moura Castro C. (2011). Do training institutions learn from experience? // *International Journal of Educational Development*. Vol. 31. Is. 3. Pp. 287–296.
- DiMaggio P.J., Powell W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // *American Sociological Review*. Vol. 48. No. 2. Pp. 147–160.
- Dolfsma W. (2002). Mediated Preferences: How Institutions Affect Consumption // *Journal of Economic Issues*. Vol. 36. No. 2. Pp. 449–457.
- Douglas M. (1986). *How Institutions Think*. Syracuse. — New York: Syracuse University Press.
- Falk J.H. (1999). Museums as Institutions for Personal Learning // *Daedalus*. Vol. 128. No. 3. Pp. 259–275.
- Fazio R.H., Sanbonmatsu D.M., Powell M.C., Kardes F.R. (1986). On the Automatic Activation of Attitudes // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 50. No. 2. Pp. 229–238.
- Ferrando A., Ganoulis I., Preuss C. (2021). What were they thinking? Firms' expectations since the financial crisis // *Review of Behavioral Finance*. Vol. 13. No. 4. Pp. 370–385.
- Frey B.S., Bohnet I. (1995). Institutions Affect Fairness: Experimental Investigations // *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. Vol. 151. No. 2. Pp. 286–303.
- Fuentelsaz L., González C., Maicas J. P., Montero J. (2015). How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship // *Business Research Quarterly*. Vol. 18. Is. 4. Pp. 246–258.
- Gehring T., Oberthür S. (2009). The causal mechanisms of interaction between international institutions // *European Journal of International Relations*. Vol. 15. Is. 1. Pp. 125–156.
- Goodstein J.D. (1994). Institutional Pressures and Strategic Responsiveness: Employer Involvement in Work-Family Issues // *Academy of Management Journal*. Vol. 37. No. 2. Pp. 350–382.
- Hodgson G.M. (2003). The hidden persuaders: Institutions and individuals in economic theory // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 27. Is. 2. Pp. 159–175.
- Kraatz M.S., Block E.S. (2008). Organizational implications of institutional pluralism. // *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism / R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin-Andersson (Eds.)*. — London: Sage. Pp. 243–275.
- Lammers J. C. (2011). How Institutions Communicate: Institutional Messages, Institutional Logics, and Organizational Communication // *Management Communication Quarterly*. Vol. 25. No. 1. Pp. 154–182.

- Meyer J., Scott W.R., Strong D. (1987). Centralization, fragmentation and school district complexity // *Administrative Science Quarterly*. Vol. 32. No. 2. Pp. 186–201.
- Meyer R.E., Vaara E. (2020). Institutions and actorhood as co-constitutive and co-constructed: The argument and areas for future research // *Journal of Management Studies*. Vol. 57. Is. 4. Pp. 898–910.
- North D.C. (1984). Transaction costs, institutions, and economic history // *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. Vol. 140. No. 1. Pp. 7–17.
- North D.C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- North D.C. (1994). Institutions matter. (Economic History WP No. 9411004). University Library of Munich, Germany. <https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/eh/papers/9411/9411004.pdf> (дата обращения: 17.03.2022).
- Okada Y., Stanislawski S. (2021). Introduction // *Institutional Interconnections and Cross-Boundary Cooperation in Inclusive Business* / Y. Okada, S. Stanislawski (Eds.). — Bingley: Emerald. Pp. 9–48.
- Oliver C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes // *Academy of Management Review*. Vol. 16. No. 1. Pp. 145–179.
- Pache A.-C., Santos F. (2010). When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands // *Academy of Management Review*. Vol. 35. No. 3. Pp. 455–476.
- Prado M., Trebilcock M. (2009). Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform // *University of Toronto Law Journal*. Vol. 59. No. 3. Pp. 341–379.
- Przeworski A. (2004). Institutions Matter? // *Government and Opposition*. Vol. 39. Is. 4. Pp. 527–540.
- Rusok N.H.M., Samy N.K., Bhaumik A. (2021). Higher Education Institutions as Learning Organisations: Learn, Adapt and Evolve // *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 11. No. 7. Pp. 1003–1015.
- Shiffrin R.M., Schneider W. (1977). Controlled and Automatic Human Information Processing: II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory // *Psychological Review*. Vol. 84. No. 2. Pp. 127–190.
- Stein J. (1997). How Institutions Learn: A Socio-Cognitive Perspective // *Journal of Economic Issues*. Vol. 31. No. 3. Pp. 729–740.
- Thompson M. (2018). How banks and other financial institutions think // *British Actuarial Journal*. Vol. 23. Article e5. Pp. 1–16.
- Von Jacobi N. (2018). Institutional Interconnections: Understanding symbiotic relationships // *Journal of Institutional Economics*. Vol. 14. Is. 5. Pp. 853–876.
- Young O. (1996). Institutional linkages in international society: Polar perspectives // *Global Governance*. Vol. 2. Is. 1. Pp. 1–23.

Тамбовцев Виталий Леонидович

tambovtsev@econ.msu.ru

Vitaly Tambovtsev

Doctor of sciences (Economics), professor, chief researcher scientist, faculty of Economics Lomonosov Moscow State University

tambovtsev@econ.msu.ru

WHAT CAN INSTITUTIONS DO? METAPHORS OF THE ORGANIZATIONAL INSTITUTIONALISM

Abstract. In organizational institutionalism and some other institutionalisms one can regularly find expressions according to which institutions can learn, interact with social structures, exert pressure, persuade, and so on. At the same time, in the New Institutional Economics (NIE), institutions can carry out any actions only in a metaphorical sense. This discrepancy can cause, especially for novice researchers, difficulties in scholarly communication. To reduce the likelihood of such difficulties, the article analyzes several articles that use the above expressions. It is shown that all of them are metaphors, behind which the authors of the articles do not always show the really existing mechanisms of institutions' influence on the individuals' decisions and actions. The interpretations of such mechanisms in the NIE and in organizational institutionalism are compared.

Keywords: *institutions, influence, organizational institutionalism, new institutional economics.*

JEL: B52, D91.

REFERENCES

- Aharonson B.S., Bort S. (2015). Institutional pressure and an organization's strategic response in Corporate Social Action engagement // *Strategic Organization*. Vol. 13. No. 4. Pp. 307–339.
- Ajzen I. (1991). The theory of planned behavior // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. No. 2. Pp. 179–211.
- Anderson J.R. (1990). *Cognitive Psychology and Its Implications*. — New York: Freeman & Company.
- Bandura A. (1969a). Social-learning theory of identificatory processes // *Handbook of Socialization Theory and Research* / D. A. Goslin (Ed.). — Chicago: Rand McNally. Pp. 213–262.
- Bandura A. (1969b). Social learning of moral judgments // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 11. Is. 3. Pp. 275–279.
- Bandura A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. Is. 2. Pp. 248–287.
- Bandura A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective // *Annual Review of Psychology*. Vol. 52. Pp.1–26.
- Bardhan P. (2005). Institutions matter, but which ones? // *Economics of Transition*. Vol. 13. Is. 3. Pp. 499–532.
- Butkeviciene J., Sekliuckiene J. (2022). Exploring the institutional pressures that affect international new ventures // *Entrepreneurial Business and Economics Review*. Vol. 10. No. 1. Pp. 97–112.
- Caplin A., Nalebuff B. (1997). Competition among Institutions // *Journal of Economic Theory*. Vol. 72. Is. 2. Pp. 306–342.
- Clemens B.W., Dougl, T.J. (2005). Understanding strategic responses to institutional pressures // *Journal of Business Research*. Vol. 58. No. 9. Pp. 1205–1213.
- Czarniawska B. (2008). How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Reflections on Institutional Theory(ies). // *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* / R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, R. Suddaby (Eds.). London: Sage. Pp. 767–780.
- Davidsson P., Hunter E., Klofsten M. (2006). Institutional Forces: The Invisible Hand that Shapes Venture Ideas? // *International Small Business Journal*. Vol. 24. Is. 2. Pp. 115–131.
- de Moura Castro C. (2011). Do training institutions learn from experience? // *International Journal of Educational Development*. Vol. 31. Is. 3. Pp. 287–296.
- DiMaggio P.J., Powell W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // *American Sociological Review*. Vol. 48. No. 2. Pp. 147–160.
- Dolfsma W. (2002). Mediated Preferences: How Institutions Affect Consumption // *Journal of Economic Issues*. Vol. 36. No. 2. Pp. 449–457.
- Douglas M. (1986). *How Institutions Think*. — Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Falk J.H. (1999). Museums as Institutions for Personal Learning // *Daedalus*. Vol. 128. No. 3. Pp. 259–275.
- Fazio R.H., Sanbonmatsu D.M., Powell M.C., Kardes F.R. (1986). On the Automatic Activation of Attitudes // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 50. No. 2. Pp. 229–238.
- Ferrando A., Ganoulis I., Preuss C. (2021). What were they thinking? Firms' expectations since the financial crisis // *Review of Behavioral Finance*. Vol. 13. No. 4. Pp. 370–385.
- Frey B.S., Bohnet I. (1995). Institutions Affect Fairness: Experimental Investigations // *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. Vol. 151. No. 2. Pp. 286–303.
- Fuentelsaz L., González C., Maicas J.P., Montero J. (2015). How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship // *Business Research Quarterly*. Vol. 18. Is. 4. Pp. 246–258.
- Gehring T., Oberthür S. (2009). The causal mechanisms of interaction between international institutions // *European Journal of International Relations*. Vol. 15. Is. 1. Pp. 125–156.
- Goodstein J.D. (1994). Institutional Pressures and Strategic Responsiveness: Employer Involvement in Work-Family Issues // *Academy of Management Journal*. Vol. 37. No. 2. Pp. 350–382.
- Hodgson G.M. (2003). The hidden persuaders: Institutions and individuals in economic theory // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 27. Is. 2. Pp. 159–175.
- Kraatz M.S., Block E.S. (2008). Organizational implications of institutional pluralism. // *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* / R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin-Andersson (Eds.). — London: Sage. Pp. 243–275.
- Lammers J.C. (2011). How Institutions Communicate: Institutional Messages, Institutional Logics, and Organizational Communication // *Management Communication Quarterly*. Vol. 25. No. 1. Pp. 154–182.
- Meyer J., Scott W.R., Strong D. (1987). Centralization, fragmentation and school district complexity // *Administrative Science Quarterly*. Vol. 32. No. 2. Pp. 186–201.
- Meyer R.E., Vaara E. (2020). Institutions and actorhood as co-constitutive and co-constructed: The argument and areas for future research // *Journal of Management Studies*. Vol. 57. Is. 4. Pp. 898–910.
- North D.C. (1984). Transaction costs, institutions, and economic history // *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. Vol. 140. No. 1. Pp. 7–17.
- North D.C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- North D.C. (1994). *Institutions matter*. (Economic History WP No. 9411004). University Library of Munich, Germany. <https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/eh/papers/9411/9411004.pdf> (access date: 17. 03.2022).

- Okada Y., Stanislawski S. (2021). Introduction // *Institutional Interconnections and Cross-Boundary Cooperation in Inclusive Business* / Y. Okada, S. Stanislawski (Eds.). — Bingley: Emerald. Pp. 9–48.
- Oliver C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes // *Academy of Management Review*. Vol. 16. No. 1. Pp. 145–179.
- Pache A.-C., Santos F. (2010). When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands // *Academy of Management Review*. Vol. 35. No. 3. Pp. 455–476.
- Prado M., Trebilcock M. (2009). Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform // *University of Toronto Law Journal*. Vol. 59. No. 3. Pp. 341–379.
- Priima K.A. (2015). Issledovanie form vzaimodejstvie institutov bankovskogo i real'nogo sektorov ekonomiki [Research forms of interaction institute of banking and the real economy] // *Economic Revival of Russia*. No. 2 (44). Pp. 116–120. (In Russ.).
- Przeworski A. (2004). Institutions Matter? // *Government and Opposition*. Vol. 39. Is. 4. Pp. 527–540.
- Rusok N.H.M., Samy N.K. & Bhaumik A. (2021). Higher Education Institutions as Learning Organisations: Learn, Adapt and Evolve // *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 11. No. 7. Pp. 1003–1015.
- Shiffrin R.M., Schneider W. (1977). Controlled and Automatic Human Information Processing: II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory // *Psychological Review*. Vol. 84. No. 2. Pp. 127–190.
- Stein J. (1997). How Institutions Learn: A Socio-Cognitive Perspective // *Journal of Economic Issues*. Vol. 31. No. 3. Pp. 729–740.
- Tambovtsev V.L. (2010). Strategicheskaya teoriya firmy: sostoyanie i vozmozhnoe razvitie [Strategic Theory of the Firm: State of the Art and Possible Development] // *Russian Management Journal*. Vol. 8. No. 1. Pp 5–40. (In Russ.).
- Tambovtsev V.L. (2021a). Institucionalizmy v ekonomicheskoy nauke: chto stoit za ih raznoobraziem? [Institutionalisms in economics: What are behinds their variety?] // *Journal of Institutional Studies*. Vol. 13. Is. 1. Pp. 86–99. (In Russ.).
- Tambovtsev V.L. (2021b). Kachestvo institutov: problemy opredeleniya i ocenki [The quality of institutions: Problems of definition and evaluation] // *Voprosy ekonomiki*. No. 7. Pp. 49–67. (In Russ.).
- Thompson M. (2018). How banks and other financial institutions think // *British Actuarial Journal*. Vol. 23. Article e5. Pp. 1–16.
- Von Jacobi N. (2018). Institutional Interconnections: Understanding symbiotic relationships // *Journal of Institutional Economics*. Vol. 14. Is. 5. Pp. 853–876.
- Young O. (1996). Institutional linkages in international society: Polar perspectives // *Global Governance*. Vol. 2. Is. 1. Pp. 1–23.

ОТ ТЕОРИИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

М.Э. Дмитриев

д.э.н., главный научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)

В.Б. Крапиль

научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА РАСПУТЬЕ: СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ¹

Аннотация. Статья опирается на анализ документов стратегического планирования, включая оценку уровня реализации различных типов стратегических документов верхнего уровня, а также на качественные исследования методом экспертных интервью, проведённые со специалистами, непосредственно вовлечёнными в процессы стратегического планирования. Проведённый анализ позволяет оценить ситуацию, сложившуюся в сфере стратегического планирования к началу 2022 г., уяснить причины неудач и достижений в реализации стратегических документов и оценить перспективы дальнейшей эволюции стратегического планирования в контексте эскалации конфликта на Украине в начале 2022 г.

Ключевые слова: стратегическое планирование, проектное управление, стратегии социально-экономического развития, национальные проекты, реформа государственного управления.

JEL: M10, M11, M13, M14, M15, M20.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_39_59.

Введение

После распада СССР существовавшая ранее система планирования в России была демонтирована. Новая система стратегического планирования формировалась эволюционным путем в рамках многочисленных экспериментов, проводившихся в течение последующих трех десятилетий. Эта эволюция далека от завершения — в системе происходят непрерывные изменения, в том числе идет поиск оптимальных форматов стратегических документов верхнего уровня.

Данная статья — продолжение исследований, которые мы вели на протяжении нескольких лет в рамках анализа процессов эволюции практик стратегического планирования в России [Дмитриев, Крапиль, 2020]. Трендом последних лет является опережающее развитие новых инструментов (прежде всего, проектных форматов), не опирающихся на положения федеральных законов, регулирующих эту область государственного управления. Характерная черта этого периода — многочисленные и не всегда согласованные

¹ Исследования проводились в рамках проектов РАНХиГС в 2020-2021 гг.

между собой эксперименты с разнообразными инструментами, которые в итоге породили довольно эклектичное и фрагментированное пространство принятия решений.

Для получения ответа на вопрос о преимуществах и недостатках того или иного формата стратегического документа полезно учитывать информацию об итогах реализации ранее применявшихся разных форматов стратегических документов верхнего уровня. При этом целесообразно получить эту информацию в сопоставимой форме, позволяющей сравнить различные стратегические документы с учётом принципиальных различий в подходах к их составлению, их структуре и содержательному наполнению. В рамках данного исследования в дополнение к уже проведённым при нашем участии оценкам уровней реализации Стратегии-2010 (Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года) и Стратегии-2020 (Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года) мы провели оценку реализации двух других типов стратегических документов верхнего уровня, которые ранее не включались в подобные исследования. Речь идет о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. (далее — Концепция), и о предвыборной программе политической партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу 2016 г. (далее — Программа ЕР).

Поскольку динамика изменений в сфере стратегического планирования за последние два года резко ускорилась, а сами изменения приобрели черты ситуативной импровизации, мы сочли полезным изучить в качестве самостоятельного кейса ту переходную и весьма неустойчивую ситуацию, которая возникла в сфере стратегического планирования в период с середины 2020 г., когда был принят Указ Президента №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и до момента завершения данной статьи в апреле 2022 г. Данный кейс мы видим как часть общего нарратива о ходе изменений в сфере стратегического планирования с момента начала перехода к рыночной экономике и до наших дней. Но в контексте обострения конфликта на Украине ситуация, сложившаяся в системе стратегического планирования к началу 2022 г., в силу её очевидно переходного и по сути экспериментального характера, может рассматриваться в плане не только ретроспективного анализа, но и оценки возможных направлений дальнейшей эволюции практик стратегического планирования в условиях резкого перелома долгосрочных трендов социально-экономического развития. Этот вопрос мы кратко затронем в конце данной статьи.

Эволюция стратегического планирования в период до 2018 г.

Первым документом, который можно считать стратегическим планом, характерным для современной России, стала Стратегия-2010, разработанная в 2000 г. Она была во многих отношениях инновационным документом как по содержанию, так и по самому подходу к разработке: её создание было делегировано негосударственной некоммерческой организации — Центру стратегических разработок (ЦСР). Результатом этого стал публично-дискуссионный характер подготовки документа.

Ход его официального принятия создал нежелательный прецедент для последующих аналогичных проектов. Официальный проект Стратегии-2010 был внесен в Правительство РФ и предварительно им одобрен «в целом», однако до окончательного принятия дело так и не дошло. Аналогичным образом не была утверждена и Стратегия-2020, получившая название «Новая модель роста — новая социальная политика», хотя она какое-то время и оставалась ориентиром для деятельности Правительства. Следующий аналогичный документ — Стратегия-2024 (Стратегия социально-экономического развития Российской

Федерации на период 2018–2024 годов), разработанная в ЦСР по поручению Президента, вообще не была рассмотрена официально.

В отсутствие единой утверждённой методики оценки реализации стратегических документов для осуществления такой оценки применяется метод экспертного опроса, в ходе которого специалисты в различных направлениях социально-экономического развития дают балльную оценку степени выполнения отдельных мер и достижения целей и задач, предусмотренных в стратегическом документе. На основании усреднения выставленных оценок по всем мерам, содержащимся в документе, образуется интегральный показатель экспертной оценки общего уровня реализации стратегического документа.

Первый раз такая методика была применена в 2010 г., когда ЦСР во взаимодействии с Академией народного хозяйства при Правительстве РФ и Институтом экономики переходного периода (ныне Институт экономической политики им. Е.Т.Г айдара) провёл оценку результатов выполнения Стратегии-2010 [Дмитриев, Юртаев, 2010]. Общий уровень реализации мер Стратегии-2010 составил 36%. Отдельно была проведена оценка степени достижения провозглашённых целей, которая в целом совпала с оценкой уровня реализации по выполнению мер. В целом различия между уровнем реализации трех ключевых разделов этого документа были невелики. Разделы «Модернизации экономики» и «Реформы власти» были реализованы на уровне 39%, а «Реформа социальной сферы» — на уровне 31%. Гораздо менее равномерным был уровень реализации мер по отдельным направлениям внутри разделов — оценка колебалась от 73–75 до 10%. Из 365 мер полностью или почти полностью выполненными оказались только 39 (менее 11%), практически невыполненных — примерно втрое больше (110).

В 2011 г. при активном участии экспертного сообщества была подготовлена Стратегия-2020. На официальном уровне документ закреплён не был, но часть его положений нашла отражение в правовых актах разного уровня. В 2016 г. был подготовлен аналитический доклад [Анализ факторов..., 2016], включавший оценку уровня реализации мероприятий Стратегии-2020, осуществленную по той же методике, что и Стратегия-2010. В целом средний уровень выполнения мер Стратегии-2020 был оценен довольно низко — в 29,5%. Более чем наполовину (59,7%) эксперты оценили выполнение только одного раздела — «Новая школа». Для 6 глав их интегрированная оценка оказалась ниже 25%. Минимальный показатель оказался у раздела «Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюджетная политика» — 10,1%.

С 2014 г. нормативным актом, определяющим основы стратегического планирования в России, является Федеральный закон 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятый после более чем пяти лет подготовки и согласования. Он содержит конкретный перечень документов стратегического планирования, обозначает их типы, взаимосвязи, последовательность разработки, определяет соотношение стратегических планов на федеральном, региональном и местном уровне.

К.Пилипенко расценивает принятие закона как признание наличия проблем в области долгосрочного целеполагания и отмечает первостепенное значение формирования системы государственного стратегического планирования, особенно в силу наличия противоречий рыночных регуляторов экономики [Пилипенко, 2017]. Предполагалось, что этот закон обеспечит полноценную правовую основу стратегическому планированию, устанавливая временной горизонт планирования — от 6 до 12 лет — и предъявляя единые требования к системе стратегического планирования социально-экономического развития на всех уровнях [Маклакова, 2015]. В то же время, как отмечает Д. Ермилина, в законе не было чётко определено его место в общей системе законодательства, не были обозначены ответственные органы, а задержки в принятии подзаконных актов затруднили его применение в полной мере [Ермилина, 2016]. В сочетании с принципом каскадирования документов сверху вниз и с громоздким, забюрократизированным и негибким механизмом

согласования любых изменений это неизбежно приводило к быстрой потере актуальности документов, наступающей нередко еще до их формального утверждения. Кроме того, как указывают А. Кулаев и А. Казак, уже к моменту принятия закона началось широкое внедрение проектного подхода, тогда как закон выдвигал на первый план программный принцип управления [Кулаев, Казак, 2016]. Отметим также, что Закон 172-ФЗ уделяет недостаточно внимания практической реализации и актуализации документов.

Во исполнение Закона 172-ФЗ были приняты два стратегических документа. Это Стратегия национальной безопасности, утверждённая Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», и Стратегия пространственного развития, одобренная распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 №207-р.

Принятие новой редакции Стратегии национальной безопасности укладывается в требования Закона 172-ФЗ о пересмотре этого документа каждые шесть лет (предыдущий вариант Стратегии датируется 2009 г.). По мнению В.Ильина, в Стратегии был сделан акцент на приоритетах экономической безопасности и качества жизни населения, поскольку угроза, связанная с отставанием России от развитых стран в плане экономического развития, является не менее опасной, чем вооружённые конфликты [Ильин, 2016]. Д. Ирошников и С. Гайдук отмечают, что в самом тексте Стратегии ей была отведена особая роль как базовому документу стратегического планирования, то есть имеющему особую юридическую силу по отношению к иным документам стратегического планирования. В документе указано, что её положения обязательны для выполнения всеми органами государственной власти и местного самоуправления, хотя более корректным было бы использовать категорию «реализация» [Ирошников, Гайдук, 2016].

Стратегия пространственного развития была принята только спустя пять лет после выхода Закона 172-ФЗ и подвергалась серьёзной критике как на стадии проекта, так и после принятия. В. Лексин говорил, что в документе не учитываются реалии настоящего времени и ограниченность средств и что отсутствуют механизмы реализации — заявляется, что полезно сделать, но не указывается как [Лексин, 2018]. А. Скопин отмечал, что в Стратегии игнорируются принципы разделения полномочий, сбалансированности, результативности и эффективности, ресурсной обеспеченности, ответственности, прозрачности, реалистичности, измеряемости целей, соответствия показателей целям, а также программно-целевой принцип. Он указывал, что в документе используются крайне нечёткие формулировки и качественные характеристики, создающие «простор для любой фантазии читателя», что разделение муниципалитетов на перспективные и неперспективные не только ограничивает доступ последних к ресурсам, но и является коррупционно опасным подходом [Скопин, 2019]. Как отмечали эксперты, с которыми мы проводили интервью о состоянии стратегического планирования, данная Стратегия была составлена так, что её можно «выполнять, не выполняя» и что наиболее эффективно она применяется в тех случаях, когда ссылкой на неё можно заблокировать то или иное решение.

Субъектам Федерации Закон 172-ФЗ предписывает создавать собственные стратегии социально-экономического развития. Эти стратегии, как и стратегии федерального уровня, формируются по фронтальному принципу, то есть охватывают не наиболее приоритетные проблемы, а практически всю повестку социально-экономической политики. Почти в каждом регионе такой документ разработан и принят. Эксперты в сфере региональной политики, с которыми мы проводили интервью, отмечали, что для субфедерального уровня не слишком удачен сам формат стратегического документа. Как правило, это достаточно длинный текст (до 100 и более страниц), в котором подробно описывается текущая ситуация, дается, возможно, неплохой анализ, но в то же время отсутствуют конкретные рамки, устанавливающие, как будут реализовываться те или иные задачи. Эти документы обычно напрямую не подкреплены ресурсами, в первую очередь финансовыми,

а используемые формулировки зачастую обтекаемы и неконкретны. Преобладающая в таких документах логика фронтальных стратегий предполагает движение во всех направлениях. Выстраивание приоритетов мероприятий, хотя и декларируется, но никак не отражается в планах мероприятий, что до недавнего времени было основным инструментом реализации стратегий. Обязательность создания стратегий социально-экономического развития на региональном и муниципальном уровне привела к появлению тысяч подобных документов. По словам одного из экспертов в области региональной политики, с которым мы проводили интервью, практически во всех случаях эти документы в целом носят декларативный характер и на практике используются не для достижения долгосрочных целей развития, а для решения текущих задач местной политики:

Они используют стратегию для самых разных целей: для того, чтобы прикрыть соответствующую позицию в законе о стратегическом планировании; часть губернаторов использует её для того, чтобы активизировать местные элиты, вовлечь в диалог, привлечь к участию. Большинство губернаторов не использует стратегию для того, чтобы выработать реальный план действий.

Это связано в первую очередь с очень коротким горизонтом планирования (три-пять лет) у большинства руководителей регионов. Характерно, что в Москве, где очень успешно реализуется долгосрочная политика развития в проектных форматах, вообще не разрабатывался документ под названием «Стратегия развития города».

Что касается Концепции, принятой Правительством России в 2008 г., то по проведённой нами оценке (использовалась методика, впервые применённая для Стратегии-2010), средняя степень её выполнения составила 40,2%. При этом доля выполнения задач составила только 33,9%. Из всех мер и задач Концепции 33,1% выполнены незначительно. В целом из 22 разделов Концепции в семи разделах меры в среднем реализованы наполовину, причём лучше всего — меры по развитию пенсионной системы (70%), развитию физической культуры и спорта (66%), региональному развитию и молодёжной политике (63%). 14 разделов выполнены незначительно, а один (внешнеэкономическая политика) может рассматриваться как практически не выполненный (19,5%).

Однако если рассматривать выполнение задач, то получается совсем иная картина: более чем наполовину решены задачи в пяти разделах, при этом ни один из них не входит в число направлений с 50%-м уровнем реализации мер. Здесь наибольшие успехи достигнуты в демографической политике (66,7%), природопользовании (62,5%) и энергетическом секторе (60,6%). По 10 направлениям социально-экономической политики выполнение задач Концепции оказалось на уровне 25-50%. Сюда с очень низким результатом (26,5%) попал раздел «Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития», устанавливающий приоритеты и ориентиры для комплексного решения всех задач. При этом восемь целевых ориентиров оказались полностью не выполненными. У пяти разделов уровень выполнения задач не достиг и 25%, причём в эту группу попали оба раздела, посвящённые финансовой политике, имеющие достаточно высокий уровень реализации мер.

Более низкий средний результат в плане задач по отношению к результату реализации мер для некоторых разделов свидетельствует о том, что во многих случаях меры либо были сформулированы без увязки с поставленными задачами, либо исполнялись формально. Это привело к высокой оценке реализации мер при одновременном низком уровне решения задач.

Ещё один документ, на который также следует обратить внимание, — это Программа ЕР. Фронтальный характер этой Программы и место, занимаемое «Единой Россией» в политической системе страны, позволяют относиться к ней как одному из возможных форматов стратегических документов. Средняя доля выполнения Программы ЕР составляет 39,3%, и многие меры (задачи в этом документе отсутствуют) реализованы в незначительной степени — 33,7%.

Особенностью степени реализации Программы ЕР является очень низкий разброс по степени выполнения отдельных разделов: абсолютно все они укладываются в интервал от 25 до 50%. Лучшее всего оказались выполнены меры, связанные с социальной политикой и совершенствованием государства, — около 49%, хуже всего обстоит дело с жилищной политикой и транспортом — чуть больше четверти. Следует отметить очень невысокий уровень реализации мер, направленных на совершенствование экономики, — всего 31%. А всего по этому разделу более 75% мер оказались невыполненными или выполненными незначительно.

Детальное сравнение по конкретным направлениям результативности Концепции и Программы ЕР с аналогичными показателями, полученными в ходе анализа Стратегии-2010 и Стратегии-2020 затруднено, поскольку методика сравнения опирается на сопоставление отдельных разделов, которые по содержанию сложно поставить в соответствие друг с другом. Однако главные интегральные выводы из оценки степени реализации стратегических документов верхнего уровня сделать можно. Общий уровень реализации Концепции составляет около 40%, Программы ЕР — 39%. Если учитывать, что Стратегия-2010 была выполнена по аналогичным оценкам экспертов на 39%, а Стратегия-2020 — на 29%, можно отметить в целом примерно одинаково невысокий уровень реализации всех документов. Первоначально планировалось сравнить эти документы со «Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», которая разрабатывалась ЦСР по поручению Президента России и была представлена ему в апреле 2018 г. Однако отсутствие публичного текста этой Стратегии позволило нам сделать лишь общие прикидки. Согласно нашим оценкам, уровень реализации Стратегии-2024 находится ближе к нижней границе диапазона значений других рассмотренных стратегических документов верхнего уровня. Это не удивительно в том числе и потому, что до завершения заявленного периода реализации данной стратегии на момент оценки оставалось еще три года, тогда как остальные документы оценивались уже после истечения срока их реализации.

Полученные результаты показывают, что в целом реализация рассматриваемых фронтальных документов стратегического планирования верхнего уровня находится на не слишком высоком уровне, вне зависимости от их формата. Скорее можно говорить, что в тех случаях, когда происходило совпадение между мерами, намеченными в том или ином верхнеуровневом документе долгосрочного планирования, и текущими задачами, которые реализовывались, исходя из краткосрочных приоритетов, степень реализации стратегических установок могла быть достаточно высокой. В противном случае результат выполнения мог оказаться весьма низким.

Одной из причин невысокого уровня выполнения всех рассмотренных стратегий верхнего уровня является то, что они были составлены в традиционной логике фронтальных стратегий, которые ориентированы на максимально широкий, не сфокусированный на приоритетах охват экономической повестки. В планах мер по реализации стратегических документов приоритетные меры и меры относительно второстепенные имеют одинаковый по важности формальный статус, причём количество второстепенных мер как правило достаточно велико. При этом решение межотраслевых задач оказывается затруднено в условиях традиционно сложного межведомственного сотрудничества.

Кроме того, общая культура нынешней государственной службы ориентирована в первую очередь не на решение долгосрочных стратегических задач по достижению общественно значимых результатов, а на исполнение текущих поручений, особенно поступивших с верхнего уровня управления и оказывающихся на «вершине приоритетности». Государственные служащие знают, что за неисполнением конкретного поручения последуют неизбежные санкции, а недостижение долгосрочных результатов стратегического документа, как правило, не несет для них негативных последствий. Текущие поручения, как было показано ранее [Дмитриев, Фондукова, Янков, 2016], имеют тенденцию вступать

в коллизии с мерами документов стратегического планирования. В силу повышенной приоритетности первых, накопление таких противоречий со временем достигает критических уровней, делая многие положения стратегий неактуальными, а сами стратегии трудновыполнимыми. Практика регулярной актуализации стратегических документов до недавнего времени носила избирательный характер. Необходимые корректировки по итогам текущих поручений как правило вносились в бюджетные документы, в то время как актуализация большинства документов стратегического планирования проводилась достаточно редко.

На федеральном уровне высокой приоритетностью по отношению к другим документам обладает ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию. Оно затрагивает как текущие вопросы, так и долгосрочную повестку, а поручения с целью его реализации существенно влияют на реализацию документов стратегического планирования. Таким образом, необходимость корректировки документа, принятого с перспективой на 15–20 лет, возникает, как минимум, каждый год. При этом скорость реакции на президентские инициативы является недостаточной, что можно увидеть на примере бюджета 2020 г.: он был принят в декабре 2019 г., а через полтора месяца в него начали вносить изменения, связанные с предложениями, сделанными 15 января в Послании Президента. Два месяца ушли на подготовку, и поправки в бюджет были приняты во второй половине марта. В этот момент уже вводились ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19, уже были хотя бы частично понятны связанные с этим риски, но в поправках в бюджет они учтены не были. В отличие от бюджета, актуализация долгосрочных планов вообще не является приоритетной задачей, что позволяет переориентироваться на решение новых проблем без внесения изменений в стратегические документы и ведет к постепенной потере актуальности последних.

На уровень реализации стратегических документов может влиять и консерватизм бюджетной политики, отражающий высокий политический вес финансового блока в Правительстве. Институты, отвечающие за поддержание макроэкономической и бюджетной стабильности, в настоящее время гораздо сильнее, чем институты стратегического планирования. В результате при выборе между финансовой стабильностью и долгосрочным экономическим развитием позиция Министерства финансов (далее — Минфин) чаще всего оказывается решающей. В итоге финансовая стабильность, будучи, безусловно, важной задачей, настолько доминирует над всеми остальными, что становится препятствием для достижения целей развития. Это сопровождается нулевой толерантностью к риску, стремлением рассматривать любой проект сквозь призму возможности неуспеха и контролировать все расходы до последнего рубля. Такая позиция затрудняет запуск инновационных проектов и поддержку венчурных инвестиций, заведомо несущих высокие риски неуспеха. В условиях эскалации конфликта на Украине бюджетный консерватизм и жесткая кредитно-денежная политика обеспечили высокую резистентность российской экономики к санкциям западных стран. Но экономической ценой доминирования бюджетно-финансового блока в Правительстве стала запаздывающая реализация многих направлений развития, заложенных в стратегиях верхнего уровня.

Высоких уровней реализации на сегодня удалось добиться не в формате фронтальных стратегий, а в рамках отдельных национальных проектов, которые имеют принципиально иной механизм реализации и сфокусированы на более узких приоритетах. Недостаточная результативность фронтальных стратегий привела к тому, что *de facto* они стали в практическом плане замещаться проектными форматами.

Национальные проекты первоначально возникли как параллельная экспериментальная **ветвь стратегического планирования**, первые видимые результаты которой должны были быть достигнуты еще до президентских выборов 2008 г. Порядок разработки этих документов тоже был нестандартным и экспериментальным. В октябре 2005 г. президентским указом был создан Совет при Президенте России по реализации приоритетных

национальных проектов, который рассматривал и одобрял эти проекты. Ассигнования на их реализацию оперативно закладывались в федеральный бюджет на 2006 г. В дальнейшем этот формат развивался как своего рода экспериментальный, одноразовый и вплоть до 2018 г. не рассматривался как альтернатива фронтальным стратегиям. По этой причине данный формат так и не получил отражения в Законе 172-ФЗ, хотя к моменту принятия последнего было запущено уже второе поколение национальных проектов, реализованное в виде «майских указов» 2012 г.

Майские указы включали 218 поручений для федеральных и региональных органов исполнительной власти и представляли собой весьма практичный способ фиксации в компактной форме ключевых приоритетов развития. Впервые стратегические документы такого уровня были сформулированы не в отраслевой, а в проблемной парадигме и нацелены на достижение конкретных, количественно измеряемых результатов. Реализация указов подкреплялась жёстким, хотя и излишне формализованным, механизмом контроля, который непосредственно замыкался на верхний эшелон управления. Этот механизм позволял поддерживать приоритетность достижения заявленных показателей для исполнителей всех уровней.

Несмотря на проблемы, связанные с поспешностью отбора некоторых приоритетов и недостаточной обоснованностью многих целевых показателей, степень выполнения майских указов была существенно выше, чем у Стратегий-2010 и 2020. Так, целевые показатели в здравоохранении были выполнены на 57% и это, возможно, худший результат среди майских указов, в то время как в Стратегии-2020 примерно на этом уровне находился лучший результат выполнения среди её разделов. Указы в части экономической и социальной политики, обороны и внешней политики были выполнены на 75% и более, а в сфере государственного управления, где курс был взят на оптимизацию государственных услуг, включая расширение применения принципа «одного окна» и электронных госуслуг, уровень выполнения достиг 91%.

Эволюция практик стратегического планирования в 2018–2021 гг.

Центр тяжести стратегического планирования с годами был перенесен на доказавшие свою результативность национальные проекты, которые вообще не упоминаются в Законе 172-ФЗ. От принятия федеральной Стратегии социально-экономического развития было решено отказаться, несмотря на то что её проект был разработан в ЦСР по поручению Президента. С этого момента реальные практики стратегического планирования стали еще быстрее отклоняться от положений Закона 172-ФЗ.

Утверждение национальных проектов 2018 г. было осуществлено Указом Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты, предусмотренные Указом, были разработаны. Началась их реализация, хотя и с некоторыми трудностями. Заместитель Председателя Счетной палаты Г.Изотова в своём выступлении отметила главные проблемы, ставящие под угрозу исполнение национальных проектов. Это громоздкая система управления с дублированием функций, низкий уровень взаимодействия федеральных и региональных органов, отсутствие полной и достоверной информации о рисках в паспортах проектов, отсутствие комплексной системы мониторинга и недостаточные темпы освоения выделенных средств². Однако в целом работа продвигалась достаточно успешно. Видимых оснований для её кардинального пересмотра не было.

² <https://ach.gov.ru/audit-national/galina-izotova-bolshinstvo-problem-natsionalnykh-proektov-poka-ne-resheny> (дата обращения — 15 апреля 2022 г.).

Тем не менее всего через два года был издан новый акт — Указ Президента от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Указ №474 изменил не только сроки реализации отдельных задач, но и саму парадигму целеполагания. Подготовка указа проходила в сжатые сроки и без широкого экспертного обсуждения, а произведенные изменения не были подкреплены углублённым анализом новых тенденций, рисков и возможностей долгосрочного развития. Подробнее этот вопрос рассматривается в статье [Дмитриев, Крапиль, 2021].

Содержательные основания для этих изменений не были чётко артикулированы. Можно было бы предположить, что в экономическом плане на решение о смене парадигмы целеполагания повлиял внезапный экономический шок, вызванный пандемией COVID-19. Однако к моменту принятия этого решения долгосрочные последствия пандемии еще не были до конца понятны. А как показали последующие события, быстрое восстановление экономики в течение второй половины 2020 г. и в 2021 г. практически вернуло её на докризисную траекторию роста.

Частые и неожиданные изменения в подходах к стратегическому планированию, с одной стороны, расширяли диапазон доступных инструментов стратегического планирования, но с другой — вели к накоплению правовых и административных коллизий. В этой быстро меняющейся и противоречивой среде законодательство о стратегическом планировании стало практически неисполнимым, в то время как неизбежные противоречия между действующими документами различных форматов приходилось либо игнорировать, либо оперативно урегулировать в рамках практики текущих поручений. Это усилило эрозию институтов стратегического планирования, и она стала всё заметнее терять устойчивость.

В целях реализации Указа №474 Правительство приступило к работе над подготовкой новой Стратегии социально-экономического развития до 2030 года (Стратегии-2030). Предполагалось, что этот документ определит пути решения задач, поставленных в Указе №474. То, что указ о национальных целях предшествовал началу подготовки Стратегии, представляется не вполне логичным с институциональной точки зрения, поскольку в логике Закона 172-ФЗ цели развития формулируются именно в рамках работы над стратегией, а не задаются экзогенно до начала этой работы. Это создавало риски того, что новая стратегия просто продублирует уже утвержденные в указе приоритеты и цели либо, в случае их существенной корректировки, создаст коллизию с положениями указа. На это указывал ряд экспертов. В частности, они обращали внимание на то, что новая стратегия мало чем отличается от уже существующих и потому имеет небольшие шансы быть реализованной в первую очередь из-за нарушения принципа системности, отсутствия взаимоувязанных целевых индикаторов. Другой причиной назывался уже упоминавшийся «порученческий» характер деятельности органов власти, приводящий к постоянной корректировке долгосрочных приоритетов в угоду сиюминутным задачам³.

Тем не менее определенный оптимизм вызывал «неформальный», по сути экспериментальный и практически ориентированный подход Правительства к решению задач национального развития. Это проявилось в названиях и тематике рабочих групп, созданных председателем Правительства М.Мишустиним, которые не совпадали с провозглашёнными национальными целями и действовали по направлениям «новая высокотехнологичная экономика», «агрессивное развитие инфраструктуры», «новый общественный договор», «клиентоцентричное государство» и «национальная инновационная система».

Деятельность рабочих групп была организована способом, который наши респонденты в экспертных интервью называли оптимальным. В разработке Стратегии-2030 непосредственно участвовали федеральные министры, руководимые вице-премьерами,

³ <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/13/869660-ekonomisti-raskritikovali> (дата обращения — 15 апреля 2022 г.).

при этом представители экспертного сообщества также были глубоко погружены в эту деятельность. Работа над документом шла непросто, и в первоначальный срок, когда Минэкономразвития должно было представить проект в Правительство (14 мая), внесение Стратегии-2030 не состоялось. Одной из возможных причин задержки можно считать необходимость кардинального пересмотра долгосрочной климатической политики.

Впервые эта тема прозвучала в Послании Президента РФ Федеральному собранию в апреле 2021 г., когда в числе направлений, критически важных для развития страны, было названо решение климатических проблем: «...мы должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг»⁴. До этого момента климатическая повестка практически не присутствовала в стратегических документах и не была учтена в национальных проектах.

Иерархия стратегических документов федерального уровня, заданная Законом 172-ФЗ, в качестве первого, наиболее приоритетного из них, называет ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. То есть законодательно установлена, с одной стороны, корректировка документов долгосрочного планирования раз в шесть лет (имея в виду большой горизонт планирования, составляющий 10-15 лет), с другой — необходимость ежегодной корректировки в зависимости от задач, выдвигаемых президентом в Послании. Поэтому в связи с поставленной Президентом задачей Правительство приняло решение о создании рабочих групп по планированию и реализации мер по адаптации экономики Российской Федерации к глобальному энергопереходу. Обсуждение происходило преимущественно в закрытом режиме, однако задачи, которые были поставлены перед рабочими группами (определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, оценить варианты действий по основным «развилкам», разработать оптимальный сценарий адаптации России к энергопереходу), фактически указывают на вероятное изменение содержания стратегических документов и появление в них новой повестки.

Поскольку многие эксперты говорили о нескоординированности существующих стратегий и о «провисании» вопросов, находящихся на стыке национальных проектов, из-за сложностей межведомственного согласования, было бы логично уделить в новой Стратегии особое внимание теме координации различных направлений. Но Правительство приняло решение не готовить Стратегию-2030 как отдельный документ, а принять вместо него ряд «инициатив социально-экономического развития, направленных на достижение национальных целей развития». Предполагается, что эти стратегические инициативы будут иметь статус федеральных проектов. По мнению одного из наших респондентов, такой шаг делает более простой реализацию каждого отдельного направления:

Это просто увеличивает вероятность их реализации и сокращает время на формальные процедуры. С точки зрения реальной жизни это правильный ход. В то же время, отказ от разработки Стратегии затрудняет взаимную координацию целей и действий между отдельными проектными направлениями, способствуя фрагментации системы стратегического планирования.

Отдельно хочется остановиться на предварительных результатах деятельности рабочей группы «Агрессивное развитие инфраструктуры» под руководством вице-преьера М. Хуснуллина. Она уделила основное внимание именно взаимной увязке и согласованию проектов по направлениям. Выбрав в качестве основного подхода инфраструктуру для человека, то есть совокупность объектов, которые его окружают, и определив основные вызовы (низкий уровень конкурентоспособности российских городов, потребность в улучшении жилищных условий для большинства российских семей, неотлаженность

⁴ <http://www.kremlin.ru/events/president/news/65418> (дата обращения — 15 апреля 2022 г.).

межгородских транспортных связей и автомобильные «пробки» в городах, сложности в запуске и реализации инвестиционно-строительных проектов, отставание от мировых экологических и климатических стандартов), авторы предложили 15 инициатив для новой фронтальной стратегии, сгруппированные по пяти направлениям. Повестка координации охватывает широкий круг сфер деятельности: от магистральной транспортной и городской транспортной инфраструктуры до жилья и коммунального хозяйства, от рынков труда и миграции до строительства, туризма и экологии.

Предложения данной рабочей группы отличаются системным подходом и нацеленностью на конкретные, чётко сформулированные результаты. О степени их проработанности можно судить по тому факту, что каждая инициатива подкреплена анализом вызовов, инструментами реализации и ожидаемыми результатами на трёх горизонтах планирования — к 2021, 2024 и 2030 г. В качестве инструментов фигурируют конкретные задачи институционального развития, включающие регуляторику, нормативно-правовое и информационное обеспечение, землепользование и градостроительную политику, новые управленческие практики и, что особенно важно, вопросы адаптации механизмов бюджетного и коммерческого финансирования проектов развития в соответствующих секторах, с целью учёта специфики последних. Отдельное внимание уделено координации полученных результатов с другими рабочими группами.

Одна из ключевых особенностей предложений рабочей группы — их погружение в контекст повестки пространственного развития, которое, с одной стороны, является одним из направлений, определяющим приоритеты развития, — агломерации, опорные пункты, геостратегические районы. С другой стороны, все основные направления выстраиваются с учётом этих приоритетов. Фактически этот подход позволял перевести в гораздо более операциональный и практически ориентированный формат ключевые положения Стратегии пространственного развития, которая, как отмечалось выше, первоначально была лишена дееспособных инструментов реализации и как бы «провисала между стульев» среди других документов стратегического планирования.

Предложенная повестка пространственного развития содержит два ключевых приоритета. Это опережающее развитие городских агломераций второго эшелона, где сосредоточен наибольший нереализованный потенциал ускорения экономического роста, и повышение его инклюзивности путем вовлечения в него малых и средних городов за пределами традиционного ареала влияния агломераций.

Уже сейчас вклад агломераций второго эшелона в экономический рост заметно превышает их долю в ВВП, что говорит о возможностях их опережающего развития, несмотря на существующие препятствия. В отличие от них, вклад московской и петербургской агломераций в экономический рост оказывается меньше, чем их доля в ВВП. Но в течение последних 40 лет заметный рост населения наблюдался только в московской и петербургской агломерации, в то время как практически во всех агломерациях второго эшелона численность населения стагнирует или сокращается. Сохранение таких трендов не позволит в полной мере реализовать потенциал ускорения темпов роста несырьевой экономики. Что касается вовлечения в ареал малых и средних городов, то в свете новых трендов, усилившихся в результате пандемии COVID-19 (распространение новых форматов деятельности, таких как удаленная и гибридная занятость, расширение возможностей дистанционного оказания услуг), многие работники и компании теперь могут оставаться вовлеченными в рынок труда крупнейших агломераций, находясь достаточно далеко от их центров. При этом граждане могут выбирать для проживания более удаленные города с низкой стоимостью жизни, более просторным и дешевым жильем и более комфортной средой обитания, оставаясь вовлеченными в высокопроизводительные производственные цепочки, берущие начало в крупных агломерациях, и получая высокую зарплату. Бизнес имеет возможность увеличить дистанцию от своих центров, сохраняя при этом эффективный доступ к ёмким

и высокопроизводительным рынкам агломераций и пользуясь в то же время преимуществами низкой стоимости факторов производства в малых и средних городах за пределами традиционного ареала агломераций.

Можно предположить, что М.Хуснуллин, который до назначения на нынешнюю должность работал вице-мэром Москвы, пытался в своей сфере ответственности перенести на федеральный уровень принципы работы московского правительства — стратегическое видение, системность и формирование хорошо организованных долгосрочных планов, но без оформления их в виде официальной стратегии верхнего уровня.

Однако предложения рабочей группы не были поддержаны Правительством, прежде всего, из-за позиции Минфина. Занимая жёсткую позицию по вопросам выделения средств как из бюджета, так и из Фонда национального благосостояния, Минфин урезал первоначальные объёмы финансирования в 16 раз. По мнению наших респондентов из экспертного сообщества, возобладал примат сбалансированности бюджета и низкая толерантность к инвестиционным рискам, которые в конечном итоге встали на пути ускорения экономического развития.

Сначала была установка — не считайте деньги, считайте результаты, а потом мы вас поправим. И действительно потом нас поправили так, что дезавуировали всю работу. По сравнению с первоначальным результатом, со стратегическим горизонтом все это вылилось в какие-то проекты по пиару отдельных направлений социально-экономической политики.

Впрочем, эксперты отмечали, что происходящие последнее время интенсивные кадровые изменения в Минфине на уровне заместителей министра и начальников департаментов косвенно указывают на возможность изменения отношения этого министерства к вопросам развития. В каких-то вопросах Минфин уже менее консервативен, чем Минэкономразвития.

Если раньше с Минфином говорить о том, что давайте <предусмотрим> дополнительные расходы, вообще было нельзя, то сейчас, мне кажется, уже можно.

Гораздо более жёстко, чем раньше, выстраивается интеграция стратегических проектов с программной частью государственного бюджета, что еще более усиливает результативность проектных методов управления.

Государственные программы превратились одновременно и в инструмент стратегического планирования, и в инструмент бюджетного планирования. Госпрограммы есть и в 172-ФЗ, и в Бюджетном Кодексе, где как отдельный обязательный элемент есть программная структура расходов бюджета. Сейчас, если посмотрите приложение 16 к проекту Федерального бюджета на 2022 год, там помимо основных мероприятий, <как было раньше>, фактически бюджетное финансирование можно определить в разрезе всех элементов <проектов>.

Тем временем 2 июля 2021 г. был подписан Указ Президента РФ № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»⁵. С учетом того, что с момента принятия предыдущей Стратегии национальной безопасности прошло почти 6 лет (срок, установленный в Законе 172-ФЗ), можно считать, что принятие нового варианта Стратегии было плановым решением, а не реакцией на изменившиеся условия. Детальный анализ данной Стратегии выходит за рамки настоящей статьи, однако следует отметить, что среди приоритетов национальной безопасности на первое место вышли внутренние компоненты, в первую очередь — сбережение народа России и развитие человеческого потенциала. В разделе, посвященном экономике (он теперь называется «Экономическая безопасность», тогда как в прошлой версии — «Экономический рост»), перечислены 35 задач, которые можно рассматривать как приоритеты социально-экономического развития, начиная с обеспечения национальной и структурной перестройки национальной экономики и сохранения макроэкономической устойчивости.

⁵ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения — 15 апреля 2022 г.).

Перспективы дальнейшей эволюции стратегического планирования в условиях кардинального перелома геополитических и экономических тенденций

В настоящий момент из стратегических документов именно Стратегия национальной безопасности в наибольшей степени актуализирована и может рассматриваться практически как основной стратегический документ. Не случайно в своем выступлении на онлайн-заседании Совета Безопасности 27 сентября 2021 г. Президент России В.В. Путин назвал основополагающими документами стратегического планирования Стратегию национальной безопасности и свой Указ №474 — именно они, по его словам, «лежат в основе нашего стратегического планирования»⁶. Вероятность эволюции системы стратегического планирования в этом направлении повышается в результате эскалации конфликта на Украине. Но такое развитие событий потенциально создаст еще одну коллизию с положениями Закона 172-ФЗ, повышая актуальность его комплексного пересмотра.

Однако вопросы реализации Стратегии национальной безопасности на сегодня изложены в самом общем виде: она осуществляется на плановой основе путем согласованных действий органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества под руководством Президента Российской Федерации; задачи решаются путем разработки, корректировки и исполнения документов стратегического планирования, программ и проектов и их ресурсного обеспечения; контроль осуществляется в рамках государственного мониторинга. Уточнено, что реализация Стратегии предусматривает совершенствование системы государственного управления и стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития.

Как говорилось в официальном сообщении об упомянутом выше заседании Совета Безопасности, он «принял дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования». Был рассмотрен и одобрен проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации».

Данный проект лег в основу Указа Президента РФ №633 от 8 ноября 2021 г. «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Несмотря на то, что Указ ссылается на Закон 172-ФЗ как правовую основу стратегического планирования и не предполагает внесения в него изменений, де-факто система в корне меняется. Новый вариант имеет мало общего с описанным в Законе, и, главное, исчезает упоминание о стратегиях социально-экономического развития, которые прежде составляли фундамент системы.

Стратегии заменены понятием «документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания на федеральном уровне». К числу таких документов отнесены: ежегодное послание Президента Федеральному Собранию, Стратегия национальной безопасности, Стратегия научно-технологического развития. Также в эту группу включены и не конкретизированные в тексте другие «документы стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации, определяющие национальные цели развития», утверждаемые Президентом и Правительством. К федеральным документам отраслевого и территориального целеполагания отнесены отраслевые документы стратегического планирования, Стратегия пространственного развития и стратегии социально-экономического развития макрорегионов.

В документе подчеркивается важность «обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам...», но не поясняется, как именно будет обеспечиваться согласованность при множественности документов, в которых формулируются цели и задачи. При этом большое значение прида-

⁶ <http://kremlin.ru/events/president/news/66777> (дата обращения — 15 апреля 2022 г.).

ется измеримости целей для их использования в рамках внедрения механизма индикативного планирования.

Практическая реализация целей и задач, сформулированных в вышеназванных документах, возлагается «в рамках планирования и программирования» на Основные направления деятельности Правительства, государственные программы и национальные проекты. Таким образом, по логике документа, национальные проекты утрачивают функцию автономного целеполагания, которой, по существу, наделялись первые поколения национальных проектов. По сути национальные проекты утрачивают статус документов верхнего уровня и рассматриваются лишь как инструмент реализации целей и задач, сформулированных в других стратегических документах. Данное предложение уже неоднократно высказывалось представителями экспертного сообщества.

В Указе делается попытка решения и ряда других проблем, на которые указывали наши эксперты в ходе интервью при ответе на вопрос о путях совершенствования системы стратегического планирования: оптимизация числа стратегических документов, повышение качества информационно-аналитического обеспечения, введение действенной системы мониторинга и регулярная актуализация. Предполагается, что показатели стратегических документов могут быть пересмотрены в случае появления новых целей, достижения (недостижения) показателей по результатам мониторинга и оценки необходимости и достаточности ресурсов. Также основанием для корректировки служат положения послания Президента Федеральному Собранию, что фактически вводит ежегодный цикл актуализации документов стратегического планирования. Однако в то же время в качестве основания для актуализации не указаны текущие поручения, что сохраняет возможность постановки в рамках текущих поручений задач вне логики стратегического документа и отчасти воспроизводит связанные с этим проблемы размывания стратегических целей.

Указом вводится единый цикл стратегического планирования, который определяется сроком полномочий Президента. Это предполагает, что запуск новой системы может быть приурочен к президентским выборам 2024 г. Поскольку Указ №633 содержит лишь достаточно общие принципы новой системы, их практическая реализация оставляет большие возможности для вариативности. Следует также учесть, что Указ №633 был подписан до того, как в начале 2022 г. геополитическая и экономическая ситуация кардинально изменилась в связи с обострением конфликта на Украине. Новая ситуация скорее всего потребует дополнительных изменений в стратегическом планировании. На данный момент контуры таких изменений еще только начинают обозначаться, но масштабы и скорость этого перелома столь значительны, что уже сейчас можно сформулировать некоторые предположения относительно возможных путей адаптации практик стратегического планирования к новым условиям.

В более инерционной социально-экономической обстановке рассогласованность и непоследовательность в реализации управленческих инноваций, усилившаяся в 2020-2021 гг., создала бы для стратегического планирования немало проблем, затрудняя постановку и достижение долгосрочных целей развития. Но в ситуации, кардинально меняющейся в результате обострения ситуации на Украине, эти недостатки, напротив, оборачиваются дополнительными возможностями для быстрой адаптации доступного инструментария стратегического планирования к изменениям долгосрочного контекста планирования и связанной с этим необходимости глубокой и быстрой реконфигурации торгово-экономических, финансовых и политических отношений с развитыми странами, с одной стороны, и странами со средним и низким уровнем дохода — с другой.

Содержание большинства долгосрочных стратегических планов практически одновременно утратило актуальность. Даже если бы Правительство успело к началу 2022 г. разработать и одобрить Стратегию-2030, как это первоначально предполагалось,

возможность её практической реализации с началом новой фазы конфликта на Украине была бы сразу утрачена. Потребовался бы не только комплексный пересмотр этой стратегии, но и коренное изменение подходов к использованию накопленного арсенала инструментов стратегического планирования в соответствии с принципиально новыми геополитическими и экономическими реалиями и изменившимися долгосрочными трендами.

Масштабные структурные задачи, возникающие в новых условиях, потребуют адаптации и перестройки самой системы стратегического планирования. При этом отсутствие единообразия, значительный люфт между жёсткими требованиями законодательства и реальными практиками стратегического планирования, а также наличие разнообразных экспериментальных заделов способны облегчить и ускорить такую перекомпоновку.

В данной ситуации возможность для дальнейших экспериментов и гибкой адаптации гораздо важнее, чем наличие хорошо структурированной и отлаженной системы стратегического планирования. Последнее в этой ситуации едва ли облегчило бы решение многочисленных новых задач, а наоборот, затруднило бы их, усилив эффект колеи. При этом достаточно гибкий и обобщенный характер формулировок в Указе №633 оставляет широкие возможности для адаптации формирующейся новой системы к изменившимся условиям развития.

Ключевым фактором происходящих изменений являются не внутренние условия развития, а внешний геополитический контур, который претерпевает быструю и радикальную трансформацию. События на Украине ознаменовали конец периода ускоренной глобализации. Центр экономической силы в мире впервые за полвека вновь сместился от развитых стран в пользу стран со средним уровнем дохода. Торговые и финансовые потоки между этими странами будут расти быстрее, чем между ними и группой ведущих развитых стран.

Для России в результате последних событий на Украине и массивных санкций со стороны развитых стран, этот переход происходит в форсированном режиме. Рост геополитической напряжённости ведет к тому, что, как и в начале холодной войны, вопросы безопасности во всех её аспектах — политических, военных, экономических и социальных, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, будут превалировать над вопросами развития. В экономической сфере на первый план выходит задача максимально быстрой структурной адаптации, обусловленной масштабным внешнеэкономическим шоком. Его масштабы сопоставимы с начальным этапом перехода России к рыночной экономике в 1990–1992 гг., который в международном контексте совпал с концом холодной войны и началом периода ускоренной глобализации.

Нечто подобное через несколько лет ожидало бы российскую экономику вследствие глобального энергоперехода, ведущего к снижению мирового спроса на ископаемое топливо. Возможные вызовы для государственной политики с целью структурной адаптации российской экономики к условиям глобального энергоперехода были рассмотрены в недавней статье [Дмитриев, 2022]. В частности, в ней отмечалось большое значение создания благоприятных регуляторных условий для развития инновационных несырьевых видов деятельности с повышенным экспортным потенциалом, ускоренное развитие которых позволило бы компенсировать снижение экспортной выручки от ископаемого топлива. Но глобальный энергопереход будет происходить гораздо более плавно, чем эскалация западных санкций весной 2022 г.

Поддержка структурных сдвигов, необходимых для адаптации к экономическим санкциям, требует неотложных мер для снижения уязвимости в связи с нарушением критически важных производственных цепочек и перебоев в международных финансовых расчетах. Такие действия предполагают выборочную активацию мобилизационных механизмов экономического регулирования, характерных для условий военного времени. В этом смысле становятся более актуальными упоминаемые в Указе №633 механизмы

индикативного планирования и контроля над использованием критически важных ресурсов. При этом, как и в условиях глобального энергоперехода, вследствие неизбежной в среднесрочной перспективе девальвации рубля возрастает потенциал не только мобилизационного, но и рыночного, экономически обоснованного импортозамещения.

Одновременно возникают стратегические задачи переориентации экспортных потоков углеводородов и других первичных ресурсов на Китай и страны Азии, а также реализации открывающихся благодаря девальвации рубля возможностей по наращиванию несырьевого экспорта в страны с низким и средним уровнем дохода. Решение этих задач, в частности, потребует форсированного развития экспортной инфраструктуры, необходимой для переориентации энергосырьевого экспорта с европейского на азиатское направление, а также развития новых инструментов международных расчетов и активного привлечения инвестиций из Китая и других стран Азии. Важную роль в решении этих задач должны сыграть программные и проектные механизмы.

Реализация докризисной повестки развития в полном объеме становится невозможна. Потребуется селективный отбор перспективных направлений. В прежних объёмах может быть продолжено, например, жилищное строительство и развитие транспортной инфраструктуры, обладающие высоким мультипликативным эффектом на внутреннем рынке и относительно слабой зависимостью от международных производственных цепочек. Однако развитие здравоохранения, где в последние годы акцент делался на высокотехнологичной медицине, зависимой от импорта из развитых стран, придётся в большей степени переориентировать на поддержание доступности базовой медицинской помощи. Последняя оказывается под угрозой в условиях снижающейся доступности импортных лекарств, субстанций, медицинского оборудования, комплектующих и расходных материалов. Реализация климатической повестки также может быть на некоторое время приостановлена. Её первоначальным драйвером была необходимость адаптации к трансграничным углеродным платежам в ЕС, но в ситуации разрыва торгово-экономических отношений с ЕС эти платежи утрачивают влияние на российскую экономику. Поэтому активация российской климатической политики будет теперь в большей мере зависеть от развития трансграничного углеродного ценообразования в Китае и других странах Азии, которые станут ведущими торговыми партнерами России.

Сложившаяся в начале 2022 г. ситуация создает повышенную неопределённость не только для российской, но и для всей мировой экономики. При такой неопределённости разработка очередной фронтальной стратегии в любом случае была бы малоперспективной. Вполне логичной представляется заложенная в Указе №633 фокусировка на более узком спектре приоритетов, связанных преимущественно с различными аспектами безопасности. Не менее важным представляется гибкое использование проектных подходов, при котором достигался бы разумный баланс между решением неотложных задач, как критическое импортозамещение, развитие альтернативных платёжных механизмов в обход санкций, экстренные меры поддержки значимых производств и уязвимых социальных групп) и долгосрочных мер по поддержке необходимых структурных изменений (создание условий для развития экономически конкурентоспособного импортозамещения, развитие несырьевого экспорта и его продвижение на рынках стран со средним и низким уровнем дохода, развитие экономической интеграции на евразийском пространстве, адаптация к процессам глобального энергоперехода, реализация климатической политики с учётом перспектив распространения трансграничной платы за углерод на целевых экспортных рынках и т.д.). Перспективным в этих условиях представляется и адаптивное использование московского опыта стратегического планирования без подготовки сводного стратегического документа. При этом в условиях жёстких бюджетных ограничений у государства и бизнеса гораздо более технологично, чем раньше, должна выстраиваться интеграция стратегических проектов с программной

частью государственного бюджета, что позволит повысить результативность проектных методов управления.

В то же время задачи, на которых сейчас концентрируется Правительство, остаются преимущественно краткосрочными. Краткосрочная ориентированность в рассматриваемый период усугублялась не только обострением конфликта на Украине, но и предшествовавшими ему волнами заболеваемости COVID-19, которые следовали одна за другой в течение двух последних лет и, возможно, продолжатся в дальнейшем. Не исключено, что со временем краткосрочная ориентация работы Правительства приведет к более чёткому разделению между стратегическими задачами, которые будет решать преимущественно Президент, и тактическими решениями, которые в большей мере останутся прерогативой Правительства.

В то же время отсутствие полноценной фронтальной стратегии как документа, обеспечивающего взаимную увязку долгосрочных целей, сохраняет риски недостаточной координации реализуемых проектов, особенно по тем направлениям, которые не укладываются в рамки конкретного проекта. Не исключено, что разделение единой стратегии на отдельные стратегические инициативы создаст тут дополнительные трудности. В этой связи важна грамотная организация работы с указами и другими документами Президента. Новая система может оказаться работоспособной, если, во-первых, президентские документы в области долгосрочного целеполагания будут более тесно увязаны и взаимно непротиворечивы, во-вторых, если текущие поручения, в том числе исходящие от Президента, в случае их противоречия стратегическим документам будут исполняться с обязательным внесением необходимых корректировок в последние. В противном случае текущие поручения, особенно поступающие с верхнего уровня управления и продиктованные в том числе нарастанием внешних угроз, по-прежнему будут превалировать над стратегическими целями и размывать долгосрочное целеполагание, ослабляя мотивацию госслужащих на выполнение долгосрочных стратегических документов.

В этой связи возрастает и потребность в дееспособном координирующем федеральном органе, отвечающем как за координацию и взаимоувязку стратегических документов и среднесрочных планов, так и за их практическую реализацию. Такой орган по аналогии с Минфином должен обладать бóльшим авторитетом и полномочиями, чем большинство отраслевых и функциональных органов исполнительной власти. Пока же Указ №633 возлагает функцию общей координации непосредственно на Президента, что по сути ограничивает сферу координации лишь теми вопросами, которые технически могут быть вынесены на уровень Президента и его ближайшего окружения. Из числа возможных специализированных органов в Указе №633 упоминается лишь специализированный научный центр, на который будет возложено научно-методическое планирование, но не функции координации.

Между тем практические потребности в координации затрагивают гораздо более широкий круг вопросов и требуют непрерывного оперативного взаимодействия, которое по силам лишь органу, располагающему достаточно многочисленным штатом специалистов. Такой аппарат едва ли возможно сосредоточить в ближайшем окружении Президента.

Определённой предпосылкой к повышению качества реализации стратегических документов можно считать усиление внимания к механизмам контроля и мониторинга в режиме реального времени. Однако он должен быть сфокусирован не на формальном контроле за целевыми показателями и сроками, как это часто происходило ранее, а на опережающем выявлении и оперативном преодолении конкретных препятствий, создающих угрозу недостижения заявленных результатов. Будет ли происходить такая переориентация системы мониторинга в ходе реализации Указа №633, пока остается неясным.

Заключение

Период 2020-2021 гг. характеризуется значительной активностью в сфере стратегического управления. Однако различные направления в этой сфере — работа над Стратегией-2030, изменения в климатической политике, подготовка проекта «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования» — осуществлялись в значительной степени в отрыве друг от друга. Их завершению препятствовали быстрые и кардинальные изменения во внутренней и международной ситуации, такие как пандемия и обострение конфликта на Украине. При этом Федеральный закон 172-ФЗ «О стратегическом планировании» все больше утрачивал связь с реальными практиками стратегического планирования.

Несмотря на интенсивный поток инноваций и экспериментов, наблюдавшийся в сфере стратегического планирования в течение последних лет, основные вызовы, существовавшие в ней к началу 2020 г., сохранили свою актуальность и в конце 2021 г. Система стратегического планирования по-прежнему характеризуется:

- общей незрелостью и противоречивостью, которая усугубилась поспешной и неудачной попыткой закрепить существующую систему в Законе 172-ФЗ;
- институциональной слабостью сферы долгосрочного целеполагания в сфере развития: в ходе экспертных интервью практически все наши респонденты говорили о том, что большая часть стратегических документов верхнего уровня не оказывает серьезного влияния на социально-экономическую политику России, хотя отдельные положения этих документов находят отражение в реально осуществляемых проектах;
- меньшим влиянием институтов стратегического планирования по сравнению с институтами в области бюджетной и кредитно-денежной политики и связанным с этим превалированием краткосрочных приоритетов бюджетной сбалансированности над долгосрочными целями развития;
- быстрой и непредсказуемой сменой правил игры;
- низкой степенью реализации стратегий, преобладанием имитационного применения и (или) концентрации на второстепенных целях и мерах;
- слабой мотивацией государственных служащих на исполнение стратегических документов, сосредоточением внимания на оперативных поручениях;
- накопленным успешным опытом проектного управления, в котором акцент делается на формы, проверенные на практике, но не всегда закреплённые законодательно.

Рассогласованность и непоследовательность в реализации управленческих инноваций создает для стратегического планирования немало проблем, затрудняя постановку и достижение долгосрочных целей развития. Но сложившаяся ситуация открывает и определенные новые возможности. Речь идёт об учёте резкого изменения текущего долгосрочного контекста планирования в условиях обострения ситуации на Украине и связанной с этим необходимости глубокой и быстрой реконфигурации торгово-экономических, финансовых и политических отношений с развитыми странами, с одной стороны, и странами со средним и низким уровнем дохода — с другой.

Масштабные структурные задачи, возникающие в новых условиях, требуют активной адаптации и перестройки практик стратегического планирования, а наличие разнообразных экспериментальных заделов способно облегчить и ускорить такую перекомпоновку, минимизируя эффект колеи. При этом наличие хорошо структурированной и упорядоченной системы стратегического планирования в этой ситуации едва ли облегчило бы решение многочисленных новых задач, поскольку содержание многих долгосрочных стратегических планов практически одновременно утратило актуальность. Сам портфель инструментов стратегического планирования и их взаимосвязи в любом случае потребовали бы корен-

ного пересмотра в соответствии с принципиально новыми геополитическими и экономическими реалиями и кардинально меняющимися долгосрочными трендами.

В сложившихся условиях вероятным направлением дальнейшей эволюции стратегического планирования может стать институционализация президентской модели стратегического планирования, при этом Правительство может в большей мере сосредоточиться на задачах оперативного управления и бюджетного планирования. Этот принцип прослеживается в Указе №633 об основах государственной политики в сфере стратегического планирования, который определил дальнейшие направления эволюции системы стратегического планирования.

Масштабные структурные задачи, возникающие в принципиально новых геополитических и экономических реалиях, сложившихся в результате обострения конфликта на Украине в 2022 г., потребуют дополнительной перенастройки практик стратегического планирования. Достаточно гибкий и обобщенный характер формулировок в Указе №633 оставляет широкие возможности для адаптации формирующейся новой системы стратегического планирования к изменившимся условиям развития.

ЛИТЕРАТУРА

- Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня. (2016): Аналитический докл. / М.Э. Дмитриев (ред.) — СПб.: ЦСР. Институты и общество.
- Дмитриев М.Э. (2022). Уроки реформ и новые вызовы // Вестник Европы. Т. LVIII. С. 30–39.
- Дмитриев М.Э., Крапиль В.Б. (2021). Проблемы институтов стратегического планирования в современной России // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. №11. С. 39–48.
- Дмитриев М.Э., Крапиль В.Б. (2020). Тернистый путь стратегического планирования в современной России // Государственная служба. №2. С. 22–34.
- Дмитриев М.Э., Фондукова Л.А., Янков К.В. (2016). Оптимизации административных процессов в системе государственного управления: предварительные результаты эмпирического анализа // Экономическая политика. № 2. Т. 11. С. 2–7.
- Дмитриев М.Э., Юртаев А.С. (2010). Стратегия-2010: итоги реализации 10 лет спустя // Экономическая политика. №3. С. 107–114.
- Ермилина Д.А. (2016). Стратегическое планирование в России: история и современность // Проблемы рыночной экономики. № 1. С. 4–10.
- Ильин В.А. (2016). Стратегия национальной безопасности-2015 — шаг к новому этапу развития России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. №1 (43). С. 9–25.
- Ирошников Д.В., Гайдук С.Л. (2016). Теоретико-правовой анализ новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Юридическая наука. №2. С.18–23.
- Кулаев А.П., Казак А.А. (2016). Стратегическое планирование в Российской Федерации: плюсы, вопросы и проблемы // Вестник НГУЭУ. №3. С. 70–83.
- Лексин В.Н. (2018). Стратегия пространственного развития страны: дискуссия о приоритетах // Россия: тенденции и перспективы развития. №13–2. С. 114–118.
- Маклакова Е.А. (2015). Исторические предпосылки создания современной системы стратегического планирования в России // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. №4. С. 132–138.
- Пилипенко К.В. (2017). Система стратегического планирования в России // Наука и образование сегодня. №11. С. 43–45.
- Скопин А. Ю. (2019). Авторская концепция и Стратегия пространственного развития России: критический анализ // Россия: тенденции и перспективы развития. №14-2 [http:// \(innclub.info/archives/15559\)](http://innclub.info/archives/15559) (дата обращения: 15.04.2022).

Дмитриев Михаил Эгонович

mikhaildm@mail.ru

Mikhail Dmitriev

doctor of economics, principal research fellow, Center for Public Policy and Public Administration of the Institute of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow)
mikhaildm@mail.ru

Крапиль Валерий Борисович

krapil@iep.ru

Valery Krapil

research fellow, Center of Public Policy and Public Management of the Institute of Social Sciences of the Russian Academy of National Economy and Civil Service of the President of Russian Federation (Moscow)
krapil@iep.ru

STRATEGIC PLANNING AT THE CROSSROADS: OLD CHALLENGES AND NEW OPPORTUNITIES

Abstract. The article analyzes the implementation of federal strategies and national projects in the Russian Federation during 2000–2021. It also considers the evolution of the federal practices of strategic planning, with particular focus on the numerous recent alterations made during 2020–2021. The authors examine the likely causes of successes and failures of various innovations and assess the general state of Russia's strategic planning at the eve of escalation of conflict in Ukraine in the beginning of 2022. The article also regards the possible future adjustments in the strategic planning practices associated with geopolitical and economic consequences of the conflict in Ukraine.

Keywords: *strategic planning, project management, strategies of socioeconomic development, national projects, public administration reform.*

JEL: M10, M11, M13, M14, M15, M20.

REFERENCES

- Analiz faktorov rrealizatsii dokumentov strategicheskogo planirovaniya verkhnego urovnya* [Analysis of the factors of implementation of the upper-level documents of strategic planning]. (2016): Analiticheskiy dokl. / M.E. Dmitriev (ed.). — St. Petersburg: Center for Strategic Research. (In Russ.).
- Dmitriev M.E. (2022). Uroki reform i novye vyzovy (Lessons of reforms and new challenges) // *Vestnik Evropy*. Vol. LVIII. Pp. 30–39. (In Russ.).
- Dmitriev M.E., Krapil V.B. (2020). Ternisty put' strategicheskogo planirovaniya v sovremennoi Rossii. [Thorny way of strategic planning in modern Russia] // *Gosudarstvennaya sluzhba*. № 2. Pp. 22–34. (In Russ.).
- Dmitriev M.E., Krapil V.B. (2021). Problemy institutov strategicheskogo planirovaniya v sovremennoi Rossii [Problems of the institutions of strategic planning in Russia]. // *Kuznecho-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem*. 2021. №11. Pp. 39–48. (In Russ.).
- Dmitriev M.E., Fondukova L.A., Yankov K.V. (2016). Optimizatsiya administrativnykh protsessov v sisteme gosudarstvennogo upravleniya: predvaritel'nye rezultaty empiricheskogo analiza [Optimization of administrative processes in public administration: preliminary results of an empirical analysis] // *Ekonomicheskaya politika*. Vol. 11. №2. Pp. 2–7. (In Russ.).
- Dmitriev M.E., Yurtaev A.S. (2010). Strategiya-2010: itogi realizatsii 10 let spustya [Strategy 2010: implementation results 10 years later] // *Ekonomicheskaya politika*. №3. Pp. 107–114. (In Russ.).
- Ermilina D.A. (2016). Strategicheskoe planirovanie v Rossii: istoriya i sovremennost' [Strategic planning in Russia: history and modernity] // *Problemy rynochnoi ekonomiki*. № 1. Pp. 4–10. (In Russ.).
- Il'in V.A. (2016). Strategiya natsionalnoy bezopasnosti-2015 — shag k novomu etapu razvitiya Rossii [National security strategy-2015 — a step towards a new phase of Russia's development] // *Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny: Fakty, Tendencii, Prognoz*. № 1(43). Pp. 9–25. (In Russ.).
- Iroshnikov D.V., Gaiduk S.L. (2016). Teoretiko-pravovoi analiz novoi Strategii natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii [Theoretical and legal analysis of the new National Security Strategy of the Russian Federation] // *Juridicheskaya nauka*. №2. Pp. 18–23. (In Russ.).
- Kulaev A.P., Kazak A.A. (2016). Strategicheskoe planirovanie v Rossiiskoi Federatsii: plyusy, voprosy i problemy [Strategic planning in the Russian Federation: advantages, questions and problems] // *Vestnik NGUEU*. № 3. Pp. 70–83. (In Russ.).

- Leksin V.N.* (2018). Strategiya prostranstvennogo razvitiya strany: discussiya o prioritetakh [Strategy of spatial development of the country: discussion about priorities] // *Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya*. №13–2. Pp. 114–118. (In Russ.).
- Maklakova E.A.* (2018). Istoricheskie predposylki sozdaniya sovremennoi sistemy strategicheskogo planirivaniya v Rossii [Historical background of the creation of the Russian modern public strategic planning system] // *Vestnik LGU im. A.S. Pushkina*. №4. Pp. 132–138. (In Russ.).
- Pilipenko K.V.* (2017). Sistema strategicheskogo planirovaniya v Rossii [System of strategic planning in Russia] // *Nauka i obrazovanie segodnya*. №11. Pp. 43–45. (In Russ.).
- Skopin A.Yu.* (2019). Avtorskaya kontseptsiya i Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossii: kriticheski' analiz [Author's concept and Russia's Strategy of spatial development] // *Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya*. №14–2. <http://innclub.info/archives/15559> (access date: 15.04.2022). (In Russ.).

ОТ ТЕОРИИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Е.Е. Шестакова

*к.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт экономики РАН
(Москва)*

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

Аннотация. Изменение возрастной структуры населения, увеличение доли пожилых граждан по отношению к трудоспособной части общества затрагивают в той или иной мере большинство стран с разным уровнем социально-экономического развития. В настоящее время в группу «старых» стран (с долей населения 65 лет и старше выше 14%) входит 54 государства, стареющих (доля лиц старше 65 лет в пределах 7–14%) — 42 страны, к 2050 г. в первой группе будет уже 111 государств, во второй — 36 (87% мирового населения). Масштабы и скорость этих процессов формируют серьезные опасения по поводу ускоренного роста расходов общества и государства на поддержание пожилого населения. В статье рассматриваются вопросы учета влияния роста продолжительности жизни при реформировании пенсионных систем, сложности сочетания задач обеспечения устойчивости систем, адекватности пенсий и равенства поколений. Анализируются тенденции изменения расходов на медицинское обслуживание и особенно на долговременный уход, который для многих пожилых людей и их родственников становится непосильным финансовым бременем без значительной материальной помощи государства. Также рассматриваются вопросы расширения поддержки и обеспечения безопасности на протяжении всей жизни как необходимого условия активного старения

Ключевые слова: пенсионные системы, человеческий капитал, продолжительность жизни, активное старение, долгосрочное обслуживание.

JEL: H51, H55, I38, J18.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_60_76.

Процесс изменения возрастной структуры населения, увеличения в нем доли лиц старших возрастных групп идет с разной скоростью и в разных масштабах, но является универсальным феноменом с многообразными экономическими и социальными последствиями, затрагивающими рынок труда, сферы медицинского и социального обслуживания, распределения государственных финансов. Продолжительность жизни при рождении в мире увеличилась с 65,4 лет в 1990 г. до 72,7 лет в начале 2022 г¹. и, по прогнозам, к 2050 г. составит 76,7 лет. В Европе и Северной Америке уже сейчас этот уровень выше 78 лет, а медианный возраст населения составляет, соответственно, 42 года и 35 лет. За последние 10–15 лет работники в возрасте 55 лет и старше существенно увеличили свое присутствие на рынке труда. В Америке, Азиатском и Тихоокеанском регионах и в Европе их доля поднялась до 15–17% общей численности рабочей силы [*Pension at a glance...*, 2021. P. 27; *What about...*, 2018. Pp. 2–8].

В группе развитых стран, в которых демографические изменения наиболее очевидны, на смену идеям разрушительного воздействия «демографического кризиса»,

¹ Источник: <http://www.macrotrends.net/countries/WLD/World/life-expectancy>World> (дата обращения 05.04.2022).

вызванного влиянием растущей продолжительности жизни на общество, в частности перевода всё большей доли произведенного продукта от активной к неактивной части общества, что ведёт к спаду производства и стагнации производительности труда, ухудшению положения молодежи и подрыву принципа солидарности поколений [Whitehouse, Whiteford, 2006], приходят более сбалансированные подходы. Новые установки исходят из факторов роста оплачиваемой и неоплачиваемой занятости лиц старших возрастов, возможностей стимулирования роста производства новых видов товаров и услуг, включая поддержку удовлетворительного состояния здоровья, повышения роли пожилых граждан как плательщиков налогов и взносов, в том числе налогов на потребление (их доля составляет в развитых странах 30–50% от общего объёма налогообложения), расширения потребления возрастного населения из собственных источников, накопленных активов, а не за счёт государственной благотворительности.

В экономически развитых странах не только выше доля пожилого населения, но и существенно отличаются объём и структура потребления данной возрастной группы. Расходы на потребление на душу населения, включая расходы на медицинские услуги и долговременный уход, для граждан Швеции в возрасте 65 лет составляют около половины средних трудовых доходов работника в наиболее продуктивном возрасте 30–49 лет. Для 80-летнего шведа этот показатель увеличивается до 80%, для человека в возрасте 90 лет и старше поднимается до 130%. Значительный общий рост душевых расходов на потребление после 85 лет фиксируется в США, Японии, Финляндии. В государствах, которые относятся к группе развивающихся стран или стран с переходной экономикой, существенной разницы в расходах на потребление между возрастными группами не наблюдается. В Китае самая высокая доля душевых доходов, идущих на потребление, у работников в возрасте 30–49 лет (60%), высоки и расходы на потребление в расчёте на душу у молодежи до 25 лет. Остальные возрастные группы, включая и разные категории пожилого населения, расходуют на потребление 30–35% от этой базовой величины (дети 20%). Близкие показатели отмечаются и в ряде других стран, по которым проводились соответствующие расчёты, например в Уругвае и Южной Корее [Cylus, Figuera, Normand, 2019. P. 24].

Структура источников финансирования расходов пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше существенно отличается даже в странах с близким уровнем социально-экономического развития, но с разными моделями социального страхования и обеспечения. В Австрии — стране с классической распределительной пенсионной системой — 85% составляют государственные трансферты, 10% — собственные накопления и 5% — доходы от занятости. В Швеции доля первого параметра превышает 90%, в Германии часть трансфертов — 58%, а доля собственных активов пожилого гражданина составляет 40%. В Великобритании эти два основных источника средств соотносятся приблизительно как 45% и 50%, а доля занятости опускается в западноевропейских государствах до 2–3%. В неевропейских странах с формирующимися рынками (страны Латинской Америки, Китай, Южная Корея) государственные трансферты в структуре потребления не превышают 50% расходов, основную их часть составляет семейная поддержка и доходы от занятости [Cylus, Figuera, Normand, 2019. P. 25].

В большинстве стран действуют специальные, в основном льготные, правила налогообложения доходов пенсионеров. Но есть и исключения: в 10 странах ОЭСР налоги на индивидуальные доходы пенсионеров и работающих граждан одинаковы, а в ряде североевропейских государств (Швеция, Дания, Исландия) налогообложение пенсий выше, чем доходов от занятости. В то же время есть примеры полного освобождения пенсионеров от уплаты налогов. Во многих случаях льготные режимы действуют и в отношении страховых взносов. Как правило, пенсионеры не платят пенсионные взносы и на страхование по безработице, но участвуют в медицинском страховании. В ряде стран они делают взносы «солидарности» для финансирования определённого круга социальных задач. В среднем

в странах ОЭСР пенсионеры с доходами, рассчитанными при наличии полного страхового стажа, выплачивают в виде прямых налогов около 10% своего дохода. Для работающих граждан со средней заработной платой налоги и взносы (без учета взносов работодателя) составляют 26% от заработной платы [*Pension at a glance...*, 2021. P. 144].

Реформирование пенсионных систем с учетом роста продолжительности жизни

В ситуации уменьшения удельного веса поколений работающих и ускоренного роста численности и доли лиц, претендующих на получение пенсионного обеспечения, механизм перераспределения ресурсов через пенсионные системы, основанные на принципах солидарности поколений, перестает восприниматься как справедливый и эффективный. Для продления трудовой жизни и повышения стимулов к сбережениям в странах с обширными пенсионными системами корректируются условия и нормы пенсионного обеспечения, повышается пенсионный возраст, внедряются новые пенсионные технологии: балльные, накопительные, условно накопительные, автоматические корректировки отдельных параметров систем в зависимости от изменения выбранных демографических и экономических показателей. Для современных пенсионеров (данные за 2020 г.) так называемый эффективный возраст ухода с рынка труда в ЕС-27 в среднем значительно ниже параметров официального пенсионного возраста. Он составляет для мужчин 62,6 года, для женщин 61,9 года, а продолжительность жизни после ухода с рынка труда насчитывает, соответственно, 19,5 лет и 24 года. Но есть и страны-рекордсмены, где этот показатель составляет для мужчин более 23 лет, а для женщин более 27 (Франция и Испания) [*Pension at a glance...*, 2021. Pp. 178–181].

Демографические изменения ставят перед пенсионными системами сложные вопросы обеспечения справедливости и адекватности пенсионных выплат, устойчивости самих систем и достижения межпоколенного равенства. В контексте пенсий справедливость часто ассоциируется с актуарной справедливостью, т.е. соответствием между текущей стоимостью взносов в течение трудовой жизни и текущей стоимостью полученных пенсий, которая опирается на индивидуальную перспективу и ограничивается внутриконтингентными трансфертами, без учета других элементов перераспределения. Справедливость в отношении пенсий не может не учитывать таких вопросов, как неоплачиваемая занятость, при которой обычно женская рабочая сила снижает свои возможности, связанные с накоплением, получением дополнительных пенсионных баллов и аккумулярованием пенсионных прав (в зависимости от принятой модели пенсионного обеспечения). Оценка социальной справедливости в отношении пенсий должна включать помимо базовых правил, таких как пенсионный возраст и минимальный страховой или трудовой стаж, и такие параметры, как время нахождения на рынке труда, социально оправданные перерывы в карьере, разная сложность работ и различные виды контрактов. Большинство пенсионных систем содержат более или менее широкий набор элементов перераспределения. Среди этих элементов пенсионное кредитование: учет времени ухода за малолетними детьми и нуждающимися в уходе пожилыми родственниками, периоды безработицы; введение верхних лимитов на размеры пенсий при отсутствии ограничений на размеры взносов (Испания) или использование схем взимания специальных страховых взносов без формирования пенсионных прав для финансирования пенсионной системы (Франция, 0,4% заработка для работников и 1,9% для работодателей отчисляется по данной схеме); модификация связей между взносами и пенсиями, например, более высокий уровень замещения для лиц с низкой заработной платой, использование базовых и минимальных пенсий, специальных правил расчета для лиц с длительными трудовыми карьерами.

Ссылаясь на необходимость снижения межпоколенного неравенства и повышения долгосрочной стабильности пенсионных систем, эксперты МВФ отмечают, что современные пенсионеры экономически развитых стран получают пожизненные пенсии, более чем в два раза превышающие объём сделанных страховых взносов. Реформы, проводившиеся в последние десятилетия и нацеленные на выравнивание объёмов сделанных взносов и полученных пенсий для будущих пенсионеров, по оценкам, должны были сократить это соотношение до полутора раз для более молодых поколений, которые выйдут на пенсию в 2040-х гг. и позже. Однако последние корректировки, сделанные в ряде стран, откладывание принятых решений или возврат к ранее действующим нормам пенсионного обеспечения не внушают оптимизма. Согласно новым расчётам, это соотношение увеличится приблизительно до 1,7 раз для более молодых поколений [Fouejien, Kangur, Martinez, Soto, 2021. P. 2]. Накопленный дефицит пенсионных систем за период 2000–2020 гг. в среднем в странах ЕС составил около 50% ВВП, в том числе во Франции и Италии превысил 75–80%, а в Германии и Швеции составлял около 60% ВВП [Ibid., 2021. P. 52], что несет серьёзную угрозу устойчивости пенсионных систем.

Актuarная справедливость на уровне когорт предполагает, что сумма взносов, выплаченных данными возрастными группами в течение трудовой жизни, равна сумме пособий, полученных в период нахождения на пенсии. Межпоколенное равенство обеспечивается при условии сохранения постоянного баланса стоимости взносов и пенсий у разных поколений. Актuarно справедливая система не предполагает какого-либо перераспределения между поколениями и в этом смысле является системой межпоколенного равенства. Устойчивая пенсионная система не обязательно гарантирует актuarную справедливость для когорт, учитывая наличие необходимых элементов перераспределения между поколениями и внутри поколений, в этом смысле система может быть равной для поколений, но не устойчивой и актuarно справедливой, если все индивиды и все поколения получают большую сумму пенсий, чем выплаченные взносы. И наоборот, система может быть устойчивой, не будучи равной для разных поколений, если одно поколение получит больше пенсий, чем сделало взносов, а другое — меньше.

Вероятно, при оценке межпоколенной справедливости в пенсионном обеспечении было бы целесообразно учитывать не только монетарные трансферты, но и более широкий контекст, например, перераспределение возможностей, которые передаются от одного поколения к другому, включая образование и состояние окружающей среды. Поколения, выходящие в настоящее время на рынок труда, значительно более образованы, чем их предшественники. В группе стран ОЭСР доля лиц в возрасте 25–34 лет с высшим образованием составляет 45%, среди работников в возрасте 55–64 лет эта категория находится в пределах 28%. Более высокий уровень образования ведёт к более позднему выходу на пенсию. Граждане с высшим образованием позже начинают работать, но занимаются деятельностью, которую проще продолжить в пожилом возрасте. Одновременно более высокий уровень образования косвенно способствует повышению участия в формальном и неформальном обучении в течение всей жизни и улучшению состояния здоровья.

Стабилизирующим фактором, призванным улучшить финансовую устойчивость и способствовать формированию межпоколенного равенства, считается изменение возраста выхода на пенсию или параметров пенсионного обеспечения в зависимости от изменения продолжительности жизни когорт. Этот механизм включён в дизайн накопительных и условно накопительных систем, тем не менее большая группа стран, использующих и распределительные, и накопительные схемы пенсионного финансирования, планирует повышать возраст выхода на пенсию в соответствии с увеличением продолжительности жизни до 65 лет (в отдельных случаях 60 или 62 лет). Эти схемы представляются как нейтральные с распределительной точки зрения, но на практике являются скорее регрессивными, так как лица с более низкими доходами имеют меньше перспектив роста продолжительности

жизни и более длительного периода получения пенсии. В экономически развитых странах так называемая остаточная продолжительность жизни лиц старших возрастов, относящихся к нижней по доходам квинтильной группе, в среднем на 3 года меньше, чем в высшей, а общий объём получаемой пенсии ниже на 13% [*Pension at a glance*, 2021. P. 95]. Если разница в продолжительности жизни между социально-экономическими группами будет увеличиваться, то связь пенсионного возраста с продолжительностью жизни с точки зрения обеспечения равенства будет вызывать серьёзные сомнения.

Определённые проблемы введения новых технологий автоматической корректировки связаны и с неоднородностью целей пенсионной политики, обусловленной процессами старения. Для распределительных схем объёмы полученных страховых взносов и выплачиваемых пенсий за год или по крайней мере в течение какого-то периода должны соответствовать сохранению действующего уровня замещения пенсией ранее получаемых трудовых доходов. Поэтому они предполагают необходимость такой корректировки пенсионного возраста, которая обеспечивает стабильное соотношение пенсионеров и плательщиков взносов. То есть нужно скорее всего повышать пенсионный возраст в полном соответствии с увеличением остаточной продолжительности жизни (после 65 лет). В противном случае возникает необходимость повышения величины страховых взносов или государственных субсидий. Если поставлена другая цель — сохранить соотношение периодов занятости и нахождения на пенсии как 2:1, что в настоящее время рассматривается как справедливая цель для разных поколений, то пенсионный возраст должен быть связан с $\frac{2}{3}$ увеличения продолжительности жизни. В ряде стран используется первый вариант (Дания, Греция, Эстония, Италия), в других — второй (Финляндия, Нидерланды, Португалия). При этом рост пенсионного возраста и в первом, и во втором случае может оказаться недостаточным для предупреждения снижения относительной численности рабочей силы во многих странах.

Динамику данных процессов сложно учесть и при автоматической корректировке, и при использовании отдельных дискретных мер. Чтобы избежать возникновения серьёзного финансового дисбаланса при сохранении нормы замещения, связь между пенсионным возрастом и продолжительностью жизни должна в теории комбинироваться с механизмом, который пропорционально сокращает размер пенсионных начислений. В противном случае увеличение пенсионного возраста будет означать начисление дополнительных сумм, а это приведёт к более высокому уровню замещения в новом пенсионном возрасте в распределительных пенсионных системах (*pay-as-you-go*).

Среди основных характеристик пенсионных систем особую роль играют параметры, связанные с адекватным размером пенсий и приемлемым уровнем её финансирования. С одной стороны, размер пенсий должен быть достаточным для минимизации риска бедности нетрудоспособного населения, с другой — сглаживать возможное падение доходов при завершении трудовой деятельности, чего сложно добиться, если следовать цели снижения высокой стоимости пенсионной системы. Слишком низкий уровень пенсий может вести к существенному снижению стандартов жизни после выхода на пенсию и увеличению числа пожилых, живущих ниже уровня бедности. Снизить высокий уровень бедности среди пожилых людей по сравнению с другими группами населения удалось только развитым странам, и то далеко не всем. В среднем доля бедных (с доходами ниже 50% от медианных в стране) в странах ОЭСР среди лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 14%. В 16 из 37 стран данной группы относительная бедность пожилых граждан ниже, чем всего населения. Менее 5% уровень бедности среди лиц старших возрастных групп составляет во Франции, Дании, Исландии, Чехии, т.е. в странах с очень разными по структуре пенсионными системами. И наоборот, показатели относительной бедности среди пожилых составляют более 40% в Корее, 30 — в государствах Балтии, около 20% — в США и Австралии [*Pension at a glance...*, 2021. P. 187].

Функцию снижения риска бедности и социального исключения, особенно в условиях роста неполной и неформальной занятости, выполняют пенсии первого уровня (базовые и минимальные) и элементы перераспределения, включённые в пенсионные схемы. Базовые (универсальные и страховые) и минимальные пенсии в основном (во всяком случае в государствах с относительно невысоким уровнем относительной бедности пожилых) находятся в пределах 20–30% от средней национальной заработной платы. Для лиц с небольшим страховым стажем и низкими трудовыми доходами минимальные пенсии являются важным инструментом социальной поддержки. В странах, ориентированных на обеспечение минимальных гарантий доходов пожилых, основную роль в рамках обязательных государственных пенсионных систем играют пенсии в твердых размерах, без учёта страхового (трудового) стажа. В каком-то смысле это определённый аналог базового дохода для пожилого нетрудоспособного населения. Такие системы наименее затратны, но без дополнительного частного корпоративного или индивидуального страхования они обеспечивают, как правило, достаточно низкий уровень замещения.

Степень реализации функции сглаживания доходов граждан после прекращения занятости разными пенсионными системами частично характеризует показатель теоретического процента замещения пенсией трудовых доходов (*theoretical replacement rate*). Коэффициент замещения показывает расчётный размер гипотетической пенсии работника со средней заработной платой в течение первого года после назначения пенсии в сравнении с заработком перед пенсией в базовом случае (т.е. с 40-летней карьерой и выходом на пенсию в официальном пенсионном возрасте). Данный показатель колеблется от более чем 70% в странах Южной Европы до 20% в Литве. У менее оплачиваемых работников, согласно действующим правилам, в рамках перераспределительных механизмов предусмотрены более высокие показатели замещения, но эта практика не является всеобщей (табл. 1). При сокращении страхового стажа уровень замещения снижается, например, при стаже 20 лет в общем случае на 20–40% от базового уровня. В течение ближайших десятилетий, согласно принятым законодательным нормам в рамках общего курса на сокращение роста или снижение государственных расходов, коэффициент замещения пенсией трудовых доходов для работников с длительным стажем будет снижаться. Но в одних случаях это снижение будет существенно, на 25–30 процентных пунктов (например, в Италии и Польше), в других — менее значительно — до 10% (Финляндия, Дания) [*Pension adequacy report*, 2021. P. 68].

Другой возможный индикатор уровня пенсионного обеспечения — агрегированный процент замещения (*aggregate replacement ratio*) показывает соотношение медианных доходов лиц возрастной группы 65–74 года по отношению к медианным доходам от работы населения в возрасте 50–59 лет. Этот коэффициент по данным на допандемийный 2019 г. находился в пределах от 76–73% в Греции и Италии до 37–38% в Латвии и Болгарии [*Pension adequacy report*, 2021. P.40]. Уровень «обременительности» финансирования пенсионной системы со значительной степенью условности можно характеризовать на основе анализа размеров страховых взносов, прежде всего в секторе обязательного пенсионного страхования, ибо как раз они влияют на стоимость рабочей силы, а также с учетом многоканальности финансирования пенсий на основе соотношения общественных пенсионных расходов к ВВП. При сравнении размеров взносов приходится учитывать, что в отдельных государствах (Испания, Великобритания) пенсионные взносы включены в состав общих социальных взносов, а в других случаях в пенсионном обеспечении большую роль играют налоги (Австралия, Канада и др.). Наиболее высокий уровень пенсионных взносов в Италии — 33% от заработной платы работника, самые низкие из европейских стран в Литве, где взносы делает только работник — 8,7%. (табл. 2).

Таблица 1

Коэффициент замещения пенсией заработной платы для работников с разными уровнями заработных плат при стаже 40 лет в схемах обязательного пенсионного страхования (2020 г.)

Страна	0,5 средней зарплаты	1 средняя зарплата	2 средние зарплаты	Возраст выхода на пенсию
Великобритания	70,6	49,0	38,2	67
Германия	46,6	41,5	33,0	67
Дания	125,1	80,0	61,3	74
Италия	74,6	74,6	74,6	71
Литва	31,5	19,7	13,8	65
Нидерланды	73,1	69,7	68,0	69
Польша	31,8	30,6	30,0	65(60)
США	49,6	39,2	27,3	67
Финляндия	56,6	56,6	56,6	65
Франция	60,2	60,2	51,9	66
Швеция	61,4	53,3	67,2	65
Япония	43,2	32,4	26,9	65
ОЭСР	64,5(64,0)*	51,8(50,9)*	44,4(43,7)*	65(60)
Бразилия	88,4(93,3)*	88,4(93,3)*	88,4(93,3)*	65(62)
Китай	90,6(72,2)	71,6(55,7)	62,1(47,5)	60(55)

*В скобках для женщин при наличии разницы

Источник: OECD. Pension at a glance 2021. OECD and G20 indicators. — Paris: OECD Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en>

Таблица 2

Страховые пенсионные взносы в систему обязательного государственного страхования (в % от заработной платы, 2020 г.).

Страна	Наёмный работник	Работодатель	Всего
Австрия	10,25	12,55	22,8
Бельгия	7,5	8,9	16,4
Германия	9,3	9,3	18,6
Италия	9,19	23,81	33
Канада	5,25	5,25	10,5
Литва	8,7	-	8,7
Польша	9,8	9,8	19,6
США	5,3	5,3	10,6
Финляндия	7,15	15,2	22,4
Франция	11,3	16,5	27,8
Япония	9,15	9,15	18,3

Источник: OECD. Pension at a glance 2021. OECD and G20 indicators. — Paris: OECD Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en>

Наибольшую долю 13–15% ВВП на государственные пенсии расходуют государства Южной Европы с солидарно-распределительными системами, а минимальные значения — ниже 3% ВВП — относительно молодые по возрастному составу государства Латинской Америки (Чили, Мексика) и Исландия, в которой основную часть пенсионного обеспечения составляют частные профессиональные пенсионные схемы. В целом ниже средних показателей по ОЭСР (7,7% ВВП) составляют расходы на пенсионное обеспечение в странах с относительно невысоким уровнем государственного обеспечения и с большой долей частного пенсионного страхования, на который делается основной акцент. По расчётам экспертов МВФ, к 2050 г. в одних странах прогнозируется снижение государственных расходов на 0,4–1,5% ВВП (Финляндия, Франция), в других — повышение в пределах 0,7–3,3% ВВП (например, в Чехии, Испании, Германии) [Fouejien, Kangur, Martinez, Soto, 2021. P. 65].

Распространенность систем частного пенсионного страхования (коллективных и индивидуальных) в значительной степени зависит от щедрости государственных программ. Как правило, чем ниже относительный уровень государственного пенсионного обеспечения, тем большую роль играют частные и дополнительные программы. Обязательные или квазиобязательные (т.е. на основе договоров социальных партнеров на национальном или отраслевом уровнях) действуют уже почти в половине стран ОЭСР. Выплаты по частным схемам составляют в целом 1,5% ВВП. Но в ряде стран с высоким уровнем развития негосударственного пенсионного страхования их доля превышает 5% ВВП (например, в Нидерландах, Канаде, Великобритании) [Pension at a glance..., 2021. P.200].

Справедливости ради необходимо отметить, что если для развитых стран основные задачи реформирования пенсионных систем лежат в плоскости достижения баланса между финансовой стабильностью и адекватными размерами пенсий, то для многих государств с формирующимися рынками главная задача — увеличение охвата пенсионным страхованием работающего населения и расширение источников финансирования программ. Если в Северной Америке и Европе в схемы пенсионного страхования включено, соответственно, 95% и 88% экономически активного населения, то в Латинской Америке в силу широкого распространения неформальной занятости и значительно более низкого уровня материального благосостояния широких слоев трудоспособного населения этот показатель, по данным МОТ, составляет 47%, а, например, в Южной Азии — 26%. Расходы на социальную защиту пожилых граждан (по страховым и нестраховым программам, без медицинского обслуживания) составляют в Западной Европе 11,3% ВВП, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке 5,7–5,9% ВВП, а в Южной Азии — 2,2% ВВП [Social protection..., 2021. Pp. 171, 176].

Старение населения, кроме реформирования пенсионных систем с целью увеличения длительности работы и сохранения адекватного размера пенсий, должно сопровождаться изменениями на пока не приспособленных к новым демографическим реалиям рынках труда. Среди лиц условного предпенсионного возраста (55–64 года) занято по основным мировым макрорегионам 55–60%, среди граждан более старшего возраста — 20–25% (за исключением государств Африки, где эта доля существенно выше, и Европы, где она составляет около 8%). Но еще 6–10% европейцев в возрасте 65 лет и старше заняты уходом за детьми и своими еще более пожилыми родственниками [Scott, Lynch, Reeves, Falkenbach, Gringrich, Cylus, Vambra, 2021. P. 28]. Согласно обследованию, проведенному МОТ в более чем 100 странах мира, трудовой потенциал населения в возрасте 55 лет и старше недоиспользуется, спрос на работу лиц старших возрастов существенно превышает предложение, при низком уровне формальной безработицы среди них особенно высок процент так называемых «разочарованных» безработных, прекративших поиски рабочего места.

Среди мер привлечения и удержания возрастных работников в формальном секторе экономики можно назвать такие, как устранение архаичных правовых и возрастных рамок, формирование позитивного имиджа возрастных работников как носителей жизненного

и профессионального опыта, включение их в процессы обучения и переквалификации, применение на национальных и корпоративных уровнях механизмов адаптации рабочей среды и условий трудовой деятельности для лиц старших возрастов. В экономически развитых странах, где вопросам постоянного повышения и обновления знаний и квалификации уделяется много внимания, в неформальное обучение на рабочих местах и за счёт работодателей включено около трети работников в возрасте 55–64 лет, в других возрастных группах эта доля находится в пределах 50% и выше. Основной причиной выступает низкая заинтересованность и работодателей, и самих работников, не планирующих получать существенную материальную отдачу от обучения.

Социальная политика в отношении возрастного населения часто строится на стереотипах, пожилые разделяются на группы, хотя календарный возраст является недостаточно точным инструментом для определения статуса здоровья или модели поведения: у разных индивидов старших возрастов разные состояние здоровья, уровень активности и трудоспособности, роли в обществе. Более материально обеспеченные группы не только дольше живут, но у них, как правило, и более длительная продолжительность здоровой жизни после достижения 55–60 лет, и ниже потребность в долгосрочном уходе, чем у менее обеспеченных слоев [Zaniotto, Batty, Stenholm, 2020. P. 910]. Доля занятого на рынке труда населения в возрасте 55–64 лет в европейских странах составляет среди мужского населения 66%, женского — около 53%, после 65 лет занятость снижается, соответственно, до 8 и 4% [Corselli-Nordbland, Strandell, 2020. P. 22]. В то же время признание неформального ухода в качестве другой работы увеличивает занятость лиц в возрасте 55 лет и старше (по эквиваленту полного рабочего времени) в Португалии и Великобритании на 13–12%, в большинстве других стран ЕС на 6–10% [Cylus, Williams, Normand, Figueras, 2020. P. 910].

Феномен активного старения и рост расходов на медицинское и долгосрочное социальное обслуживание

Другая категория вопросов — увеличение расходов, связанных с медицинским и социальным обслуживанием растущей численности лиц старших возрастов. Пожилые — не гомогенная группа, у них разные потребности, возможности и ресурсы. Успешной попыткой дать интегрированную количественную оценку наиболее важных факторов замедления процессов утраты профессиональной трудоспособности, социальной активности и самообеспечения в преклонном возрасте можно считать разработку индекса активного долголетия. В структуру данного индекса включены четыре группы индикаторов для лиц в возрасте 55 лет и старше, три из которых характеризуют современное положение, а четвертый призван оценивать факторы, которые могут способствовать или препятствовать реализации потенциала возрастного населения в перспективе. В данные группы (домены) входят: 1) занятость на рынке труда; 2) участие в неоплачиваемой социальной деятельности, включая различные виды помощи по уходу и волонтерскую работу; 3) возможности вести независимый, здоровый и безопасный образ жизни, в том числе показатели доступа к услугам здравоохранения, участия в непрерывном обучении, средний относительный уровень доходов, риск бедности и серьёзных материальных лишений; 4) в группу оценки потенциала для процесса активного старения включены показатели ожидаемой продолжительности жизни (после 55 лет), в том числе здоровой жизни, показатели психологического здоровья и социального взаимодействия, вовлечённости в использование современных информационно-коммуникационных технологий, уровень полученного пожилыми гражданами образования [Zaidy, Gasior, Hofmarcher, Lelkes, Marin, Rodrigues, Schmidt, Vanhuysse, Zolyomi, 2013. P. 76]. Вес индикаторов двух первых групп в общем индексе аналогичен, по 35%, доля четвёртой группы — 20%, а на параметры ведения независимого и здорового

образа жизни отведено 10%. Результаты углублённого анализа данных индексов в ряде европейских стран (Италии, Германии, Польше) для групп населения с разным уровнем доходов, образования, живущих в разных типах семей и поселений, показали значительный уровень неравенства в процессе старения в зависимости прежде всего от уровня образования, доходов и даже гендерной принадлежности [Active ageing index..., 2019. P. 77].

Здесь необходимо иметь в виду, что концепция активного долголетия касается не только лиц пожилого возраста. Бедность и низкие семейные доходы в период детства и в трудоспособном возрасте могут оказывать серьёзное влияние на процессы накопления человеческого капитала и формирования статуса здоровья граждан в преклонном возрасте. Высокий уровень доходов и постоянное совершенствование уровня своих компетенций в трудоспособном возрасте способствует накоплению экономических и социальных ресурсов, которые могут быть использованы в период окончательного ухода с рынка труда. Важным компонентом здорового старения являются и результаты социального инвестирования: поддержка семьи и друзей в пожилом возрасте.

В случае, когда политический выбор при формировании социальной политики направлен преимущественно на повышение потребления и снижения рисков для пожилого населения и слабо учитывает риски лиц трудоспособного возраста, увеличивается вероятность ослабления межпоколенной солидарности. И наоборот, при учёте рисков на всех стадиях жизненного цикла, включая программы сокращения детской бедности и поддержки неработающих лиц трудоспособного возраста, направленных на снижение бедности и сокращение разрыва в доходах, вероятно повышение социальных результатов во всех возрастных группах. Так, согласно теории Дж. Линча [Linch, 2006], возможны четыре варианта результатов социальной политики в зависимости от перераспределения между и внутри поколений:

1) двойной выигрыш, который достигается, если государство расходует значительные средства и на поддержку пожилых, и на трудоспособные категории населения, например семьи с детьми. К этой категории автор относит, например, Францию, Швецию, Норвегию. В Скандинавских странах на пожилых расходуется не менее 8–9% ВВП, а на социальную поддержку других групп населения — около 6%;

2) отсутствие выигрыша — низкий уровень солидарности, социальной поддержки и перераспределения как внутри, так и между поколениями. Среди представителей данной группы Эстония, Словакия, США;

3) широкая адресная помощь и значительные успехи в снижении бедности среди пожилого населения при ограниченной поддержке нуждающихся в ней групп трудоспособного населения (Греция, Италия);

4) использование ограниченного числа видов универсального обеспечения для всех категорий населения при сохранении относительно высокого уровня неравенства. В эту группу входят такие государства, как, например, Великобритания.

Многие европейские страны переживают в последнее десятилетие не только рост доходного неравенства. В результате роста цен на активы, особенно жилье, происходит существенное увеличение дифференциации населения по уровню благосостояния [Fuller, Johnston, Regan, 2020].

Еще одной тревожной темой, связанной с вопросами перераспределения, является растущее региональное неравенство, увеличение числа депрессивных районов в рамках национальных государств, изменение как структуры экономического развития, так и качества широкого спектра услуг. В Великобритании разрыв в продолжительности жизни между депрессивными и наиболее быстро развивающимися районами составляет для мужчин 9 лет, для женщин 7 лет; еще более значительны различия в показателях здоровой жизни. В Бельгии уровень смертности на 100 тыс. жителей по регионам колеблется от 886 до 1161 человек. Наиболее высокая смертность в депрессивных районах с низкими по

национальным меркам показателями доходов, занятости, образования, доступности услуг здравоохранения [Scott, Lynch, Reeves, Falkenbach, Gringrich, Cylus, Bamba, 2021. P.89]. При этом в Европе по международным меркам самый высокий уровень охвата мерами социальной защиты для пожилых — 96,7%, детей — 82,3%. В странах Азии и Тихоокеанского региона, по подсчётам МОТ, этот показатель составляет для пожилых — 73%, детей — 18, а общие показатели по миру — соответственно 77 и 26% [Harasty, Ostermeier, 2020. P. 10–11].

Сам по себе календарный возраст не является основной причиной более высоких расходов на медицинское обслуживание, более серьёзным фактором выступает состояние здоровья. Исследования экспертов в сфере медицины показывают, что изменение возрастной структуры населения на длительную перспективу до 2060 г. добавляет менее 1% к росту расходов на душу населения в странах ЕС. По прогнозам Европейского центра исследований систем здравоохранения и политики (European Observatory on Health System and Policies), в 2020–2035 гг. этот прирост достигнет 0,5–0,55%, а в период 2040–2050 гг. — 0,25–0,35% [Cylus, Williams, Normand, Figueras, 2020. P. 189]. По другим прогнозам рост расходов на здравоохранение как доля ВВП в ЕС составит за период 2020–2060 гг. 1,3% ВВП, а в Японии — стране, где уже в настоящее время треть населения в возрасте старше 60 лет, показатели роста достигнут 1,8% ВВП [Williams, Cylus., Roubal, Ong, Barber, 2019. P. 6.].

Расходы на медицинское обслуживание в расчёте на душу населения в ЕС в среднем увеличиваются с 4% ВВП/душу в возрастной группе 40–49 лет до 5,8%, в группе 50–59 лет — до 8% ВВП/душу, для 60–69-летних — до 11%, для 70–79 летних и для более старших лиц этот уровень составляет 16,5–17%, что в значительной степени связано с резким увеличением расходов на медицинскую помощь в период ухода из жизни [Normand, May, Johnston, Cylus, 2021. P. 10]. В том, что касается теоретического соотношения роста продолжительности жизни и увеличения длительности здоровой жизни, существуют несколько базовых сценариев:

1) расширение инвалидизации (немогности) (expansion of morbidity), в соответствии с которым при росте продолжительности жизни увеличивается длительность пребывания в состоянии инвалидности. Вариант данного сценария — рост относительной доли жизни с плохим состоянием здоровья (число лет здоровой жизни растёт, тем не менее увеличивается абсолютное и относительное число лет инвалидности). В этом случае должны существенно увеличиваться расходы на медицинское и социальное обслуживание растущего числа пожилых граждан [Olshansky et al. 1991];

2) сжатие инвалидности (compression of morbidity) — сокращение количества и доли лет с инвалидностью на фоне роста продолжительности жизни, что не предполагает существенного роста расходов на здравоохранение и долговременное обслуживание нуждающихся граждан;

3) состояние динамического равновесия (dynamic equilibrium) — средний сценарий между сжатием и расширением [Robine, Saito, Jagger, 2001].

Данные подходы предполагают значительное упрощение трактовки процессов старения, но основная сложность оценок связана с отсутствием единства и спорностью методов определения уровня инвалидности. Наличие хронических заболеваний, физических дефектов, потеря определённых физиологических функций не обязательно ведут к невозможности работать в соответствии с общепринятой практикой, заниматься видами деятельности, приносящими доход, вести независимый образ жизни. Ранняя диагностика заболеваний, использование программ реабилитации, управления ходом болезней увеличивают шансы на позитивные медицинские результаты. В США, например, при оценке количества лет здоровой жизни данные по инвалидности взвешиваются по действующим показателям серьёзности заболеваний по 354 видам болезней. В Европе уровень инвалидности определяется на основе социологических опросов, обрабатываемых Евростатом (EU-SILC), о наличии ограничений жизнедеятельности в течение шести месяцев, пред-

шествовавших обследованию (при этом в выборку не попадают лица, живущие в стационарных учреждениях, типа сестринских домов и домов для престарелых). Средняя продолжительность здоровой жизни лиц в возрасте 65 лет и старше в государствах Северной Европы, согласно этим опросам, составляет 75% и более от продолжительности жизни данной возрастной категории, средние показатели по ЕС — около 50% у женщин и 54% у мужчин, для государств Восточной Европы эти показатели существенно ниже, например, для Латвии и Словакии 20–30%. В целом эмпирические данные по Европе не свидетельствуют о тенденции «сжатия инвалидности» при росте продолжительности жизни [Rechel, Jagger, McKee, 2020. P. 19].

С ростом продолжительности жизни увеличиваются риски утраты трудоспособности, возможности самостоятельной жизнедеятельности и, соответственно, вероятность роста личных (семейных) и государственных расходов на уход за нуждающимися лицами. Критериями определения потребности в долговременном медико-социальном обслуживании в отдельных странах могут служить условия социальной среды, доступность семейной поддержки и медицинского контроля, статус здоровья. А основными параметрами, на которые ориентируются исследователи при определении степени потребности в услугах на межнациональном уровне, являются данные опросов (European Health Interview Survey) об ограничениях при выполнении ежедневных жизненно важных функций (приём пищи, гигиенические процедуры и др.) и ряда необходимых видов деятельности для нормальной жизни (уборка, оплата счетов и др.)². По оценкам, численность зависимых от посторонней помощи лиц в 2019 г. составляла в Европе около 31 млн человек (7% населения), среди граждан в возрасте 65 лет и старше — 17 млн (19% от численности этой группы, и данная доля существенно увеличивается с возрастом) [Long-term care report, 2021, P. 30]. Важным показателем оценки зависимости и величины предполагаемых расходов является уровень потребности в уходе, который, согласно методике, принятой в ОЭСР, измеряется количеством часов необходимого социального обслуживания в неделю: невысокий уровень — 6,5 часов, средний — 22,5 часа и высокий — 41,25 часа в неделю.

Даже в экономически наиболее благополучных странах основным инструментом помощи остается неформальный уход со стороны родственников и друзей. Доля лиц из числа нуждающихся, пользующихся только неформальной помощью, колеблется от 30–40% (Дания, Ирландия) до более чем 85% в странах Восточной Европы. От 12 до 18% взрослого населения ЕС участвуют в этой деятельности, а основной возрастной группой выступают граждане 45–64 лет, их доля среди помощников — 48%, более старших граждан — 22%. Большой объём неформальной помощи ограничивает возможность занятости лиц трудоспособного возраста, среди обеспечивающих интенсивный уход (более 40 часов в неделю) доля работающих — 35% (среди лиц, осуществляющих уход 10–19 часов, занято более 60%). Интенсивный уход особенно сильно влияет на сокращение занятости женщин в предпенсионном возрасте, а более молодые помощники в возрасте 18–44 лет, обеспечивающие интенсивный уход и работающие, теряют 20–25% доходов из-за сокращения часов работы. По оценкам, стоимость временных затрат на оказание неформальной помощи нуждающимся в уходе составляет в европейских странах 2,4–2,7% ВВП, превышая в большинстве случаев расходы на официальную государственную помощь. С другой стороны, стоимость неформального обслуживания выражается в потере налогов и страховых взносов в результате снижения занятости ухаживающих лиц. Общественная стоимость этих статей составляет около 0,5% ВВП, что близко к трети от текущих общественных расходов на долгосрочный уход [Long-term care report, 2021. Pp. 14, 30].

Расходы на формальную социально-медицинскую помощь на дому или в специальных стационарных учреждениях для лиц с высоким уровнем зависимости составляют

² Activities of daily living (ADL); Instrumental activities of daily living (IADL)

в европейских странах от 150 до 500% от медианных располагаемых доходов пенсионеров. Без социальной поддержки с высоким риском невозможности оплачивать услуги по уходу при среднем уровне зависимости (22,5 часов в неделю) сталкиваются не только группы с низкими, но и со средними доходами, а при высокой степени — практически все доходные категории населения [*Hashiguchi, Elena-Nozal, 2020. P. 17*]. Согласно имеющимся данным по 19 европейским странам, в четырёх из них государство покрывает более 90% стоимости расходов на формальные услуги и еще в шести — около 50%, в остальных уровень существенно ниже. По общим правилам большая поддержка оказывается пожилым с высоким уровнем зависимости и с низкими доходами, меньший объём помощи получают лица, имеющие определённые активы. Но если, например, в Испании и Австрии существует большая разница в финансовой поддержке в зависимости от уровня доходов и собственности, то в Финляндии и Швеции эта разница фактически отсутствует, услуги на дому предоставляются всем нуждающимся в них на условиях универсальности.

Социальная и финансовая поддержка нуждающихся может отвечать универсальным и селективным подходам, составлять часть страховой системы или включаться в схемы социальной защиты. В отличие от пенсионного обеспечения, которое касается исключительно финансовых вопросов, долговременный уход носит смешанный медико-социально-финансовый характер и предполагает значительную долю софинансирования расходов со стороны пользователей и их семей, особенно при получении социальных услуг. В одних случаях государственная помощь предоставляется почти исключительно в виде услуг (в основном Скандинавские страны), в других — в виде денежных пособий (Австрия, Италия), в Германии получатель помощи может выбирать между пособиями, услугами или их сочетанием. Согласно данным Отчёта о старении населения ЕС [*The 2021 Ageing Report, 2021. P. 151*], расходы на долговременное обслуживание в 2019 г. составляли 1,7% ВВП (3,9–3,5% в Нидерландах, Дании и Швеции и менее 0,5% в большинстве стран ЦВЕ), к 2030 г. они, по прогнозам, могут увеличиться до 2,1%, а к 2050 г., по одному из сценариев, до 3,3% ВВП³. В общей структуре государственных расходов по 26% приходится на выплату денежных пособий и уход на дому и 48% — на стационарное обслуживание [*Long-term care report, 2021. Pp. 91–93*]. Основными моделями финансирования являются использование бюджетных источников (общих и значительно реже маркированных налогов), государственное и частное страхование. Наиболее полная статистическая информация по соотношению различных каналов финансирования долгосрочного ухода касается медицинских услуг, включённых в их состав. В государствах Северной Европы основным источником служат общие налоги (80–90%) разного уровня, в Нидерландах и Германии более 75% составляют страховые платежи на долговременный уход, в Финляндии и Бельгии часть услуг по уходу, например расходы сестринских домов, включены в состав медицинского страхования, «выплаты из кармана» — основной канал финансирования медицинской части долгосрочного обслуживания в ряде стран ЦВЕ (в Болгарии — более 85%) и в Португалии. В отличие от медицинского, частное страхование в секторе длительного ухода имеет весьма ограниченное распространение, коллективное страхование мало интересно работодателям, а индивидуальное осложняется высокими тарифами из-за распространённого феномена «негативного отбора» (страхуются только лица старших возрастов с высокими рисками). Но часть дополнительных услуг может предоставляться через другие страховые продукты (например, страхование жизни и здоровья) [*Public and Private Sector..., 2021. P. 19*]. В среднем около 80% всех государственных расходов на финансирование долгосрочного обслуживания осуществляется через бюджет или схемы обязательного страхования [*Mueller, Bourke, Morgan, 2020. P. 12*]. Тем не менее в 19 государствах ЕС почти 50% нуждающихся

³ В структуру расходов кроме социальных включаются и определённые медицинские услуги: паллиативная и сестринская помощь, контроль боли, медицинские консультации, расходы на реабилитацию и др.

пожилых людей после использования всех каналов государственной поддержки при внесении необходимых платежей на уход попадают в группу бедного населения (при всех уровнях потребности) [Long-term care report, 2021. P. 14]. Долгосрочный уход оказывается непосильным финансовым бременем для групп не только с низкими, но и со средними доходами. Поэтому пользуются формальными каналами помощи около трети лиц в возрасте 65 лет и старше, имеющих сложности с самообслуживанием и ведением домашних дел. В период COVID-кризиса в странах с широкой сетью учреждений по уходу временно были введены ограничения на доступ к услугам, закрыты дневные центры, прекращено размещение пациентов в стационары. Доступ к домашнему обслуживанию был лимитирован только экстренными вызовами, ограничены права пациентов (изоляция, запрет визитов), но одновременно увеличился объём телекоммуникационных услуг.

Для комплексной оценки возможностей ведения «независимого» образа жизни, участия в разработке мер, затрагивающих интересы пожилых граждан, обеспечения уходом и защитой со стороны семьи, общины и государства, соблюдения права на справедливое обращение разработан специальный Индекс прав пожилых людей (Rights of older people index ROPI). Он включает 35 индикаторов, сгруппированных в 10 блоках, среди них доступ к программам ранней диагностики заболеваний, реабилитации, оборудование жилых помещений, возможности получения паллиативной помощи, активного участия в определении своих потребностей и нужд, обеспечение возможности перемещения, участие в социальной жизни, недопущение физического и психологического насилия и др. [Pince, Rodrigues, Schulman, 2018].

Одним из ключевых направлений в области долговременного ухода, особенно после пандемии, стало расширение более выгодного экономически и востребованного нуждающимися гражданами надомного социального обслуживания. Оно включает и новые технологичные виды: хосписы и санатории на дому, патронажные службы, мобильные медико-социальные бригады, организацию муниципальных и районных групп взаимопомощи для пожилых и хронических больных.

* * *

Современные демографические тенденции, рост доли лиц старших возрастов в структуре населения, а также возможные изменения на рынке труда и трансформация условий найма работников дают основания прогнозировать значительное увеличение финансового бремени социального страхования и обеспечения, ложащегося на социальных партнеров и государство. Однако опыт развитых стран, которые первыми столкнулись с тенденциями увеличения пенсионной нагрузки на работающее население, уменьшения числа плательщиков страховых взносов и частичного сужения базы страховых платежей по сравнению с увеличивающимся ростом числа пожилых, получающих пособия и услуги, показал, что фактор старения оказывает меньшее влияние на рост социальных расходов, чем другие процессы. Величина расходов на пенсионное обеспечение в большей степени зависит от основных параметров пенсионной системы и её зрелости. Наиболее высокие расходы присущи странам с распределительными пенсионными системами, ориентированными на компенсацию утраченного заработка. Там, где применяются схемы, ориентированные на обеспечение гарантированных доходов пожилым, затраты значительно меньше, но при этом нарушается баланс защищённости и справедливости, не обеспечивается замена утраченных трудовых доходов. Хотя эти схемы косвенно стимулируют граждан к самостоятельной заботе о своем пенсионном обеспечении, используя дополнительные коллективные и индивидуальные накопительные механизмы.

Тенденции увеличения пенсионного возраста и внедрения различных накопительных программ для повышения личной заинтересованности в пенсионном страховании характерен для стран не только с высоким, но и со средним и ниже среднего уровнем

экономического развития. Но в развитых странах у граждан больше экономических возможностей делать индивидуальные и коллективные сбережения на старость, формировать свои программы выхода на пенсию, лучше состояние здоровья и условия продолжения трудовой деятельности, выше уровень пенсий (даже при условии их сокращения при раннем прекращении трудовой деятельности).

Рост продолжительности жизни, по прогнозам, окажет относительно небольшое влияние на увеличение расходов на здравоохранение. Большую роль играют общее увеличение стоимости медицинских услуг и спроса на них, касающиеся всех возрастных групп населения. Старение связано с ослаблением физиологических функций и ростом заболеваемости, но наиболее значимый фактор — степень их влияния на повседневную жизнедеятельность людей. Активно поддерживаемая во многих странах концепция активного старения касается не только лиц пожилого возраста. Она охватывает более широкий круг вопросов, возможностей накопления человеческого капитала и формирования статуса здоровья в более молодых возрастах.

ЛИТЕРАТУРА

- Active ageing index (2019): Analytical report / UNECE.
- Corselli-Nordblad L., Strandell H. (2020). Ageing Europe. Looking at the lives of older people in the EU. Eurostat. — Luxembourg: Publication office of European Union.
- Cylus J., Figuera J., Normand Ch. (2019). Will population ageing spell the end of the welfare state? A review of evidence and policy option. — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Cylus J., Williams G., Normand Ch., Figueras J. (2020). Economic, fiscal and societal consequences of population ageing—looming catastrophe or fake news? // *Croat Medi.* No. 61. <https://doi.org/10.3325/cmj.2020.61.189> (дата обращения: 05.04.2022).
- Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019–2070) (2021): The 2021 Ageing Report. // Institutional paper. No. 148. — Luxembourg: Publishing office of the European Union.
- Fouejien A., Kangur A., Martinez S.-R., Soto M. (2021). Pension reforms in Europa. How far have we come and gone? // *IMF* 2021/016.
- Fuller G.W. Johnston A., Regan A. (2020). Housing prices and wealth inequality in Western Europe // *West European Politics.* No. 43(2). Pp. 297–320. <http://DOI:10.1080/01402382.2018.1561054>. Дата обращения: 05.04.2022.
- Harasty C., Ostermeier M. (2020). Population ageing: alternative measures of dependency and implications for the future of work // *ILO Working paper.* No. 5. — Geneva: ILO.
- Hashiguchi T., Elena-Nozal A. (2020). The effectiveness of social protection for long-term care in old-age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs? // *OECD Health working papers.* №117.
- Ilince S., Rodrigues R., Schulman K. (2018). From disability rights– based approach to long-term care in Europe: Building an index of rights–based policies for older people // Working paper II: Conceptual framework for a human rights approach to care and support for older individuals. — Vienna: European Center for social welfare policy and research.
- Linch J. (2006). *Age in the Welfare State: The Origins of Social Spending on Pensions, Workers and Children.* — Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606922>.
- Long–term care report. Trends, challenges and opportunities in an ageing society. Vol 1. (2021). Joint report prepared by the Social Protection Committee and the European Commission. — Brussels: European Commission.
- Mueller M., Bourke E., Morgan D. (2020). Assessing the comparability of long–term care spending estimates under the joint health accounts questionnaire. — Paris: OECD Publishing.
- Normand Ch., May P., Johnston B., Cylus J. (2021). Health and social care near the end of life. Can policies reduce costs and improve outcomes? — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Olshansky S., et al. (1991). Trading off of longer life for worsening health: the expansion of morbidity hypothesis. // *Journal of Ageing and Health.* № 3(2). Pp. 194–216.
- Pension adequacy report, vol.1 (2021). Current and future income adequacy in old age in the EU. Joint report prepared by the Social Protection Committee (SPT) and the European Commission. <http://dx.doi.org/10.2767/013455k> (дата обращения: 05.04.2022).
- Pension at a glance 2021. OECD and G20 indicators (2021): OECD — Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en> (дата обращения: 05.04.2022).
- Public and Private Sector Relationships in long-term care and healthcare insurance (2021): OECD — Paris: OECD Publishing.
- Rechel B., Jagger C., McKee M. (2020). Living longer, but in better or worth health? — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.

- Robine J.-M., Saito Y., Jagger C. (2001). The relationship between longevity and healthy life expectancy // *Quality in ageing*. No. 10(2). Pp. 5–14.
- Scott L., Lynch J., Reeves A., Falkenbach M., Gringrich J., Cylus J., Bambra C. (2021). Ageing and health. The politics of better polities. — Cambridge: Cambridge University Press. [https://DOI: 10.1017/9781108973236](https://doi.org/10.1017/9781108973236).
- Social protection at the crossroads –in pursuit of a better future (2021): World Social Protection report. 2020–2022 / ILO. — Geneva: ILO.
- What about seniors? A quick analysis of the situation of older persons in the labour market (2018). — Geneva: ILO.
- Whitehouse R., Whiteford P. (2006). Pension challenges and pension reforms in OECD countries // *Oxford Review of economic policy*. Vol. 22. No.1. Pp.78-94 www.researchgate.net/publication/5216321_Pension_Challenges_and_Pension_Reforms_in_OECD_Countries (дата обращения: 05.04.2022).
- Williams G., Cylus J., Roubal T., Ong P., Barber S. (2019). Sustainable health financing with an ageing population. — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Zaidy A., Gasior K., Hofmarcher M. M., Lelkes O., Marin B., Rodrigues R., Schmidt A., Vanhuysse P., Zolyomi E. (2013). Active ageing index. Concept, methodology and final results: Methodology report. — Vienna: European Center.
- Zaninotto P., Batty G.D., Stenholm S. (2020). Socioeconomic inequalities in disability-free life expectancy in old people from England and the United States: a cross-national population-based study // *The journals of gerontology: Series A*. No. 75(5). Pp. 906–913.

Шестакова Елена Евгеньевна

eeshetakowa@gmail.com

Elena Shestakova

PhD(economics), Leading Researcher of the Institute of economics of Russia Academy of Sciences (Moscow)

eeshetakowa@gmail.com

POPULATION AGEING AND CHANGES IN SOCIAL POLICY IN THE DEVELOPED COUNTRIES

Abstract. Changes in the age structure of the population, and increase in the proportion of elderly citizens in relation to the workforce part of society, affect, to one degree or another, most countries with different levels of socio-economic development. Currently the group of old countries (with a share of the population 65 years and older above 14%) includes 54 states, ageing (the share of people over 65 years in the range of 7-14%) 42 countries, by 2050, 111 states will already be in the first group, 36 in the second (87% of the world population). The scale and speed of these processes form serious concerns about the accelerated growth of the races of society and the state to support the elderly population. The article deals with the issues of taking into account the growth of life expectancy during the reform of pension systems, the complexity of combining the tasks of ensuring sustainability of systems, adequate pensions and generational equality. The article analyzed trends in the cost of medical care and especially for long-term care, which for many elderly people and their relatives becomes unbearable burden without significant financial assistance from the state, as well as issues of expanding support and ensuring safety throughout life as a necessary condition for active ageing.

Keywords: *pension systems, human capital, life expectancy, active ageing, long-term care.*

JEL: H51, H55, I38, J18.

REFERENCES

- Active ageing index* (2019): Analytical report / UNECE.
- Corselli-Nordblad L., Strandell H. (2020). *Ageing Europe. Looking at the lives of older people in the EU*. Eurostat. — Luxembourg: Publication office of European Union.
- Cylus J., Figuera J., Normand Ch. (2019). *Will population ageing spell the end of the welfare state? A review of evidence and policy option*. — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Cylus J., Williams G., Normand Ch., Figueras J. (2020). Economic, fiscal and societal consequences of population ageing-looming catastrophe or fake news? // *Croat Med*. No. 61. <https://doi.org/10.3325/cmj.2020.61.189>. Access date: 05.04.2022.
- Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019–2070)* (2021): The 2021 Ageing Report. // *Institutional paper*. No. 148. — Luxembourg: Publishing office of the European Union.
- Fouejien A., Kangur A., Martinez S.-R., Soto M. (2021). Pension reforms in Europa. How far have we come and gone? // *IMF* 2021/016.

- Fuller G.W. Johnston A., Regan A. (2020). Housing prices and wealth inequality in Western Europe // *West European Politics*. No. 43(2). Pp. 297–320. <http://DOI:10.1080/01402382.2018.1561054> (дата обращения: 05.04.2022).
- Harasty C., Ostermeier M. (2020). Population ageing: alternative measures of dependency and implications for the future of work // *ILO Working paper*. No. 5. — Geneva: ILO.
- Hashiguchi T., Elena-Nozal A. (2020). The effectiveness of social protection for long-term care in old-age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs? // *OECD Health working papers*. №117.
- Ilince S., Rodrigues R., Schulman K. (2018). From disability rights- based approach to long-term care in Europe: Building an index of rights-based policies for older people // *Working paper II: Conceptual framework for a human rights approach to care and support for older individuals*. — Vienna: European Center for social welfare policy and research.
- Linch J. (2006). *Age in the Welfare State: The Origins of Social Spending on Pensions, Workers and Children*. — Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606922>.
- Long-term care report. Trends, challenges and opportunities in an ageing society*. Vol 1. (2021). Joint report prepared by the Social Protection Committee and the European Commission. — Brussels: European Commission.
- Mueller M., Bourke E., Morgan D. (2020). *Assessing the comparability of long-term care spending estimates under the joint health accounts questionnaire*. — Paris: OECD Publishing.
- Normand Ch., May P., Johnston B., Cylus J. (2021). *Health and social care near the end of life. Can policies reduce costs and improve outcomes?* — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Olshansky S., et al. (1991). Trading off of longer life for worsening health: the expansion of morbidity hypothesis. // *Journal of Ageing and Health*. № 3(2). Pp. 194–216.
- Pension adequacy report, vol.1* (2021). *Current and future income adequacy in old age in the EU. Joint report prepared by the Social Protection Committee (SPT) and the European Commission*. <http://dx.doi.org/10.2767/013455k> (access date: 05.04.2022).
- Pension at a glance 2021. OECD and G20 indicators* (2021): OECD — Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en> (access date: 05.04.2022).
- Public and Private Sector Relationships in long-term care and healthcare insurance* (2021): OECD — Paris: OECD Publishing.
- Rechel B., Jagger C., McKee M. (2020). *Living longer, but in better or worse health?* — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Robine J.-M., Saito Y., Jagger C. (2001). The relationship between longevity and healthy life expectancy // *Quality in ageing*. No. 10(2). Pp. 5–14.
- Scott L., Lynch J., Reeves A., Falkenbach M., Gringrich J., Cylus J., Bambra C. (2021). *Ageing and health. The politics of better politics*. — Cambridge: Cambridge University Press. <https://DOI:10.1017/9781108973236>.
- Social protection at the crossroads –in pursuit of a better future* (2021): World Social Protection report. 2020–2022 / ILO. — Geneva: ILO.
- What about seniors? A quick analysis of the situation of older persons in the labour market* (2018). — Geneva: ILO.
- Whitehouse R., Whiteford P. (2006). Pension challenges and pension reforms in OECD countries // *Oxford Review of economic policy*. Vol. 22. No.1. Pp.78-94 www.researchgate.net/publication/5216321_Pension_Challenges_and_Pension_Reforms_in_OECD_Countries (access date: 05.04.2022).
- Williams G., Cylus J., Roubal T., Ong P., Barber S. (2019). *Sustainable health financing with an ageing population*. — Copenhagen: WHO Regional office for Europe.
- Zaidy A., Gasiorek K., Hofmarcher M.M., Lelkes O., Marin B., Rodrigues R., Schmidt A., Vanhuysse P., Zolyomi E. (2013). *Active ageing index. Concept, methodology and final results: Methodology report*. — Vienna: European Center.
- Zaninotto P., Batty G.D., Stenholm S. (2020). Socioeconomic inequalities in disability-free life expectancy in old people from England and the United States: a cross-national population-based study // *The journals of gerontology: Series A*. No. 75(5). Pp. 906–913.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Я. Рубинштейн

*д.филос.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
Институт экономики РАН (Москва)*

К ВОПРОСУ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В настоящей работе представлены результаты теоретико-методологического исследования культурной активности на примере построения типологии театральной публики. Главный акцент сделан на теоретическом анализе и обосновании нового подхода к решению ряда методологических проблем исследования культурной активности населения. Автор исходит из того, что построение типологии публики организаций культуры должно опираться на историческую парадигму, ибо культурный капитал и опыт потребления культурных благ формировались, развивались и накапливались в течение всей предыдущей жизни людей в разных социальных, политических и экономических условиях, определивших габитус и художественные предпочтения зрителей. Ключевые положения предлагаемого подхода: а) выделение различных типов публики должно опираться не на количественные индикаторы посещаемости, а на качественные характеристики публики с учетом их зрительского опыта и накопленного культурного капитала; б) не существует какого-то одного наблюдаемого признака, в соответствии с которым можно было бы выделить разные типы публики; в) каждому участнику опроса в определенной степени присущи черты всех типов зрителей, отличия между респондентами, принадлежащими одному типу, проявляются в разной значимости исходных критериев. В статье представлена и содержательно обоснована оригинальная типология театральной аудитории, выделяющая три ее сегмента – «новая публика», «массовый зритель», «театралы». Особое внимание уделено обработке больших массивов данных социологического опроса и представлена оригинальная модель, основанная на комбинации методов многомерного статистического анализа – Метода главных компонент (PCM) и «Multiway data analysis» (MWA), позволяющая определить композитные индексы, характеризующие соответствующие типы публики, и вычислить структуру аудитории театра.

Ключевые слова: *теория, методология, социологическое исследование, культурный капитал, зрительский опыт, типология публики.*

JEL: A14, C15, Z1, Z13.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_77_91.

Введение

После многочисленных полевых социологических исследований культурной активности населения в различных городах страны, выполненных Государственным институтом искусствознания в течение последних тридцати лет¹, в 2019 г. был проведен Первый всероссийский социологический опрос театральных зрителей, в котором приняли участие около 11 тыс. респондентов. Это исследование охватило все субъекты Российской Федерации, около 200 городов, где функционируют более 600 стационарных театров. Данный опрос проводился в Интернет-среде посредством размещения специально разработанной социологической анкеты на Сайтах региональных отделений Союза театральных деятелей, специальных Сайтах продажи театральных билетов и собственных Сайтах театров в период со 2 апреля по 30 мая 2019 г.

Его результаты позволили выявить ряд тенденций в меняющихся условиях культурной активности населения страны и поведения публики организаций исполнительских искусств². Но, возможно, главное относится к критическому осмыслению используемой методологии и выводу о необходимости создания нового подхода, ориентированного на целенаправленное исследование культурной активности населения и аудитории театральной публики.

Темой данной статьи является обсуждение теоретико-методологических аспектов выделения разных *типов* публики на примере театральных зрителей, методов их количественного определения и измерения структуры аудитории театра, а также анализ особенностей влияния каждого типа зрителей на общую театральную активность. Особое место в работе занимает описание техники обработки эмпирических данных на основе созданной модели, включающей комбинацию Метода главных компонент (PCM) и обобщения факторного анализа для многомерных пространств — «Multiway data analysis» (MWA).

Теоретические предпосылки

Активность публики определяют обычно посредством индикаторов посещаемости, зрительских предпочтений и восприятия художественных произведений, используя для измерения указанных характеристик различные методы, включая попытки определить размер и составные части аудитории, связанные с соответствующими типами зрителей. Причём те немногие эмпирические исследования, которые представлены в современной литературе, по мнению Т. Кац-Герро, свидетельствуют, что социальные, политические и экономические особенности жизни людей в различных странах, а также временные периоды социологических наблюдений достаточно сильно влияют на оценки зрительских предпочтений и на результаты изучения взаимосвязей между индивидуальными характеристиками и культурной активностью [Katz-Gerro, 2002].

В этом смысле представляет специальный интерес межстрановой анализ результатов опросов в двенадцати странах, выполненный Ф. Кирхбергом и Р. Кучаром, которые показали, что различия теоретико-методологического характера не позволяют сделать обобщающие выводы, особенно в отношении таких аспектов культурной деятельности, как структура аудитории. Этот тезис они распространяют и в отношении разных видов культурных благ [Kirchberg, Kuchar, 2014]. Иначе говоря, приступая к исследованию куль-

¹ Обзоры таких исследований представлены в ряде монографий: [Фохт-Бабушкин. 2001; Рынок культурных услуг (2002); Культура на рубеже..., 2009]. См. также [Ушкарев, 2019].

² Результаты указанного исследования стали предметом обсуждения на Театральном форуме 2019 г. и ряде научных конференций, а также представлены в [Рубинштейн, 2019].

турной активности, надо иметь в виду ограниченные возможности использования уже известных результатов, полученных как в других странах, так и по отношению к иным видам искусства, к примеру – к музыке и изобразительному искусству³.

В целом же культурную активность и зрительский спрос (**D**) следует рассматривать в качестве некоторой функции $D = f(I, T, E)$, аргументами которой являются уровень доходов индивидуума (**I**), объем его свободного времени (**T**), а также культурный опыт (**E**) и связанная с ним система предпочтений. Иначе говоря, можно предполагать, что люди с большими доходами, свободным временем и культурным опытом, предъявляют более высокий спрос, нежели потребители культурных благ, не обладающие аналогичными ресурсами. С учётом этого и в качестве примера рассмотрим более подробно аудиторию театра и самих зрителей, которых также можно различать по шкале их театрального опыта и системы предпочтений.

Театральная аудитория

Как свидетельствует ряд исследований, размер аудитории российского театра можно оценить в интервале от 8 до 14% от зрителеспособного населения⁴. Но надо иметь в виду, что это лишь средние цифры, уравнивающие публику театра: тех, кто посещают театры очень редко, и тех, кто являются его регулярными зрителями, случайную публику и продвинутых театралов с развитым художественным вкусом.

В одном из первых исследований театра была определена количественная структура его аудитории с выделением редкой и постоянной публики, а также театралов, посещающих театры соответственно 1–2 раза, 3–5 раз, 6 и более раз за сезон [Дадамян, 1974; Дадамян, 1979]. Выполненные в тот период расчеты показали, что доля редких зрителей составляла около половины аудитории, удельный вес постоянных зрителей — чуть больше трети, а доля театралов — приблизительно десятую часть.

В более поздних исследованиях Института искусствознания была предпринята попытка определить качественную структуру театральной аудитории, дифференцирующую публику уже не по частоте посещаемости театра, а по содержательным критериям — театральному опыту и уровню подготовленности зрителей [Рубинштейн, Гедовиус, Скоморохова, 1998]. Расчеты показали, что удельный вес «продвинутых театралов» в аудитории театров не превышал 5–6%, а доля зрителей со средним уровнем подготовленности, как и доля неподготовленных зрителей, были близки соответствующим характеристикам аудитории, предложенной Г. Дадамяном. При этом работы последних лет [Рубинштейн, 2019; Ушкарев, 2019], рассматривающие другие особенности публики, демонстрируют привычную склонность российских авторов использовать *частотный признак* дифференциации зрителей.

Следует отметить также, что в исследованиях культурной активности нельзя упускать из виду ее важные особенности, отличающие потребителей культурных благ от потребителей «обычных» товаров и услуг. Не раз отмечалось, в частности, что потребление культурных благ требует больших затрат времени [Becker, 1965] и, главное, потребность в них существенно зависит от накопленного в прошлые годы культурного опыта, кото-

³ В данном контексте назову два исследования: публики музыкального фестиваля «Моцарт марафон» [Рубинштейн, 2014] и посетителей Третьяковской галереи [Ушкарев, 2017], результаты которых лишь в самой малой степени можно распространить на другие виды культурной деятельности.

⁴ Речь идет о социологических опросах прошлых лет [Дадамян, 1982; Нейгольдберг, 1993; Фохт-Бабушкин, 2001] и сравнительно недавних исследованиях, проводимых Государственным институтом искусствознания и СТД РФ [Рубинштейн, 2019; Ушкарев, 2019], а также о работах НИУ Высшей школы экономики [Капелюшников, Демина, 2021].

рый связывают обычно с культурным капиталом [Stigler, Becker, 1977]. Подтверждают это и современные российские исследователи, отмечающие, что накопление культурного капитала повышает «производительность» (искущённость) зрителей или слушателей, непрерывно подталкивая их спрос на культурные блага вверх» [Капелюшников, Демина, 2021. С. 45]⁵. Иначе говоря, есть веские основания утверждать, что важнейшей характеристикой культурной активности является накопленный за предыдущие годы зрительский опыт.

Зрительский опыт или культурный капитал? Я исхожу из того, что это разные понятия. Но начинать, наверное, надо с того, что словосочетанию «культурный капитал», тиражированному во многих работах, присваивается разное содержание, зачастую далекое от базовой категории — «человеческий капитал» (*Human Capital*)⁶. Мне трудно согласиться с некоторыми исследователями, которые объясняют это понятие, используя трудовую теорию стоимости, согласно которой «капитал — это самовоспроизводящаяся стоимость, которая включена в непрерывный процесс кругооборота» [Радаев, 2002. С. 21]. Думаю, более реалистично опираться не на марксистскую традицию, а на фактические причины признания экономистами данной категории.

Толчком к этому послужили расчеты экономического роста ряда стран, отличавшиеся от результатов, полученных на основе производственной функции с классическими факторами производства, что, собственно, и обусловило введение человеческого капитала в саму модель производственной функции [Mankiw, Romer, Weil, 1990]. Постепенно он занял центральное место в современной теории экономического роста и развития общества. Что же касается измерений человеческого капитала применительно к отдельным индивидуумам, то большинство исследователей используют такие параметры, как пол, возраст, образование, доход, социальный статус. При этом образование, как правило, признаётся доминирующей характеристикой человеческого капитала.

Именно эту характеристику ряд специалистов рассматривает в качестве своего рода «моста» между экономическими аспектами человеческого капитала — вклада в рост «экономического благополучия», и его внеэкономической отдачей — в самом общем виде, изменением мировоззрения людей [Seaman, 2006]. Развитие теории человеческого капитала с его интерпретацией, связанной с процессами воспитания, образования, получения знаний, приобщения к ценностям культуры и искусства, другими его составляющими, выходящими за пределы экономики, привели к разделению неоднородного человеческого капитала на его разные виды, включая социальный и культурный капитал.

Понятие «культурный капитал», предложенное Пьером Бурдьё, включает, как известно, три его состояния: *embodied state* (в форме усвоенных культурных ценностей)⁷ — знания и вкусы человека; *objectified state* (объективированное) — предметы культуры, окружающие человека; *institutionalized state* (институционализированная) — дипломы, сертификаты, патенты, подтверждающие его квалификацию [Bourdieu, 2011]. И, хотя все формы накопленного культурного капитала в очень большой степени обуславливают культурную

⁵ Вслед за Р. Капелюшниковым и Н. Деминой, я буду пользоваться следующим определением: «под культурным капиталом понимается имеющийся у индивидов запас способностей, знаний и навыков, помогающий им получать удовлетворение при пользовании культурными благами (извлекать из них “полезность”» [Капелюшников, Демина, 2021. С. 44]. Отмечу, что эта дефиниция отличается от понятия «культурный капитал», введенного Пьером Бурдьё [Bourdieu, 1986; Бурдьё, 2002. С. 5].

⁶ Этот термин был введен в научный оборот одним из разработчиков современной экономики труда, американским экономистом Якобом Минсером [Mincer, 1958]. Несколькими годами позже будущие нобелевские лауреаты Теодор Шульц и Гэри Беккер стали создателями классической теории человеческого капитала [Becker, 1964; Shultz, 1968].

⁷ В отечественной литературе словосочетание «*embodied state*» чаще переводится как «инкорпорированная форма». Мне кажется, что такой перевод не очень согласуется с русским языком: вряд ли можно сказать, что «человек инкорпорировал знания». Возможно, больше подходит состояние капитала в форме «усвоенных культурных ценностей».

активность, всё же доминирующая роль, на мой взгляд, принадлежит «усвоенным культурным ценностям» в процессе воспитания и образования человека, его взаимодействия с внешней средой — социальными и экономическими условиями его жизни, а также непосредственным контактам с искусством театра, сформировавшими его зрительский опыт.

В этом контексте, отвечая на поставленный выше вопрос, подчеркну: зрительский опыт является только частью культурного капитала. И хотя нетрудно предположить, что он коррелирует с этическими и эстетическими ценностями, усвоенными в процессе воспитания и образования, а также со знаниями и условиями жизни человека, все же измерение только зрительского опыта не может обеспечить адекватного объяснения культурной активности и, главное, наличие разных типов зрителей, размера и структуры их аудитории. Надо полагать, что не только зрительский опыт дифференцирует публику современного театра. Не подвергая сомнению значение зрительского опыта, хочу обратить внимание и на другой фактор.

О новом подходе

Речь идет о ценностных ориентациях, нормах культурного поведения и театральных пристрастиях, которые формировались у зрителей в различное историческое время с характерными для соответствующих периодов социальными, политическими и экономическими условиями жизни. Учитывая нелинейный характер исторического развития российского общества в послевоенное время, с его короткими волнами демократизации и периодами стагнации, можно предполагать, что аудитория современного театра представлена разными группами зрителей, для которых характерны далеко не одинаковые условия формирования их *габитуса* [Bourdieu, 1997; Бурдьё, 1998], а также различный театральный опыт и не только по длительности общения с театром.

Анализируя результаты исследований прошлых лет, а речь идет о полувековом периоде изучения театральной публики, следует обратить внимание на одну примечательную особенность формирования зрительского опыта, оказавшуюся (пока?) вне поля зрения театральных социологов. Я имею в виду радикальные перемены в жизни людей, связанные не только с изменениями общественного устройства и экономики страны, но и с демографической динамикой, с появлением новых поколений зрителей, воспитанных уже в совершенно других условиях, с другими ценностями и ментальностью, в принципиально иной коммуникационной среде с ее ключевым словом Интернет, с появлением и развитием социальных сетей.

Не продолжая этот перечень, выскажу простую мысль. В таких условиях менялся не только театр, который всегда отзывается на подобного рода изменения жизни, менялись и его зрители. С учетом этого, очень грубо, исключительно для целей исследования театральной аудитории, можно выделить три особых периода нашей неровной послевоенной истории.

Речь идет о периоде политической весны — «хрущевской оттепели» (1953-1964), относительной либерализации политической и общественной жизни, некоторой свободы слова, оказавшей мощное воздействие на литературу и искусство, непосредственно на театр с появлением новой драматургии и новой режиссуры, которые вплоть до конца периода брежневского застоя формировали мировоззрение и вкусы театральных зрителей. Надо выделить и другой период демократизации общества — «горбачевской перестройки (1985-1991) с ее «гласностью», публичными свободами и позитивными ожиданиями начавшихся перемен в жизни людей, придавшими дополнительную энергию развитию литературы и театрального искусства во всех его формах. Отдельного рассмотрения требует и постперестроечный период истории с постепенной утратой демократических институтов и публичных свобод,

с их замещением условными свободами, связанными с информационной революцией и развитием Интернета, оказывающих радикальное влияние на людей, рождённых в последнее десятилетие прошлого века, и непосредственно на их культурную активность.

Если с этих позиций взглянуть на аудиторию современного театра, то в самом первом приближении можно выделить три типа зрителей. Во-первых, ту часть публики, которая получила «прививку» двух периодов либерализации — «оттепели» и «перестройки», внёсших вклад в формирование их габитуса и определивших устойчивые предпочтения таких зрителей. Во-вторых, нужно выделить группу новых зрителей, период формирования которых проходил уже в послегорбачевское время демократической осени и зимы, когда их «университетами» стали Интернет и социальные сети, где они обрели *другие свободы* и другие пристрастия, в том числе и свой театральный вкус.

В-третьих, нетрудно понять что, кроме указанных двух сегментов публики, в аудитории современного театра присутствует ее «срединная часть», представляющая наиболее массовый тип зрителей, так называемую ординарную публику, для которой критериальные характеристики первых двух групп не являются определяющими. При этом массовый зритель в моем понимании — это одновременно и наибольшая по численности часть любителей театрального искусства, которые в силу самых разных причин, более «всеядны», нежели первая группа зрителей, и менее ориентированы на Интернетные возможности и всякого рода цифровые новшества.

Позволю себе повторить известные слова Дугласа Норта: «История имеет значение» [Норт, 1997]. Полагаю, что именно историческая парадигма должна определять новый подход к исследованию аудитории современного театра, ибо театральные опыт и культурный капитал современной публики формировались, развивались и накапливались в течение всей предыдущей жизни зрителей, представляющих различные поколения людей и, очевидно, с неодинаковым габитусом.

Мне неизвестны исследования, в которых бы изучалось влияние различных периодов формирования ценностных ориентаций и ментальности людей на их культурное поведение и художественные предпочтения в более поздние времена. И у меня нет оснований думать, что наука обладает знанием особенностей трансформации сформированного габитуса людей в периоды либерализации общественного устройства в театральные опыт. Поэтому можно только предполагать и выдвигать гипотезы в отношении таких связей.

Моим главным предположением является гипотеза о возможности дифференциации театральной аудитории с учетом отмеченных выше характеристик на три основных типа зрителей: «новая публика», «массовый зритель» и «театралы»⁸. Однако одной этой гипотезы явно недостаточно. Опираясь на исторический подход, важно понять, чем отличаются друг от друга разные типы зрителей, что между ними общего и особенного, и, главное, какие характеристики являются наиболее значимыми критериями принадлежности тех или иных зрителей к соответствующим сегментам публики современного театра.

Методологические особенности

Исторический подход тесно связан с упоминавшейся теорией человеческого капитала, согласно которой, чем выше уровень потребления культурных благ, тем большим становится накопленный культурный капитал и больше удовлетворения начинает полу-

⁸ В данной работе «театралами» назван особый тип зрителей, обладающих большим театральным опытом и накопленным культурным капиталом. И, хотя такая категория зрителей в прежних исследованиях выделялась на основе количественного критерия посещаемости, я хочу сохранить литературную традицию российского театроведения, в соответствии с которой театралами называют наиболее искушённую часть любителей сценического искусства вне зависимости от метода ее определения.

чать человек от этих благ [Stigler, Becker, 1977]. Понятно, что в этом случае «связь между возрастом и потреблением этих благ будет строго положительной: чем старше человек, тем при прочих равных условиях выше его активность в сфере культуры» [Капелюшников, Демина, 2021. С. 45]. Эти же авторы приводят результат английских исследователей, установивших, что «активность потребления культурных благ непрерывно повышается до достижения возрастной планки 70 лет и лишь затем начинает затухать» [Капелюшников, Демина, 2021. С. 46].

Характеристики публики

Вместе с тем было бы явным заблуждением думать, что типологию зрителей можно определить, исходя лишь из различий в их возрасте. Вряд ли, например, имеет смысл предполагать, что люди одной возрастной когорты представляют одинаковый тип зрителей. Очевидно также, что существуют другие критерии, которые обуславливают различия между зрителями. И здесь опять-таки нужны разумные предположения, связанные с особенностями театрального поведения различных типов зрителей, которые можно было бы проверить, получив ответы в процессе социологического опроса.

С учётом этого в социологическую анкету имеет смысл включить вопросы, связанные с попытками выделения различных типов зрителей и вычисления структуры аудитории театра, определённой не на основе частотного принципа, а исходя из качественных характеристик зрителей с учётом их театрального опыта и накопленного культурного капитала. Приведу ряд примеров.

Начну с группы из трех вопросов: а) «Укажите, пожалуйста, год Вашего рождения»; б) «В каком возрасте Вы стали посещать театр регулярно? (в возрасте до 16 лет; 16–24 года; 25–34 года; 35 лет и старше; затрудняюсь ответить)»; с) «Укажите, пожалуйста, авторов или их пьесы, которые Вам удалось посмотреть в театре в прошлые времена» (галочки в клетках анкеты).

...	Арбузов А. Н.	<i>Иркутская история</i>
	Арро В. К.	<i>Смотрите, кто пришел!</i>
V	Вампилов А. В.	<i>Утиная охота</i>
	Володин А. М.	<i>Моя старшая сестра</i>
	Гельман А. И.	<i>Мы, нижеподписавшиеся</i>
	Гришковец Е. В.	<i>Как я съел собаку</i>
	Зорин Л. Г.	<i>Покровские ворота</i>
	Коляда Н. В.	<i>Мурлин Мурло</i>
	Петрушевская Л. С.	<i>Московский хор</i>
	Розов В. С.	<i>Традиционный сбор</i>
	Роцин М. М.	<i>Старый Новый год</i>
	Шатров М. Ф.	<i>Так победим!</i>

Ответы на эти вопросы позволяют, во-первых, создать шкалу длительности театрального опыта и измерить один из критериев принадлежности респондентов к группе зрителей с наибольшим театральным опытом; во-вторых, идентифицировать респондентов, чей зрительский опыт формировался в периоды от оттепели до перестройки, а также в постперестроечное время, в эпоху Интернета и социальных сетей; в-третьих, выяснить на какой эстетической базе формировались вкусы публики в разное историческое время⁹.

Назову еще одну группу вопросов: а) «Укажите, пожалуйста, год Вашего рождения»; б) «Смотрите ли Вы трансляции театральных спектаклей в Интернете? (*да, нет, затрудняюсь ответить*)»; с) «Подписаны ли Вы на страницы выбранного Вами театра в социальных сетях? (*да, нет*)». Соотношение ответов на эти вопросы обеспечивает выделение одного из признаков принадлежности респондентов к группе новых зрителей, родившихся в постперестроечное время, культурный капитал которых формировался в условиях цифровой революции.

О типологии театральных зрителей

Существуют и другие анкетные вопросы, ответы на которые дают информацию о личностных качествах зрителей, их театральном опыте и накопленном культурном капитале, а также о некоторых общих параметрах театральной активности, характеризующих с разных сторон процессы взаимодействия театра и его публики с учётом внешней среды, обуславливающей эти процессы. При этом к ключевому принципу построения типологии театральных зрителей я отношу положение о том, что не существует какого-то одного наблюдаемого признака, в соответствии с которым можно было бы выделить разные типы зрителей.

С учётом этого и, исходя из подхода, изложенного в предыдущем разделе работы, следует сформировать определённые наборы критериальных признаков, которые представляются наиболее адекватными трём группам театральных зрителей и, что особенно важно, отражающими принципиальные отличия между «новой публикой», «массовым зрителем» и «театралами».

Сделаю еще одно замечание в отношении метода определения респондентов, принадлежащих тому или иному типу зрителей. В отличие от традиционного способа выделения из общего массива респондентов их части, удовлетворяющих некоторому интегральному признаку, построенному на основе стандартной процедуры логического объединения исходных критериев, в данной работе предлагается принципиально иная методология. Её главное отличие заключается в замещении логической процедуры построения интегрального признака статистическим методом, позволяющим вычислить вес каждого критерия в композитном признаке соответствующего типа зрителей и, что особенно важно, определить значение этого признака для каждого респондента¹⁰. Воспользовавшись указанными соображениями и возможными ответами на вопросы анкеты можно составить так называемую «типологическую карту» (табл. 1).

⁹ Здесь представлен примерный список пьес и их авторов, который может быть изменен в соответствии с интересами и пристрастиями исследователя.

¹⁰ Методология построения композитных признаков (факторов) представлена в нескольких работах последних лет [Бураков, 2021а, Бураков, 2021б].

Таблица 1

Критериальные признаки: типологическая карта*

ВОПРОСЫ	Типы зрителей		
	V ₁	V ₂	V ₃
	НОВАЯ ПУБЛИКА	МАССОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ	ТЕАТРАЛЫ
ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА			
1. Младше 35 лет	Голубой	Серый	Зеленый
2. 35–60 лет	Серый	Серый	Голубой
3. Старше 60 лет	Серый	Серый	Голубой
ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА			
1. В возрасте до 16 лет	Серый	Серый	Голубой
2. 16–24 года	Серый	Серый	Голубой
3. 25–34 года	Серый	Серый	Голубой
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ			
ВЫБОР СПЕКТАКЛЯ			
1. Премьера	Серый	Голубой	Голубой
2. Участие популярных актеров	Серый	Голубой	Голубой
3. Постановка известного режиссера	Серый	Голубой	Голубой
4. Инновационные сценические технологии	Голубой	Голубой	Серый
ПРОСМОТРЫ СПЕКТАКЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ	Голубой	Серый	Серый
ПОДПИСЧИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	Голубой	Серый	Серый
ИНТЕРЕС К НЕЗАВИСИМЫМ ТЕАТРАМ	Голубой	Голубой	Серый
АВТОРЫ И ПЬЕСЫ ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ			
1. Видел в театре более половины списка	Зеленый	Голубой	Голубой
2. Видел в театре менее половины списка	Серый	Голубой	Зеленый
ЕСТЬ ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ	Серый	Голубой	Голубой
ЕСТЬ ЛЮБИМЫЕ РЕЖИССЕРЫ	Серый	Голубой	Голубой
ЧТЕНИЕ ПЬЕС И ЛИТЕРАТУРЫ О ТЕАТРЕ	Серый	Голубой	Голубой
ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА В КРУГУ ЛЮДЕЙ С БЛИЗКИМИ ВКУСАМИ			
1. Важно	Серый	Серый	Голубой
2. Не важно	Серый	Серый	Зеленый

* Голубым цветом обозначены положительные ответы на критериальные вопросы, зеленым цветом — отрицательные ответы, и серым цветом — ответы на не критериальные вопросы.

Информационная модель

Нетрудно предположить, что многие элементы набора критериальных признаков, описывающих соответствующий тип зрителей, между собой статистически связаны. Можно сформулировать и вполне стандартную гипотезу о том, что в этих статистических связях проявляются некие скрытые причины (латентные факторы), под влиянием которых меняются значения наблюдаемых индикаторов. Иначе говоря,

каждый из наблюдаемых признаков может быть представлен в виде линейной комбинации латентных факторов. Проверка этой важной гипотезы предполагает построение соответствующей модели, позволяющей выявить и измерить эти латентные факторы — композитные индексы.

С учетом теоретического анализа, представленного в первом разделе этой работы, категорию театрального опыта (*experience*) можно заменить на три фактора, соответствующих указанным типам театральных зрителей, в которых отражаются неодинаковый театральный опыт и накопленный культурный капитал, а также исторические и институциональные условия формирования их мировоззрения и зрительских предпочтений. Для осуществления такой замены нужно определить конкретные значения факторов F_1 , F_2 , F_3 для каждого респондента, участвующего в социологическом опросе. При решении данной задачи можно воспользоваться известной процедурой «сжатия информации» (*data compression*), когда предполагается, что вместо K -мерного вектора (набора наблюдаемых критериальных признаков) можно определить одну или несколько скалярных величин, содержащих примерно тот же самый объем исходной информации.

Факторный анализ. Надо сказать, что указанная гипотеза соответствует предпосылкам нескольких методик многомерного статистического анализа и, в частности, широко применяемого метода главных компонент (*Principal components method*), где для нахождения латентных факторов используется еще одно условие, симметричное основной гипотезе. Речь идет о том, что искомые компоненты (латентные факторы) также должны определяться в виде линейных комбинаций, но уже наблюдаемых показателей. Основное назначение метода главных компонент заключается в сокращении числа исходных показателей при сохранении максимального количества информации. Эта цель достигается в результате преобразования наблюдаемых показателей с помощью наборов весов в новые независимые переменные, которые называются главными компонентами.

Следует отметить, что «Метод главных компонент» (PCM) практически не имеет ограничений в использовании для решения задачи снижения размерности исходных наборов показателей и построения существенно меньшего числа компонент. При этом не требуется выполнения даже условия нормальности распределения исходных показателей. Вместе с тем указанный метод, как известно, весьма чувствителен к единицам измерения исходных данных. Использование наблюдаемых индикаторов, измеряемых в разных единицах, создаёт риски получения ошибочных результатов с неоправданно завышенными весами отдельных показателей. Поэтому стандартная процедура PCM использует нормирование наблюдаемых показателей и предполагает, что все значения каждого показателя должны быть разделены на его стандартное отклонение.

Рассмотрим теперь совокупность участников социологического опроса и наборы критериальных признаков, соответствующих предложенной «типологической карте» (см. табл. 1). В качестве примера ограничусь анализом одного набора критериальных признаков, относящихся к m -му ($m \in [1, 3]$) типу публики. Массив таких данных может быть организован в виде двумерной матрицы $V^m\{v_{ij}^m\}$, где респонденты представлены i строками ($i \in [1, N]$), а критериальные признаки j столбцами ($j \in [1, K]$). Метод главных компонент позволяет сжать информацию, содержащуюся в указанной матрице V^m , до вектора $F^m(f_i)$ размерности, равной количеству наблюдений (респондентов). Стандартное решение в этом случае заключается в определении весов $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \dots, \lambda_K^m$, которые обеспечивают максимум дисперсии линейной комбинации столбцов матрицы V^m .

Представлю и новации в методологии использования метода главных компонент. Речь идет о построении информационной модели, включающей комбинацию Метода главных

компонент (PCM) и «Multiway data analysis» (MWA)¹¹, являющегося обобщением факторного анализа для многомерных пространств. Допустим, что в результате применения метода главных компонент для заданного набора признаков $X^m = (X_j^m)$, где $j \in [1, K]$, найден набор весов этих показателей $\lambda^m = (\lambda_j^m)$ для компоненты F^m , удовлетворяющий условию:

$$F^m = \lambda_1^m X_1^m + \lambda_2^m X_2^m + \dots + \lambda_K^m X_K^m \quad (1)$$

В этом случае расчёты и содержательную интерпретацию полученной компоненты (1) можно разбить на несколько итераций.

Первый шаг. При выборе процедуры «Снижение размерности» (Факторный анализ) в пакете программ «IBM SPSS Statistics» используется опция «не выводить коэффициенты с низкими значениями» и устанавливается в качестве начального приближения порог: $\lambda_j^m > \Delta^m_1$. В этом случае показатели с весом λ_j^m меньше порогового значения Δ^m_1 рассматриваются в качестве «информационного шума» и удаляются из исходного набора критериев, определяющих анализируемый фактор F^m . Таким образом, без существенных информационных потерь будет получен сокращённый набор показателей $X^m_1 = (X_j^m)$, где 1 – номер первой итерации, $j \in [1, K^m_1]$ и $K^m_1 < K^m$. При этом в результате сокращения числа показателей, характеризующих данную компоненту, доля дисперсии, объясняемой этой компонентой, возрастает. Удаление показателей «информационного шума» отражает процесс увеличения информационной нагруженности оставшихся показателей, что позволяет на следующем шаге увеличить пороговое значения Δ .

Второй шаг. Расчет главной компоненты повторяется для увеличенного порогового значения $\Delta^m_2 > \Delta^m_1$ и сокращённого набора показателей $X^m_1 = (X_j^m)$, где $j \in [1, K^m_2]$. В результате таких расчётов будет получен новый набор показателей $X^m_2 = (X_j^m)$, где 2 – номер второй итерации, где $K^m_2 < K^m_1$. Итеративное использование в данной модели метода главных компонент позволяет без потерь информации выделить минимальный набор показателей, характеризующих данный тип публики. Сам же итеративный процесс продолжается до тех пор, пока набор показателей в двух последующих этапах не станет одинаковым, то есть выполнено следующее условие сходимости: $K^m_{s+1} = K^m_s$. Его итогом является определение минимальных наборов критериальных признаков для всех типов театральной публики: $X^m_s = (X_j^m)$, где $m \in [1, 3]$; $j \in [1, K^m_s]$; s – номер последней итерации. Вся процедура расчетов может быть повторена для разных (содержательно обоснованных) вариантов пороговых значений коэффициентов λ_j .

Заключительный шаг связан с использованием алгоритма MW-анализа применительно к трем наборам критериальных признаков $X^{ms} = (X_j^{ms})$ и направлен непосредственно на вычисление значений композитного индекса v^i_m для каждого i -го респондента. Результаты таких расчётов позволяют решить несколько задач. Во-первых, появляется возможность проанализировать распределение значений каждого из трех композитных индексов $V_1 = (v^i_1)$, $V_2 = (v^i_2)$, $V_3 = (v^i_3)$, характеризующих соответствующие типы зрителей, на всей совокупности респондентов. Во-вторых, сопоставление указанных распределений с кривой нормального распределения и выявление «выбросов» предоставляет дополнительную информацию для возможного ремонта выборки с целью повышения ее репрезентативности. В-третьих, повторное использование MWA, но уже применительно к трем композитным индексам V_1 , V_2 , V_3 позволяет определить долю каждого типа зрителей α_1 , α_2 , α_3 в совокупной аудитории театра ($\sum \alpha_i = 100\%$). Так может быть решена одна из поставленных задач, позволяющая выполнить весь дальнейший комплекс социологического исследования с учетом существующих отличий театральной активности разных типов зрителей V_1 , V_2 , V_3 .

¹¹ Настоящая модель, разработанная Н. Бураковым, продолжает серию эконометрических исследований, которые объединяет общая методология, применяемая к разным объектам: [Рубинштейн, Слуцкий, 2018; Бураков, Рубинштейн, 2020; Бураков, 2021а].

Моделирование театральной активности

Прежде всего имеет смысл проверить справедливость исходной гипотезы о различиях в типологии театральной публики, построенной с использованием содержательных критериев и основанной на частотном принципе. Для этого достаточно сравнить удельный вес каждого типа зрителей ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) с двумя вариантами структуры аудитории, рассчитанными на основе ответов респондентов на анкетные вопросы: а) «Как часто за последние пять лет Вы смотрели спектакли непосредственно в театре?» (1–2 раза, 3–5 раз, 6–9, 10 раз и более); б) «Как часто Вы хотели бы посещать театр?» (1–2 раза, 3–5 раз, 6–9, 10 раз и более).

Сравнение ответов на указанные вопросы позволяет не только проверить исходную гипотезу, но и выяснить ряд весьма интересных характеристик театральной публики. Во-первых, такое сравнение позволяет установить различия в структуре театральной аудитории между желаемой и фактической частотой посещения театров, причём как в целом по всему массиву респондентов, так и по отдельным типам зрителей. Во-вторых, установить, какая из этих двух структур аудитории (фактической и желаемой) оказывается ближе к типологии зрителей, построенной на основе содержательного принципа.

В дополнение к этому ответы на два других вопроса обеспечивают построение шкалы доступности театра и определить возможную частоту посещений в зависимости от денежных и временных ресурсов зрителя: а) «При Вашем уровне дохода и ценах на билеты какое число посещений театра для Вас недоступно?» (1–2 раза, 3–5 раз, 6–9, 10 раз и более); б) «При Вашей обычной занятости (работа, учеба, семья), какое число посещений театра для Вас недоступно?» (1–2 раза, 3–5 раз, 6–9, 10 раз и более). И в данном случае это можно сделать отдельно по каждому типу зрителей, установив тем самым различия в условиях театральной активности «новой публики», «массового зрителя» и «театралов», обладающих неодинаковыми материальными и временными ресурсами.

Естественное продолжение такого анализа обеспечивает ответы на следующие анкетные вопросы: а) «Удовлетворены ли Вы своим материальным положением?» (неудовлетворен; удовлетворен; затрудняюсь ответить); б) «Достаточно ли Вам свободного времени для культурного досуга?» (недостаточно, достаточно, затрудняюсь ответить). Ответы на эти вопросы позволяют оценить материальное положение разных типов зрителей и наличие у них достаточных временных ресурсов.

Сформулированная в первом разделе работы функция зрительского спроса $D = f(I, T, E)$ может быть определена на основе построения регрессионного уравнения театральной активности (частоты посещений) в зависимости от уровня доходов индивидуума (степени удовлетворенности своим материальным положением), объема его временных ресурсов (достаточность времени для досуга) и типа зрителей (V_1, V_2, V_3). В общем виде модель театральной активности может быть представлена следующим линейным уравнением:

$$D = b_0 + b_1 I + b_2 T + b_3 V_1 + b_4 V_2 + b_5 V_3 + \xi \quad (2)$$

где: D – частота посещений театра; I – показатель денежного ресурса зрителей; T – показатель временного ресурса зрителей; V_1, V_2, V_3 – композитные индексы, характеризующие «новых зрителей», «массового зрителя» и «театралов»; b_j – параметры модели; ξ – ошибка, распределение которой подчиняется нормальному закону с нулевым средним значением.

ЛИТЕРАТУРА

- Бураков Н.А. (2021a). Нематериальные активы и экономический рост в отрасли культуры // Вопросы теоретической экономики. №4. С. 92–104.
- Бураков Н. А. (2021b). Творческий потенциал театров в регионах России // Сцена. №2. С. 51–56.
- Бураков Н.А., Рубинштейн А.Я. (2020). Теоретические и прикладные аспекты измерения потенциалов экономического развития регионов России // Пространственная экономика. Т. 16. № 1. С. 24–50.
- Бурдые П. (1998). Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. I. № 2. С. 44–59.
- Бурдые П. (2002). Формы капитала // Экономическая социология. Т. 3. №5. С. 60–74.
- Дадамян Г.Г. (1974). Проблемы аудитории театров // Проблемы социологии театра. Сб. статей / Ред.-сост. канд. искусствоведения Н. Хренов. — М.: Б/и.
- Дадамян Г.Г. (1979). Аудитория театра: классификация и виды // Экономика и организация театра, Вып. 5. — Л.: ЛГИТМиК.
- Дадамян Г.Г. (1982). Социально-экономические проблемы театрального искусства. — М.: Всероссийское театральное общество.
- Капелюшников Р.И., Дёмина Н.В. (2021). Потребление культурных благ в России: масштабы, детерминанты, дифференциация // Экономическая социология. №2. С. 42–80.
- Нейгольдберг В.Я. (1993). Функционирование искусства в зеркале статистики. — М.: Наука.
- Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А. Н. Нестеренко. — М.: Фонд экономической книги «Начала».
- Культура на рубеже XX–XXI веков: глобализационные процессы (2009) / Отв. ред. Н.А. Хренов. — Санкт-Петербург: Нестор-История.
- Радаев В.В. (2002). Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. №3 (4). С. 20–32.
- Рубинштейн А.Я. (2014). Публика концертов «Моцарт Марафона»: опыт социологического исследования. — М.: Институт экономики РАН.
- Рубинштейн А.Я., Слуцкий Л.Н. (2018). «Multiway data analysis» и общая задача ранжирования журналов // Прикладная эконометрика. №50. С. 90–113.
- Рубинштейн А.Я. (2019). Театр, зритель и государство: 12 комментариев экономиста // Экономическая социология. Т. 20. № 5. С. 158–205.
- Рубинштейн А.Я., Скоморохова Н.А., Гедовиус Г.Г. (1998). Сегментация театрального рынка // Художественная жизнь современного общества. В 4-х т. Т. 3. Искусство в контексте социальной экономики / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. — СПб.: Дмитрий Буланин. С. 243–244.
- Рынок культурных услуг: публика театра 90-х годов (2002) / Отв. ред. Рубинштейн А.Я., Фохт-Бабушкин Ю.У. — СПб.: Алетейя.
- Ушкарев А.А. (2019). Аудитория искусства в социальных измерениях. — СПб.: Алетейя.
- Ушкарев А. (2017). Третьяковская галерея: детерминанты посещаемости // Обсерватория культуры. Т. 14. № 5. С. 558–568.
- Фохт-Бабушкин Ю.У. (2001). Искусство в жизни людей. Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX век. — СПб.: Алетейя.
- Ateca-Amestoy V. (2008). Determining Heterogeneous Behaviour for Theater Attendance // Journal of Cultural Economics. No. 32. Vol. 2. Pp. 127–151.
- Becker G. (1964). Human Capital. — N.Y.: Columbia University Press.
- Becker G. (1965). A Theory of the Allocation of Time // The Economic Journal. No. 75 Vol. 299. Pp. 493–517.
- Bourdieu P. (1977). Outline of a Theory of Practice. — N.Y.: Cambridge University Press.
- Bourdieu P. (1986). The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / Ed. J. Richardson. — Westport, Connecticut: Greenwood.
- Fernández-Blanco V., Prieto-Rodríguez J. (2000). Are Live Sports Substitute of Cultural Consumption? Some Evidence for the Spanish Case. Paper // Presented at the 11th Biennial Conference of the International Association for Cultural Economics. — Minneapolis.
- Katz-Gerro T. (2002). Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden, and the United States // Social Forces. No. 1. Vol. 81. Pp. 207–229.
- Kirchberg V., Kuchar R. (2014). States of Comparability: A Meta-Study of Representative Population Surveys and Studies on Cultural Consumption // Poetics. No. 43. Pp. 172–191.
- Lévy-Garboua L., Montmarquette C. (1996). A Microeconomic Study of Theater Demand // Journal of Cultural Economics. No. 1. Vol. 20. Pp. 25–50.
- Mankiw G., Romer D., Weil D. (1990). Contribution to the Empirics of Economic Growth. NBER Working paper. December, No. 3541.
- Mincer J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // Journal of Political Economy. No. 4. Vol. 66. Pp. 281–302.

- Seaman B.A. (2006). Empirical Studies of Demand for the Performing Arts / V. Ginsburgh, D. Throsby (eds.) // Handbook of the Economics of Art and Culture. Vol. 1. — Amsterdam: North Holland. Pp. 415–472.
- Shultz T. (1968). Human Capital // International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 6. — N.Y.: Macmillan.
- Stigler G., Becker G.S. (1977). «De Gustibus non est disputandum» // American Economic Review. No. 2. Vol. 67. Pp. 26–50.
- The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu (2018). / Ed. Th. Medvetz, J.J. Salla. — Oxford University Press.

Рубинштейн Александр Яковлевич
arubin@aha.ru

Alexander Rubinshtein

doctor habilitatus in philosophy, professor, head of department of the Institute of economics of the Russian Academy of sciences (Moscow)
arubin@aha.ru

TO THE ISSUE OF THEORY AND METHODOLOGY OF THE STUDY OF CULTURAL ACTIVITY OF POPULATION

Abstract. The results of theoretical and methodological research on cultural activity on the example of building the typology of the theatre audience are presented in the article. The main emphasis in the article is made on the theoretical analysis and substantiation of a new approach to solving a number of methodological problems of cultural activity research. The author assumes that building of the public cultural organization's typology should be based on the historical paradigm because cultural capital and experience in consumption of cultural goods have been formed, developed and accumulated throughout the previous life of people in different social, political and economic conditions that determined habitus and artistic preferences of the audience. Key provisions of the proposed approach: a) allocation of different types of public should be based not on quantitative indicators of attendance but on qualitative characteristics of the public taking into account their viewing experience and accumulated cultural capital; b) there is no single observable characteristic, according to which different types of public can be marked; c) every participant of the survey to a certain extent has features of all types of audience, differences between respondents belonging to one type appear in different meanings. In the article an original typology of theatre audience is presented and substantiated, it distinguishes three segments: “new audience”, “mass audience”, “theatrical people”. Special attention is paid to the processing of large amounts of sociological survey data and an original model, based on a combination of mathematical methods of multivariate statistical analysis, Principal Component Method (PCM) and “Multiway data analysis” (MWA), is presented. This model enables us to define composite indices that characterize corresponding types of audience and calculate the structure of the theatre audience.

Keywords: theory, methodology, sociological research, cultural capital, audience experience, public typology.
JEL Classification: A14, C15, Z1, Z13.

REFERENCES

- Ateca-Amestoy V. (2008). Determining Heterogeneous Behaviour for Theater Attendance // *Journal of Cultural Economics*. No. 32. Vol. 2. Pp. 127–151.
- Becker G. (1964). *Human Capital*. — N.Y.: Columbia University Press.
- Becker G. (1965). A Theory of the Allocation of Time // *The Economic Journal*. No. 75. Vol. 299. Pp. 493–517.
- Bourdieu P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. — N.Y.: Cambridge University Press.
- Bourdieu P. (1986). *The Forms of Capital* // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / Ed. J. Richardson. — Westport, Connecticut: Greenwood.
- Bourdieu P. (1998). Структура, габитус, практика [Structure, Habitus, Practice] // *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii*. T. I. № 2. Pp. 44–59. (In Russ.).
- Bourdieu P. (2002). Formy kapitala [Forms of Capital] // *Ekonomicheskaya sotsiologiya*. V. 3. No. 5. Pp. 60–74. (In Russ.).
- Burakov N.A. (2021b). Tvorcheskiy potentsial teatrov v regionakh Rossii [Creative Potential of Theatres in the Regions of Russia] // *Stsena*. No. 2. Pp. 51–56. (In Russ.).
- Burakov N.A. (2021a). Nematerial'nyye aktivy i ekonomicheskii rost v otrasli kul'tury [Intangible Assets and Economic Growth in the Culture Sector] // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. No.4. Pp. 92–104. (In Russ.).
- Burakov N.A., Rubinshteyn A.Ya. (2020). Teoreticheskiye i prikladnyye aspekty izmereniya po-tentsialov ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [Theoretical and applied aspects of the measurement potential

- of the economic development of Russian regions] // *Prostranstvennaya ekonomika*. Vol. 16. No. 1. Pp. 24–50. (In Russ.).
- Dadamyán G.G. (1974). Problemy auditorii teatrov [Problems of theatre audiences] / Red.-sost. kand. iskusstvovedeniya N. Khrenov // *Problemy sotsiologii teatra. Sb. Statey* [Problems of the sociology of the theater. Digest of articles]. — M.: B/i. (In Russ.).
- Dadamyán G.G. (1979). Auditoriya teatra: klassifikatsiya i vidy. [Audience of theatre: classification and types.] // *Ekonomika i organizatsiya teatra*. Vyp. 5. — L.: LGITMiK. (In Russ.).
- Dadamyán G.G. (1982). *Sotsial'no-ekonomicheskiye problemy teatral'nogo iskusstva* [Socio-economic problems of theatrical art]. — M.: Vserossiyskoye teatral'noye obshchestvo. (In Russ.).
- Fernández-Blanco V., Prieto-Rodríguez J. (2000). *Are Live Sports Substitute of Cultural Consumption? Some Evidence for the Spanish Case*. Paper // Presented at the 11th Biennial Conference of the International Association for Cultural Economics. — Minneapolis.
- Fokht-Babushkin Yu. U. (2001). *Iskusstvo v zhizni lyudey. Konkretno-sotsiologicheskiye issledovaniya iskusstva v Rossii vtoroy poloviny XX veka* [Art in People's Lives. Concrete-Sociological Studies of Art in Russia in the Second Half of the Twentieth Century]. — SPb.: Aleteyya. (In Russ.).
- Kapelyushnikov R.I., Domina N.V. (2021). Potrebleniye kul'turnykh blag v Rossii: masshtaby, determinanty, differentsiatsiya [Consumption of Cultural Goods in Russia: Scale, Determinants, and Differentiation] // *Ekonomicheskaya sotsiologiya*. No. 2. Pp. 42–80. (In Russ.).
- Katz-Gerro T. (2002). Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden, and the United States // *Social Forces*. No. 1. Vol. 81. Pp. 207–229.
- Kirchberg V., Kuchar R. (2014). States of Comparability: A Meta-Study of Representative Population Surveys and Studies on Cultural Consumption // *Poetics*. No. 43. Pp. 172–191.
- Kul'tura na rubezhe XX–XXI vekov: globalizatsionnyye protsessy (2009) / Otv. red. N.A. Khrenov [Culture at the Turn of XX–XXI Centuries: Globalization Processes / Ed. N.A. Khrenov]. — Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. (In Russ.).
- Lévy-Garboua L., Montmarquette C. (1996). A Microeconomic Study of Theater Demand // *Journal of Cultural Economics*. No. 1. Vol. 20. Pp. 25–50.
- Mankiw G., Romer D., Weil D. (1990). *Contribution to the Empirics of Economic Growth*. NBER Working paper. December. No. 3541.
- Mincer J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // *Journal of Political Economy*. No. 4. Vol. 66. Pp. 281–302.
- Neygol'dberg V.Ya. (1993). *Funktsionirovaniye iskusstva v zerkale statistiki* [Functioning of Art in the Mirror of Statistics]. — M.: Nauka. (In Russ.).
- North D. (1997). *Instituty, institutsional'nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki* [Institutions, Institutional Change and the Functioning of the Economy] / Per. s angl. A.N. Nesterenko. — M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala».
- Radayev V.V. (2002). Ponyatiye kapitala, formy kapitalov i ikh konvertatsiya [The Concept of Capital, Forms of Capital and their Conversion] // *Ekonomicheskaya sotsiologiya*. No. 3 (4). Pp. 20–32. (In Russ.).
- Rubinshteyn A.Ya. (2014). *Publika kontsertov «Motsart Marafona»: opyt sotsiologicheskogo issledovaniya* [The audience of Mozart Marathon concerts: an experience of sociological research]. — M.: Institut ekonomiki RAN. (In Russ.).
- Rubinshteyn A.Ya. (2019). Teatr, zritel' i gosudarstvo: 12 kommentariyev ekonomista // *Ekonomicheskaya sotsiologiy*. V. 20. No. 5. Pp. 158–205. (In Russ.).
- Rubinshteyn A.Ya., Skomorokhova N.A., Gedovius G.G. (1998). Segmentatsiya teatral'nogo ryn-ka [Segmentation of the theatrical market] // *Khudozhestvennaya zhizn' sovremennogo obshchestva*. V 4-kh t. T. 3. *Iskusstvo v kontekste sotsial'noy ekonomii* / Otv. red. A. Ya. Rubinshteyn [Artistic life of modern society. In part vol. T. 3. Art in the context of social economy / Ed. A.Ya. Rubinshteyn]. — SPb.: Dmitriy Bulanin. Pp. 243–244. (In Russ.).
- Rubinshteyn A.Ya., Slutskin L.N. (2018). «Multiway data analysis» i obshchaya zadacha ranzhirovaniya zhurnalov [Multiway data analysis' and the general task of ranking journals] // *Prikladnaya ekonometrika*. No. 50. Pp. 90–113 (In Russ.).
- Rynok kul'turnykh uslug: publika teatra 90-kh godov [The Market for Cultural Services: The Theater Audience in the 1990s.] (2002) / Otv. red. Rubinshteyn A.Ya., Fokht-Babushkin Yu.U. — SPb.: Aleteyya. (In Russ.).
- Seaman B.A. (2006). Empirical Studies of Demand for the Performing Arts / V. Ginsburgh, D. Throsby (eds.) // *Handbook of the Economics of Art and Culture*. Vol. 1. — Amsterdam: North Holland. Pp. 415–472.
- Shultz T. (1968). *Human Capital* // International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 6. — N.Y.: Macmillan.
- Stigler G., Becker G.S. (1977). «De Gustibus non est disputandum» // *American Economic Review*. No. 2. Vol. 67. Pp. 26–50.
- The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu* (2018) / Ed. Th. Medvetz, J.J. Salla. — Oxford University Press.
- Ushkarev A. (2017). Tretyakovskaya galereya: determinanty poseshchayemosti [Tretyakov Gallery: determinants of attendance] // *Observatoriya kul'tury*. T. 14. No. 5. Pp. 558–568. (In Russ.).
- Ushkarev A.A. (2019). *Auditoriya iskusstva v sotsial'nykh izmereniyakh* [Audience of art in social dimensions]. — SPb.: Aleteyya. (In Russ.).

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Я.Г. Шемякин

*д. ист. н, главный научный сотрудник,
Институт Латинской Америки РАН (Москва)*

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ЖИЗНИ СОЦИУМА: ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ В УНИВЕРСАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ (ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Аннотация. Работа посвящена исследованию институционального измерения проблемы культурной детерминации различных областей социальной жизни. В центре внимания автора – латиноамериканский опыт решения этой проблемы, рассматриваемый в универсальном контексте. Раскрывается содержание понятия «детерминация» в контексте процесса смены общенаучных парадигм, определившего динамику эволюции мировой науки в последние десятилетия XX — начале XXI вв. Утверждение принципов новой, «пригожинской», парадигмы в гуманитарных и социальных науках означало признание того, что на поведение социокультурного субъекта оказывает влияние не какой-то один, определяющий в конечном счете характер социальной действительности фактор, а множество импульсов, исходящих из самых различных областей жизни социума. Подобная позиция предполагала принципиальный отказ от любого вида редукционизма и признание того, что импульсы, порождённые логикой развертывания экономики, политики, права, духовной жизни соотносятся по принципу сферы, ни один из них не является однозначно определяющим, они взаимно обуславливают друг друга. Именно эти импульсы и обозначаются термином «детерминация».

Культурная детерминация рассматривается как фактор достижения и сохранения целостности «пограничной» цивилизационной системы Латинской Америки в условиях доминанты многообразия. Целостность (на всех уровнях, включая национальный) достигается в результате действия особого механизма, в основе которого – способность субъекта социокультурного взаимодействия к повышенному (по сравнению с «классическими» цивилизациями) уровню оперирования знаковыми структурами различного происхождения и характера. Он обуславливает, в свою очередь, повышенную проницаемость внутренних и внешних границ культуры, а также определяющее значение индивидуального уровня развертывания цивилизационного процесса, прежде всего – «пространства свободы» личности.

Институциональное измерение феномена культурной детерминации рассматривается системно, через призму концепции Парсонса-Седова, в соответствии с которой выделяются четыре подсистемы в единой системе общества. Каждая из них выполняет одну из необходимых для нормального функционирования социального организма функций. Это — адаптивная функция (материальное производство, экономика); функция целеполагания или целедостижения (политическая организация); функция интеграции; «поддержания образца» (pattern maintenance) или латентная подсистема, в рамках которой генерируются и поддерживаются главные ценности, которые придают смысл существованию той или иной человеческой общности, определяют основные черты ее исторического облика. Автор дополняет эту схему, формулируя концепцию пятой подсистемы, ответственной за внедрение новаций, которую он назвал «подсистемой изменения образца».

Ключевые слова: *культура, детерминация, целостность, институциональное измерение, «пограничная» цивилизация.*

JEL: A12, A13, B15, B52.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_92_111.

Культура в условиях «пограничья»

Предпосылкой раскрытия заявленной в заглавии темы является чёткое определение содержания тех понятий, которые вынесены в заглавие: культуры и детерминации¹.

Сначала о термине «культура». Как хорошо известно, имеется огромное количество различных его определений. Причём, как мне уже приходилось отмечать [Шемякин, 2019а, С. 34–35], среди них нет ни одного, которое можно было бы однозначно оценить как неверное. Каждое отражает какую-то одну из граней смысла, сконцентрированного в этом слове. Соответственно, необходимо определить, на какой из этих граней должно быть сфокусировано внимание в данном случае.

Заявленная тема требует выбора такого понимания термина «культура», которое отвечало бы масштабу поставленной задачи. А именно — оно должно быть максимально широким и общим, поскольку задача исследования характера воздействия культуры как некоего целого (пусть и заключающего в себе массу противоречий) на иные сферы жизни общества предполагает именно такое определение. Я основываюсь на интерпретации феномена культуры, сформулированной в трудах Э.С. Маркаряна и его последователей (см., например: [Маркарян, 1969; Маркарян, 1983]). В рамках данной интерпретации культура рассматривается как специфически человеческий способ бытия. Человек существует, проявляет себя в мире посредством деятельности, поэтому культура может быть определена так же, как свойственный *homo sapiens* способ деятельности. Деятельность же может быть рассмотрена как процесс возникновения, развертывания, разрешения и воспроизведения на новой основе противоречий человеческого существования. Каждая конкретная культура есть способ разрешения противоречий бытия той человеческой общности, воплощением которой в «мире людей» данная культура является². Культура цивилизационного уровня есть способ разрешения ключевых экзистенциальных противоречий, свойственных той или иной макрообщности. К таковым относится, по моему убеждению, и латиноамериканская культура-цивилизация.

Можно ли выделить главное противоречие латиноамериканской экзистенции, способом разрешения которого является латиноамериканская культура? Результаты исследований привели меня к выводу, что подобное противоречие должно определяться самим «пограничным» типом латиноамериканской цивилизации, основанном на парадоксальном сочетании определяющих структурообразующих принципов единства и многообразия, целостности и гетерогенности: доминанте многообразия при сохранении единства *suí generis*. Латиноамериканская культура-цивилизация — способ разрешения противоречия между тенденцией утверждения доминанты многообразия и жизненной потребностью обрести и сохранить целостность в условиях подобной доминанты. Латиноамериканская культура возникла и существует в результате реализации этой потребности и предстает в этом ракурсе как способ достижения и сохранения целостности латиноамериканской социальности и латиноамериканского человека в ситуации, когда начало многообразия довлеет над началом единства.

Данная целостность достигается в результате действия определённого социокультурного механизма (из публикаций последних лет см. [Шемякин, 2018. С. 394–395, 399–400;

¹ Данная проблематика более подробно рассматривается в главе «Культура как способ бытия Латинской Америки. Характер и формы культурной детерминации латиноамериканской действительности» в готовящейся к печати коллективной монографии «Роль культуры в формировании и эволюции национальной идентичности».

² Отмечу также, что Ш. Бёгельсдаик и Р. Маселанд, исследующие проблемы интерпретации культуры в экономической науке, дают ей определение, как «те поведенческие и умозрительные структуры, которые считаются неотъемлемыми для создаваемой идентичности сообщества», подчеркивая и то, что атрибуты культуры «неотъемлемы для идентичности какой-либо группы или общества» [Бёгельсдаик, Маселанд, 2016. С. 27, 36].

Шемякин, 2019а. С. 52–54]). В основе этого механизма лежит повышенная (по сравнению с великими «классическими» цивилизациями Востока и Запада — «субэкуменами» по терминологии Г.С. Померанца) способность к оперированию знаковыми структурами различного происхождения и характера. Достаточно вспомнить в этой связи (если ограничиться только латиноамериканскими примерами) о том, что происходило в данном регионе с католической верой, образовавшей в значительном числе случаев (главным образом в рамках «народного католицизма») причудливые формы взаимосвязи с архаическим мироматическим комплексом верований [Земсков, 2014; Кофман, 1997; Шемякин, 2001. С. 83–116, 233–272; Шемякин, 2007. С. 78–92].

Охарактеризованная способность обуславливает такую характеристику, как повышенная (опять же — как и во всех иных случаях — по сравнению с «классическими» цивилизациями) проницаемость границ культурной системы как внутренних (которые в условиях «пограничной» реальности проходят не только между людьми — носителями тех или иных традиций, но и внутри человеческих душ), так и внешних (в этом случае данное качество проявляется одновременно в повышенной способности к восприятию инокультурных заимствований при повышенной же способности к переработке этих заимствований в соответствии со спецификой местной социокультурной «почвы», к превращению «внешнего» во «внутреннее»).

Оперировать знаковыми структурами не может какая-либо организация или социальный институт. Это может сделать только конкретный живой человек. Поэтому цивилизационное «пограничье» характеризуется качественно иным по сравнению с субэкуменами соотношением индивидуального и надиндивидуального уровней цивилизационного процесса. Различие между ними относительно: во всяком человеке есть надличностный пласт — общепринятые, официально санкционированные нормы и ценности, которые в «классических» цивилизациях составляют основу единства личности.

В условиях «пограничья» этот пласт ослаблен и не может в полной мере выполнять свои интеграционные функции. В подобной ситуации ключевое значение приобретает «собственно индивидуальный» слой, также присутствующий в любом человеке, его личное «пространство свободы», свободы в интерпретации общепринятых норм и ценностей, которая в условиях кризиса культурной системы превращается в их отрицание (см., подробнее [Шемякин, 2018. С. 388–390, 395]). Свободное оперирование знаковыми структурами могло осуществляться лишь в «пространстве свободы» личности.

Как следует из изложенного выше, культурная детерминация рассматривается в данной работе как фактор достижения и сохранения целостности социокультурной системы в условиях доминанты многообразия. Тема целостности может рассматриваться как в духовно-ценностном, так и в институциональном аспектах. В данной статье объектом исследования является институциональное измерение проблемы культурной детерминации.

О понятии «детерминация» и культурной детерминации

Для того чтобы раскрыть содержание понятия «детерминация», необходимо поставить латиноамериканскую проблематику в контекст развития мировой науки. Начиная с последних десятилетий совсем недавно ставшего прошлым века динамика эволюции мировой научной мысли определяется процессом смены общенаучных парадигм. Особенно ярко и убедительно этот процесс описан в работах И. Пригожина, его последователей и единомышленников. Напомню, что, согласно И. Пригожину и Э. Тоффлеру, старая парадигма была воплощена в «ньютонической» науке XVII–XIX вв. Ее определяли такие ключевые характеристики, как: запрограммированность развития условиями, которые определены изначально; механистическая картина мира; исключение из этой картины фак-

тора случайности и вытекающее из всех этих характеристик отрицание альтернативности и многовариантности истории человечества.

Для новой парадигмы, основные принципы которой были определены Пригожиным, типичны: совершенно иной взгляд на понятие причинности, включающий признание очень важной роли фактора случайности; отказ (в большинстве случаев) от идеи однозначной запрограммированности развития изначально заданными условиями; утверждение картины мира с представлением об альтернативности и многовариантности развития подавляющего большинства систем Вселенной, включая и человеческие общества, в качестве необходимого компонента (концепция «точки бифуркации»: [Пригожин, Стенгерс, 1986. С. 14–16, 28–29, 226–227, 269]).

«Пригожинская» парадигма основывается на общенаучном принципе дополнительности, впервые сформулированном Н. Бором, в соответствии с которым ни одна теория не может дать столь исчерпывающее объяснение объекту исследования, чтобы исключить возможность иных, в том числе альтернативных подходов [Бор, 1959. С. 42].

Реализация принципов «пригожинской» парадигмы в гуманитарной сфере означает признание того, что импульсы, порождённые логикой развёртывания различных сторон социальной жизни (экономики, политики, права, духовной культуры) соотносятся по принципу сферы, ни один не является однозначно определяющим, они взаимно обуславливают друг друга. Именно эти импульсы и обозначаются термином «детерминация». Следует особо отметить, что в конкретной цивилизационной среде соотношение различных детерминаций может отличаться весьма существенно. Воздействие какой-то из них в определённой ситуации может стать преобладающим, импульсы, исходящие из одной сферы (например, экономики) могут отклоняться в результате действия политических или культурных факторов.

Подобный ход мысли соответствует выводам многих ученых и мыслителей, в том числе и представителей современной творческой марксистской традиции, преодолевших редукционистскую тенденцию. Приведу один из самых ярких, по моему мнению, примеров. Так, известный французский современный мыслитель, последователь Л. Альтюссера, Э. Балибар, отталкиваясь от классического марксистского тезиса о капиталистическом разделении труда как необходимой предпосылки функционирования социального организма, поставил вопрос о том, «не оказываются ли марксисты случайными жертвами гигантского заблуждения по поводу смысла их собственного анализа; заблуждения, по большей части унаследованного от либеральной экономической идеологии (и вытекающей из нее антропологии). *Капиталистическое* разделение труда не имеет никакого отношения к взаимодополнительности задач индивидов и социальных групп: прежде всего оно приводит... к поляризации общественных формаций, к их разделению на антагонистические классы, интересы которых становятся все менее и менее «общими». Как исходя из подобного разделения обосновать единство (даже если оно не исключает конфликты) какого-либо общества? Может быть, следует изменить нашу интерпретацию марксистского тезиса? Вместо того, чтобы представлять капиталистическое разделение труда основанием или институционализацией человеческого общества как относительно стабильного «коллектива», не следует ли считать разделение труда тем, что его *разрушает*? Точнее тем, что *разрушало бы*, придавая внутреннему неравенству в этом обществе форму непримиримого антагонизма, *если бы* другие социальные практики ..., несводимые к поведению «*homo economicus*», например, практики языкового общения, технические или познавательные практики не ставили пределы империализму производственных отношений и не преобразовывали его изнутри?

И тогда историю общественных формаций следует рассматривать не как историю перехода от нерыночных сообществ к рыночному обществу или обществу всеобщего обмена (включая обмен человеческой рабочей силой) — чего требует либеральное или социологическое представление, сохранившееся в марксизме, — но как историю *реакций*

комплекса «неэкономических» социальных отношений, объединяющих исторические сообщества индивидов, на угрозу разрушения их структуры под действием экспансии формы стоимости» [Балибар, Валлерстайн, 2004. С. 17]. Иными словами, как историю отклонения культурой, наряду с другими неэкономическими жизненными практиками, импульса, исходящего от экономической сферы.

Попробуем спроецировать мысль Э. Балибара на латиноамериканскую историю последних пяти с лишним столетий. Не следует ли считать само становление Латинской Америки как особого, отличного от всех прочих человеческих миров, коллективного субъекта всемирно-исторического процесса, то есть особой цивилизации, результатом борьбы за преодоление тех последствий глобального разделения труда, которые обрекали формирующуюся в бывших колониях иберийских монархий социокультурную макрообщность на роль пассивного придатка (не просто периферии!) мировых центров господства, лишённого собственной субъектности? Автор этих строк неоднократно высказывал мысль о том, что генезис латиноамериканской цивилизации одновременно с формированием мирового капиталистического рынка стал проявлением процесса, противоположного глобализации по своей онтологии, охарактеризованного О.Пасом как «мятеж исключений», усиленной акцентировки черт своеобразия конкретных человеческих общностей различного типа, уровня и масштаба (от мелких территориальных объединений до локальных цивилизаций) [Paz, 1986. Pp. 100–101]. Иными словами, само возникновение в южной части Западного полушария цивилизационной общности планетарного масштаба, качественно отличной от Запада (хотя и родственной ему), с этой точки зрения следует рассматривать как отклонение прямого импульса экономической детерминации, исходящего из центров мировой капиталистической системы. То есть импульсу экономической детерминации здесь противостоит детерминация культурная.

В этой связи можно вспомнить много работ и историков, и антропологов, и экономистов институционального направления. Особо отмечу книгу А.Грейфа о становлении институциональной системы средневековой Западной Европы, отмечавшего, что в то время на становление её институтов оказывало влияние не только культурное взаимодействие внутри различных входящих в нее регионов, но и православной Византии, и мусульманского мира как важной части Средиземноморья. И возникшие на этой основе институты должны были адаптироваться к принимающей культурной среде, корнями уходящей в прошлое. В результате «прошлое, заложенное в институциональных элементах, определяет направление развития институтов и ведёт к тому, что общества развиваются по разным институциональным траекториям» [Грейф, 2013. С. 43].

Изучение культурной детерминации различных сфер жизни общества — одна из главных тем исследований представителей, пожалуй, наиболее влиятельного (по крайней мере в интеллектуальной среде) в последние десятилетия направления зарубежной научной мысли, рассматривающей проблему модернизации: концепции «множественности модернов», получившей наиболее полное воплощение в трудах Ш.Эйзенштадта, его последователей и единомышленников [Eisenstadt, 2000a; Eisenstadt, 2000b. Pp. 1–30; Eisenstadt, 2001. Pp. 320–340; Eisenstadt, 2006. Pp. 37–62; Wagner, 2010; Schwinn, 2009. Pp. 454–476]. В основе этой концепции — тезис о том, что никакая подлинная модернизация в «незападном» мире невозможна, пока не найдена «формула синтеза» ее императивов и местной традиции той или иной культурно-исторической общности (о связанных с этим обстоятельством коллизиях (см. [Шемякин, 2015]).

Тема культурной детерминации активно разрабатывается и современной отечественной научной мыслью. Достаточно упомянуть в этой связи такие книги, как [Труды Института востоковедения РАН, 2017; Цивилизационные вызовы..., 2018; Азиатская Россия..., 2004; Россия в архитектуре глобального мира..., 2015; Осипов, 2016; Савельев, 2015; Мухамеджанова, 2015]. Общую идею всех этих произведений, думаю, очень хорошо

выразил М.Ю. Савельев, поставивший задачу поиска «аутентичных незападным культурам онтологических оснований», положенных в основу в том числе и экономической деятельности [Савельев, 2015. С. 15].

Савельев обосновывает вывод, что «основное средство построения моделей экономических систем находится в сфере представлений о нравственной природе человека, задающей ценностно-целевые установки и критерии как научным исследованиям, так и самой экономической деятельности» [Савельев, 2015. С. 18]. В связи с этим формулируется цель: разработка моделей экономических систем, соответствующих «основным культурным средам человечества», что предполагает, в свою очередь, исключение монополии «либерально-рыночной экономической модели» [Савельев, 2015. С. 9–10]. Особо следует упомянуть в этом контексте работы В.М. Давыдова, в которых мысль о множественности детерминаций, воздействующих на латиноамериканскую действительность, получила убедительное концептуальное обоснование [Давыдов, 1991; Давыдов, 2006; Davydov, 2016].

В качестве основной исследовательской «призмы», через которую рассматривалось институциональное измерение темы культурной детерминации, была избрана концепция Т. Парсонса. Как известно, согласно этой концепции, выделяются четыре подсистемы в единой системе общества, воспроизводимой каждым новым поколением. Каждая из этих подсистем выполняет одну из необходимых для нормального функционирования социального организма функций:

- адаптивная (практически речь идет о материальном производстве, экономике);
- целеполагания или целедостижения (политическая организация);
- интеграции (к этой подсистеме принадлежат принятые тем или иным обществом системы норм, механизмы, посредством которых преодолеваются внутренние конфликты, сообщества людей, которые обеспечивают соблюдение норм и функционирование данных механизмов);
- «поддержания образца» (pattern maintenance), или латентная подсистема, в рамках которой генерируются и поддерживаются главные ценности, придающие смысл самому существованию той или иной человеческой общности, определяются основные черты ее исторического облика, ее представление о самой себе, своем месте в мире, своих целях и задачах. Важнейшая функция этой подсистемы — создание и поддержание знаково-символической структуры, иными словами — определенным образом организованной совокупности знаков и символов, обеспечивающих коммуникацию между людьми [Parsons, 1937; Parsons, 1977; Парсонс, 1998; Парсонс, 2002].

Отечественный ученый Л.А. Седов внес в концепцию Парсонса существенные дополнения, творчески ее интерпретировав в духе кибернетических представлений. Согласно Седову, возможно доминирование одной из выделенных Парсонсом подсистем. В этом случае они «располагаются еще и иерархически, одна над другой, вышестоящие выполняют роль регулирующего механизма, содержат обобщенную программу действия; нижестоящие же обеспечивают энергетические ресурсы для осуществления действия» [Седов, 1987. С. 56]. Седов убедительно продемонстрировал методологический потенциал теории Парсонса, успешно применив ее как средство сравнительного изучения различных цивилизаций Востока и Запада.

Анализируя концепцию Парсонса-Седова, я пришел к двум важным выводам. Во-первых, наличие в рамках какой-либо общественной системы подсистем, отвечающих за главные, жизненно необходимые социальные функции, может служить достоверным доказательством того, что речь идет о системе цивилизационного уровня сложности. Во-вторых, схема Парсонса-Седова, при всей ее огромной значимости, все же является неполной, поэтому необходимо дальнейшее её развитие в контексте системного подхода [Шемякин, 2016b. С. 157–159].

Культурная детерминация и изменчивость современного мира

Дело в том, что к числу важнейших, жизненно необходимых для нормальной жизнедеятельности социального организма функций, помимо выделенных Парсонсом, принадлежит еще одна — функция обеспечения необходимых изменений, обусловленных императивами пребывания в постоянно меняющейся исторической ситуации социальной и природной среды. То есть речь идет об инновационной деятельности.

Пока в противоречивом системном единстве традиции и инновации преобладала традиция, а инновационная активность жёстко сдерживалась или вообще табуировалась, данная функция была, очевидно, включена в подсистему *pattern maintenance*: в любом случае невозможно было «поддерживать образец», вообще не внося в него некий минимум необходимых изменений, не посягающий на «основы». Ситуация коренным образом изменилась со сдвигом в системной связке «традиция–инновация», обусловленным сначала появлением в XVII в. новоевропейской науки, а впоследствии — промышленной и научно-технической революциями XVIII–XX вв. В результате инновационная сторона культуры стала преобладающей, и возникла необходимость в отделении от подсистемы «поддержания образца» автономной подсистемы, функцией которой стало продуцирование новаций.

«Инновационная активность впервые утвердилась как особая система не только обновления и новой интерпретации старых, но и создания новых смыслов... есть все основания утверждать, что в эпоху модернизации (первоначально в одном цивилизационном ареале — на Западе) сформировалась особая подсистема социального организма, которая может быть названа «подсистемой изменения образца» и которая находится в противоречивом, но неразрывном единстве с подсистемой *pattern maintenance*. В своем совокупном действии обе эти подсистемы образуют механизм выработки экзистенциальной ориентации общества и человека» [Шемякин, 2016b. С. 158]. Хотя первоначальной основой подсистемы «изменения образца» была новоевропейская наука, сфера новаторской активности ею не ограничивалась. В неевропейских цивилизациях особое значение приобрели, по-видимому, иные ее разновидности, появление которых было связано с особенностями генезиса данной подсистемы в «незападных» обществах, в том числе и в Латинской Америке [Там же. С. 158–159]. Важнейшим свидетельством этого стало превращение науки в неотъемлемую составляющую латиноамериканской культуры, значение которой, первоначально весьма незначительное, постепенно увеличивалось по мере становления латиноамериканской цивилизации как самостоятельного культурно-исторического субъекта в XIX–XX вв. [Шемякин, 2013a].

Тот механизм достижения и сохранения целостности социокультурной системы, который был описан выше, характеризует способ воздействия подсистем «поддержания образца» и «изменения образца» на все сферы жизни, и в первую очередь на остальные две подсистемы. Так, способность к повышенному уровню оперирования знаковыми структурами различного происхождения и характера и детерминированная ею повышенная проницаемость границ культурной системы (как внешних, так и внутренних) обуславливают способность к быстрой перемене социальных ролей и, соответственно, типов экономического, социального и политического поведения. Наиболее типичные, пожалуй, примеры: переход от роли мелкого (чаще всего уличного) предпринимателя или торговца к роли наёмного работника (чаще всего служащего офиса) и обратно. Причём такой переход происходит в течение краткого промежутка времени, иногда одного дня. Неслучайно этот феномен привлек в последние годы пристальное внимание исследователей, отмечающих самое широкое распространение на континенте так называемых «неформальных» экономик [Balslev, Velázquez García, 2019; Campos Vázquez, 2017; De Marchi Moyano, 2020. Pp. 107–117; Dilla Alfonso, 2020; Milán Valenzuela, 2019].

Учёные отмечают, что появление данного термина обусловлено тем, что связанные с ним виды экономического и социального поведения не вписываются в нормативы, предписываемые западной традицией для «нормальной» рыночной экономики. Но, хотя они и не соответствуют западным формам (поэтому и обозначаются как «неформальные»), эти разновидности социальной практики — весьма ощутимая реальность, оказывающая воздействие и на экономику, и на социальный организм в целом. Ряд авторов подчеркивает в этой связи, что учет потенциала «неформальных» экономик и его использование — необходимое условие для достижения целей устойчивого развития [Balslev, Clausen, Velázquez García, 2019a]. Для Латинской Америки выразительным примером подобной быстрой смены социальных ролей может служить переход представителей автохтонного населения от поведения, предписываемого нормами традиционной индейской общины, отстаивающей свое культурное наследие, в том числе и выбор видов экономической деятельности, не вписывающихся в логику функционирования капиталистической системы, к роли наёмного работника, задействованного в этой системе, либо к роли мелкого предпринимателя, действующего в рамках рыночной логики. Причём эти роли могут и достаточно успешно совмещаться (см., например: [Vega García, 2014]).

Одно из самых ярких проявлений культурной детерминации социальной и экономической сфер — выработка в рамках подсистемы *pattern maintenance* новых ценностных установок, ориентированных на преодоление однозначного следования логике формальной рациональности, воплощающей, по М.Веберу, «дух капитализма». Речь идет прежде всего о концепции «устойчивого развития», в разработку которой внесли значительный вклад латиноамериканские ученые. Прежде всего следует отметить выдвижение и обоснование экспертами ЭКЛА идеи «инклюзивного» развития [Informe de avance cuatrienal..., 2019], а также вклад мексиканских ученых. На мой взгляд, одно из наиболее чётких и ясных изложений концепции, которая в итоге была положена в основу комплексной трактовки устойчивого развития в ключевом документе 2015 г., содержится в работе мексиканской исследовательницы М.К. Вильеда Сантана. Формулируя свои выводы, она непосредственно опиралась на основополагающие документы ООН и, разумеется, на многочисленные работы коллег, посвящённые этой тематике. Отмечу основные положения ее исследования:

- концепт развития несводим к экономическому измерению (при безусловной значимости последнего); он охватывает все стороны и измерения человеческой жизни — экономические, политические, социальные, духовные;
- не человек для развития, а развитие для человека: недопустима трактовка, в соответствии с которой люди рассматриваются как средство для осуществления целей развития;
- люди должны быть активными субъектами процесса развития, принимать в нем непосредственное участие (принцип «инклюзивности»);
- такое участие возможно лишь при смягчении социального неравенства;
- чтобы достичь поставленных целей, процесс развития должен обрести качество устойчивости [Villeda Santana, 2011].

В центре внимания М.К. Вильеда Сантана лежит обоснование мысли о том, что право на трактуемое подобным образом развитие принадлежит к числу основных прав человека. Она особо подчеркивает, что реализовать это право возможно только, если соблюдаются все остальные права человека. Это становится одним из ключевых условий реализации программы устойчивого развития. Подобная постановка вопроса созвучна мысли Ф. Фукуямы о том, что чувство достоинства входит в круг духовных детерминант устойчивого развития [Fukuyama, 2019].

Институциональные проявления цивилизационной специфики латиноамериканского «пограничья»: община, популизм, новые социальные движения

Способность к повышенному уровню оперирования знаковыми структурами различного происхождения и характера и повышенная проницаемость внутренних и внешних границ культуры обуславливают формирование двух качеств — способности к быстрому восприятию иноцивилизационных новаций и к столь же быстрому приспособлению их к местной социокультурной «почве». На мой взгляд, наиболее ярко это проявилось в политической сфере, обусловив весьма своеобразное строение подсистемы целеполагания в Латинской Америке. После Войны за независимость для образованных здесь государств было характерно очень быстрое восприятие идей и ценностей представительной демократии западного образца. Однако почти сразу начались и попытки адаптировать их к условиям региона. Достаточно вспомнить в связи с этим такие явления, как: формирование разного рода авторитарных или полуавторитарных структур, опирающихся на соответствующую историческую традицию, но включающих отдельные элементы демократии (достаточно вспомнить в этой связи последний период деятельности С.Боливара); попытки обосновать совместимость принципов демократии с исключением из политического процесса основной массы населения с помощью имущественного и образовательного цензов и средств государственного насилия (в духе модели «элитарной демократии»); попытки выработать альтернативное этому понимание демократии («плебейское», по выражению некоторых исследователей [*Coronel, Cadahia, 2018. P. 78*]) последователями линии Боливара, отрицавшего возможность прямого переноса западных политических форм на почву континента [*Боливар, 1983. С. 81–82, 86*].

К настоящему времени можно выделить три основные социокультурные формы, посредством которых происходило (и происходит) приспособление политической и правовой структуры стран региона к специфике идентификационной структуры латиноамериканского «пограничья». Это — институт общины, популизм во всех его разновидностях и новые социальные движения, особенно возникшие в самое последнее время.

Институт общины — это инвариант истории континента, воплощающий связь времён от древности до современности [*Костокрызов, 2018*]. В этой связи хочу чётко обозначить свою позицию в одном принципиальном вопросе. По моему убеждению, было бы грубейшей ошибкой расценивать общину в духе сторонников традиционной западной версии модернизации как подлежащее обязательному преодолению препятствие на пути развития современного общества.

Думаю, что каждая из культур в одной из своих ипостасей представляет собой конкретную интерпретацию универсального измерения человеческой природы. Всё многообразие культур тяготеет к трем базовым интерпретациям этого измерения, к трем главным парадигмам универсального. Каждую из них отличает свой способ удовлетворения фундаментальной психофизиологической потребности человека в обретении смысла и, соответственно, решения ключевых экзистенциальных противоречий, качественно отличный от двух других: наследию архаики, традиции «первого осевого времени» (по К. Ясперсу) и традиции «второго осевого времени» (эпохи модернизации по Ш. Эйзенштадту и др.) [*Шемякин, 2017. С. 176–186*]. То есть архаика — это не тяжелый пережиток прошлых эпох, подлежащий обязательному преодолению, а одна из парадигм универсального измерения человеческой природы. Она присутствует в жизни *homo sapiens* с начала его истории по сей день, это инвариант истории мира людей и важнейший действующий фактор его современного бытия.

Формулируя подобное утверждение, я опираюсь на результаты исследований самых разных ученых как отечественных так и зарубежных, и, разумеется, на собственный иссле-

довательский опыт. По моему мнению, наиболее убедителен в понимании архаики именно как одной из главных парадигм универсального В.Н.Топоров, который выдвинул концепцию «универсальных знаковых комплексов» (УЗК), возникших на первых этапах истории и ставших инвариантной основой всей человеческой культуры. Это он убедительно показал в своих трудах [Топоров, 2010. С. 21, 45–46, 264, 266–267, 274–275].

Уральский ученый П.И. Костокрызов совершенно прав, говоря об универсальном характере общины как института [Костокрызов, 2018. С.5, 19]. Помимо прочего, в нем отражается и универсальная значимость архаики. Впрочем, (и это следует подчеркнуть особо) универсальный характер общины отнюдь не сводится к присутствующему в ней архаическому измерению. Материалы, приведенные Костокрызовым, позволяют, по моему мнению, сделать вывод, что латиноамериканская община является полем напряжённого воздействия всех трех упомянутых выше парадигм универсального, причем в разных типах общин их соотношение различно. Роль архаики в выделенных Костокрызовым четырёх разновидностях общин, разумеется, различна [Костокрызов, 2018. С. 24–25]. Наиболее значительна она в тех индейских общинах, которые сознательно отстаивают собственную идентичность, хотя и здесь есть разница между почти полным доминированием архаики в изолятах и теми индейскими (или метисными с индейской самоидентификацией) общинами, которые, упорно придерживаясь собственных традиций, тем не менее так или иначе поддерживают связь с современным обществом. Но в целом архаическая составляющая значима для всех общин.

Особенно ясно это видно на примере общинного правосудия, в той иерархии ценностей, которая определяет главные черты её исторического лица. Как подчеркивает Костокрызов, «в аксиологии общинного правосознания ценность права занимает достаточно высокое, но все же подчиненное по отношению к ценности бытия как такового, включая социальное бытие, место. Право служит сохранению этого бытия, его социальное предназначение — поддержание такого уровня отношений между членами общества, чтобы их сосуществование было минимально конфликтным и максимально комфортным» [Костокрызов, 2018. С. 205–206]. По-моему, здесь обнаруживается то, наиболее полно проявляющееся именно в архаическом сознании качество, которое позволяет воспринимать мир, бытие как целостность. Речь идет об определяющей характеристике «мифопоэтического» сознания, которая обуславливает его вневременное значение для культуры. Многие видные ученые, исследовавшие феномен архаики, хотя и придерживаются по другим вопросам разных позиций, едины в том, что архаика, говоря словами В.Н. Топорова, обеспечивает «целостный взгляд на мир, на всё окружающее человека и на него самого» [Топоров, 2010. С. 274–275].

Сам феномен общинного правосудия (общинной юстиции) — одна из наиболее ярких черт юридического строя латиноамериканских обществ — юридического плюрализма, или полиюридизма. Это «такое состояние правовой системы общества, когда на одной территории, не разделенной политически, сосуществуют два или более правовых порядка» [Костокрызов, 2018. С. 13], такое «положение вещей в любом социальном поле, при котором поведение соответствует более чем одному правопорядку» [Griffiths, 1986. P. 2]. В Латинской Америке мы видим, с одной стороны, связь с романо-германской правовой семьей, а с другой — наличие множества иных правовых порядков, восходящих как к доколумбовым обществам, так и возникших в колониальный и постколониальный период» [Костокрызов, 2018. С. 7].

Подобное многообразие правовых порядков есть яркое проявление общецивилизационного качества — доминанты многообразия в социокультурной системе. Община, в том числе общинная юстиция — это одновременно и одна из важнейших составляющих, проявлений начала многообразия, и его значимый гарант, препятствующий стремлению нивелировать латиноамериканскую действительность в соответствии с капиталистиче-

ским принципом «формальной рациональности». Вместе с тем, будучи одним из важнейших механизмов социальной интеграции, община выступает и как фактор поддержания целостности социальной «ткани» обществ региона, причём не только на местном, но и на общецивилизационном уровне.

Дело в том, что в Латинской Америке на протяжении всей ее истории государство как один из главных интеграторов цивилизации не обладало достаточной объединительной потенциальной способностью, было не способно сплотить воедино разнородные составляющие латиноамериканского «мира миров» (М. Гефтер). Ведь «правовая норма, пункт конституции, нравственный кодекс как убеждения, которые не влияют на поведение, не могут быть компонентами института... “Институт обеспечения юридических норм” — это не суд, а система правил, убеждений, норм и связанных с ними организаций, к которым наряду с другими относится и суд» [Грейф, 2013. С. 56]. «Государственноцентричная матрица» (т.е. попытка правящих элит поставить под контроль манипулируемых ими органов государственной власти все стороны жизни общества), господствовавшая на протяжении длительных периодов латиноамериканской истории [Cavarozzi, 1992. Pp. 665-684; *Латиноамериканская цивилизационная общность...*, 2007. С. 75–78]³, не изменила эту ситуацию. По-прежнему общины выступают как значимый фактор достижения и поддержания именно того типа целостности *sui generis*, которая необходима «пограничным» цивилизационным системам, — целостности, достигаемой в условиях доминанты многообразия, которая может проявить себя только в этих условиях.

Выше был сформулирован тезис о том, что латиноамериканская община как социальный институт представляет собой зону противоречивого взаимодействия трех парадигм универсального. В разных типах общин соотношение этих трех парадигм различно, но так или иначе взаимодействие между ними наличествует везде.

Однако этот вывод следует рассмотреть в более широком контексте. Результаты многолетних цивилизационных исследований привели меня к заключению, что в основе всех ныне существующих культур и цивилизаций (в том числе, разумеется, и латиноамериканской) лежит напряжённый диалог-спор трех обозначенных выше парадигм универсального. Их соотношение различно в разных цивилизациях и цивилизационных типах. В латиноамериканском контексте ключевое значение приобрёл, по-моему, характер взаимосвязи архаики и второй осевой (модернизационной) парадигмы [Шемякин, 2013b. С. 23–45]. В свете этих соображений закономерен вывод о том, что латиноамериканская община как институт изоморфна по своей структуре цивилизации в целом. По-видимому, именно в силу этого она оказалась в состоянии выполнять ту важнейшую интегративную функцию, о которой речь шла выше, и тем самым играть роль основного компенсатора низкой степени институционализированности латиноамериканской цивилизации, ставшей одним из её отличительных признаков [Шемякин, 2016b. С. 164–170].

Культура и создание новых институтов

Политическая культура стран региона с конца XIX в. по сей день отличается рядом постоянно воспроизводящихся характеристик. Неизменно прослеживается стремление значительной части интеллектуальной элиты внедрить на латиноамериканской социокультурной почве свойственные западной традиции формы политической, в том числе партийной организации (в рамках общей установки на усвоение западной модели представитель-

³ Отмечу, что анализ российских реалий с позиций господства в них государственно-центричной матрицы был проведен Т.Е. Ворожейкиной, что, в частности, говорит и о схожести принципов «пограничья» в Латинской Америке и в России [Ворожейкина, 2001].

ной демократии). Но столь же неизменно на каждой новой стадии политического развития наблюдается «прорастание» сквозь западные формы свойственных местной традиции способов организации политического пространства.

Это же сказывается и на организации пространства экономического. Наиболее известный в России пример описания такой организации и её эволюции — книга Э. де Сото. Причём он показал важность для успешного развития латиноамериканского общества неформальных институтов, а также учёта их опыта при корректировке институтов формальных⁴.

Анализ, данный де Сото системе экономических институтов Перу, способствовал не только экономическому развитию этой страны, но и лишил в ней интеллектуального лидерства господствовавшую там террористическую группировку Sendero Luminoso. Де Сото показал, что реальный прогрессивный класс в стране, заинтересованный в её развитии, — микро-, мелкие и средние предприниматели, которые хотя и желали бы жить в условиях верховенства права, самими условиями существования принуждены жить вне рамок законодательной системы. «Для них рыночная экономика и капитал вовсе не являются “буржуазными предрассудками” или “культурно чуждыми концепциями”; напротив, это цели для достижения которых они и их неформальные организации прикладывают столько усилий» [Сото, 2008. С. XX]. Де Сото и его сторонники, опираясь на свои эмпирические исследования, разработали конкретные рекомендации по изменению законодательства с тем, чтобы вывести большинство бедного населения из нелегального поля, создать для них правовые условия для развития. При этом подчёркивается: «Чтобы убедить бедных в развивающихся странах, необходимо представить картину возможного улучшения жизни через конкретные наглядные примеры из жизни в из собственной социальной среде» То есть важно, чтобы заимствования непротиворечиво уживались с имеющимися культурными традициями. При этом «ключ к победе находится в руках людей, которые исключены из правового поля нынешней системы» [Сото, 2008. С. XLVIII].

А система эта основана на принципах западной политической и правовой традиции. И один из самых ярких примеров «прорастания» сквозь западные формы местной специфики является популизм. Так, практически во всех политических объединениях, которые продемонстрировали способность мобилизовать значительную часть населения для достижения тех или иных целей, от аргентинского радикализма первых десятилетий XX в. до современной мексиканской MORENA (здесь названы самые яркие, пожалуй, примеры) обнаруживаются «родовые» особенности популизма. Это харизматический тип политического лидерства, основанный на приоритете прямой связи «лидер-масса», отсутствие чёткой организационной структуры, опосредующей эту связь, крайняя социальная разнородность, объединение самых различных, в том числе и разделённых острейшими противоречиями социальных классов и слоев.

Все сколько-нибудь влиятельные политические партии представляли и представляют собой, как правило, противоречивый симбиоз позаимствованных из западной традиции форм партийной организации и популистских тенденций. Разумеется, популистские черты проявляются в разной степени в разных партиях на разных этапах их эволюции. Первые два десятилетия XXI в. ознаменовались новой волной популизма, причём в самых разных разновидностях — левого, правого (неолиберального), экологического и др. Конечно, феномен популизма — отнюдь не только латиноамериканское явление, но именно в регионе к югу от Рио-Гранде-дель-Норте оно получило, пожалуй, наиболее полное разви-

⁴ Тут стоит вспомнить и слова Д. Норта о том, что «мы много знаем о государствах, но не знаем, как их чинить». При этом Норт напоминает и о том, какую роль в успехе США сыграли неформальные правила и ограничения в сочетании с формальными практиками [Норт, 2010. С. 104, 106].

тие. Не случайно в последние годы оно стало предметом пристального внимания и острой полемики (см., например, [Coronel, Cadahia, 2018. Pp. 72–82; Roth, Manke, 2018. Pp. 34–43]). Она связана прежде всего с ожесточёнными нападками сторонников неолиберального лагеря на якобы «безответственный популизм» режимов «левого поворота». Нарастает, впрочем, и встречная волна: начался новый этап критики попыток навязывания западных форм без учета местной специфики и связанного с этим переосмысления популистской политической практики и идеологии, выявления ряда черт популизма как органичных проявлений цивилизационной основы.

В этой связи следует отметить, что неизменное воспроизведение в политической практике и соответствующее обоснование в идеологии харизматического типа политического лидерства — прямое проявление действия той части механизма обеспечения целостности, в которой утверждается особая, существенно более значимая, чем в «классических» цивилизациях, роль индивидуального уровня развёртывания цивилизационного процесса и, соответственно, ключевое значение «пространства свободы» личности как первичной основы обеспечения целостности цивилизационной системы. Характерное для популизма соединение в рамках одного движения совершенно различных, а иногда и противоположных (вспомним аргентинский перонизм) социальных и политических сил непосредственно детерминировано другими составляющими упомянутого механизма — способностью социокультурного субъекта к повышенному уровню оперирования знаковыми структурами различного происхождения и характера и обусловленной этим повышенной (по сравнению с «классическими» цивилизациями Востока и Запада) степенью проницаемости внутренних границ в культуре. Они пролегают не только между отдельными людьми — представителями тех или иных традиций и социальных групп, но и внутри человеческих душ. Если это действительно так, то жизнеспособность популизма, его способность к постоянной регенерации в латиноамериканских условиях объясняется тем, что в нем проявляется действие охарактеризованного выше механизма обеспечения целостности социокультурной системы на всех уровнях.

Нужно особо отметить, что хотя популистскую технику воздействия на массы используют разные силы (достаточно вспомнить самый яркий в настоящее время пример правого популизма — феномен Ж.Болсонару в Бразилии), тем не менее, думаю, правы те, кто считают, что самым глубоким внутренним духовным импульсом, породившим популизм, явилось стремление вернуться к изначальному пониманию демократии как прямой власти народа. И это напрямую связано с критикой западного понимания демократии, прежде всего западной концепции представительства народной воли через посредников — политические институты, в первую очередь политические партии. В данном ракурсе в основе популизма лежит стремление свести к минимуму роль посредников между властью лидера и идущими за ним массами.

Тем не менее популизм отнюдь не отказывается от создания соответствующей ему институциональной структуры. Но понимание в нем роли институтов коренным образом отличается от классической либеральной концепции. В основе последней — идея о том, что функция социальных институтов заключается в преодолении конфликтов, создании базы для консенсуса конфликтующих сторон. Функция же популистских движений и соответствующих им структур не столько в нейтрализации конфликта, сколько в том, чтобы «выразить его и тем самым создать специфический механизм для его урегулирования» [Coronel, Cadahia, 2018. P. 80]. То есть речь идет об использовании энергии конфликта в созидательных целях. Таким образом, популизм выступает как способ управления конфликтами, адекватный реальности региона. Он рождается (и неизменно возрождается после провала неудачных популистских экспериментов) из стремления обрести целостность социума или восстановить ее после очередной вспышки противоречий, разрушающих общество.

Социальные движения в многообразии «пограничья»

В Латинской Америке доминанта многообразия особенно ярко проявила себя в формировании новых форм социальности, возникающих, как правило, как реакция на массовую маргинализацию в условиях неолиберальной глобализации в стихии повседневности, в ходе реализации самых разнообразных социальных практик. Речь идет о многочисленных альтернативных социальных движениях. Подобные движения появились и в других регионах, но именно в Латинской Америке они получили особенно бурное развитие. Это прямо обусловлено спецификой «пограничного» цивилизационного типа. Помимо порождённых «индейским ренессансом» разнообразных индейских организаций, здесь привлекают всё большее внимание экологические, феминистские, молодежные движения, христианские низовые общины, а также объединения людей на основе различного рода конкретных гражданских инициатив.

Чаще всего эти новые формы социальности возникают на базе использования опыта общинных типов самоорганизации. Доминанта многообразия проявляет себя также в чрезвычайном многообразии форм социального протеста. Хотя все эти движения очень различны, всех их объединяет ряд общих черт (пожалуй, наиболее обстоятельный анализ современных новых социальных движений см. в работе [Billión, Ventura, 2020. Pp. 37–52]).

Прежде всего следует отметить у сторонников новых социальных движений принципиальное неприятие самой основы западной концепции демократии — идеи о способности адекватного выражения воли народа теми его представителями, которым он делегирует власть. Подобный подход связан с резкой критикой существующей партийной системы. По мнению большинства представителей социальных движений, партийная форма политической организации неизбежно ведёт к её интеграции в существующую систему власти и тем самым — к искажению целей борьбы или полному от них отказу. Практически все эти движения ориентируются на создание автономных социальных пространств, в рамках которых достигается относительная независимость от господствующей системы господства, вырабатываются нормы поведения, не вписывающиеся в логику функционирования капиталистического рынка.

Предельно обобщая, можно выделить следующие общие принципы организации подобных пространств, разделяемые в той или иной мере всеми движениями рассматриваемого типа. Помимо уже упоминавшегося отказа от идей представительства и делегирования полномочий к ним относятся: самоорганизация, прямое участие, приоритет горизонтальных социальных связей (отрицание «вертикали власти»), сосредоточение на организации конкретных акций по решению конкретных проблем [Billión, Ventura, 2020. P. 52]. Социальные движения активно используют и такие особенности цивилизационного «пограничья», как особая, более значительная, чем в «классических» цивилизациях, роль пространства в рамках пространственно-временного континуума, а также — локального измерения жизни латиноамериканских обществ [Кофман, 1997. С. 25–79; Шемякин, 2020. С. 5–18].

Рассматриваемые движения развертываются, как правило, именно на локальном уровне социального бытия. Особое значение имеет тот, уже отмечавшийся факт, что они проявляют себя именно в сфере повседневности. Здесь стоит напомнить, что реальная идентификационная стратегия латиноамериканской цивилизации, метисация, формировалась первоначально главным образом как раз через повседневность, зачастую (особенно в XVI–XIX вв.) вопреки официальным идентификационным стратегиям [Шемякин, 2016а. С. 25–27]. И хотя новые социальные движения еще далеки от подобного уровня воздействия на латиноамериканскую социальность, их потенциал, бесспорно, очень велик. Пусть пока он далек от сколько-нибудь полной реализации, но характер действий этих движений вписывается в ту разновидность идентификационной стратегии, которая наиболее органична для Латинской Америки.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, возвращаясь к положениям, сформулированным в начале данной статьи, что, рассматривая тему культурного воздействия на все сферы жизни стран региона, необходимо помнить, что речь идет именно о детерминации, а не об однозначном воздействии. Поэтому важно учитывать, что импульсы, исходящие от подсистем *pattern maintenance* и изменения образца, могут отклоняться другими подсистемами, в первую очередь адаптивной и целеполагания. То есть культурные импульсы могут блокироваться экономическими и/или политическими факторами. Впрочем (и это надо подчеркнуть особо), о полной блокаде говорить не приходится: импульсы, исходящие от подсистем поддержания и изменения образца, никогда не прекращают своего воздействия на социум, хотя такое воздействие может перестать быть прямым и, соответственно, приобретать косвенный характер.

Дело в том, что определяющая структурная черта цивилизационного «пограничья» — доминанта многообразия — наложила свой отпечаток и на характер взаимодействия подсистем. В Латинской Америке у них не прослеживается четкой иерархии. Импульсы, исходящие от разных подсистем (в особенности от подсистемы *pattern maintenance* и от адаптивной подсистемы), часто сталкиваются и противоречат друг другу, а вектор эволюции складывается как общая равнодействующая разных детерминаций.

ЛИТЕРАТУРА

- Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI–XX века. (2004). — М.: Наука.
- Балибар Э., Валлерстайн И. (2004). Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. — М.: «Логос».
- Бёгельсдейк Ш., Маселанд Р. (2016). Культура в экономической науке: методологические рассуждения и области практического применения в современности. — М., СПб.: Издательство Института Гайдара.
- Боливар С. (1983). Избранные произведения. 1812–1830. — М.: Наука.
- Бор Н. (1959). Квантовая физика и философия // Успехи физических наук. Т. 67. Вып. 1. С. 37–42.
- Ворожейкина Т.Е. (2001). Государство и общество в России и Латинской Америке // Общественные науки и современность. № 6. С.5–26.
- Грейф А. (2013). Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли. — М.: Издательский дом ВШЭ.
- Давыдов В.М. (1991). Латиноамериканская периферия мирового капитализма. — М.: Наука.
- Давыдов В.М. (2006). Цивилиография и цивилизационная идентификация Латино-Карибской Америки. — М.: ИЛА РАН.
- Земсков В.Б. (2014). О литературе и культуре Нового Света. — М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Гнозис.
- Костогрызов П.И. (2018). Общинное правосудие в странах Латинской Америки. — М.: Юрлитинформ.
- Кофман А.Ф. (1997). Латиноамериканский художественный образ мира. — М.: Наследие.
- Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире (2007). — М.: ИМЭМО РАН.
- Маркарян Э.С. (1969). Очерки теории культуры. — Ереван: АН Армянской ССР.
- Маркарян Э.С. (1983). Теория культуры и современная наука: логико-методологический анализ. — М.: Мысль.
- Мухамеджанова Н.М. (2015). Современные цивилизационные процессы. — Оренбург: ФГБОУ ВПО «ОГУ».
- Норт Д. (2010). Понимание процесса экономических изменений. — М.: Издательский дом ВШЭ.
- Осинов Ю.М. (2016). Этнонациональное сознание и хозяйственное поведение // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ. №4 (106). С. 39–42.
- Парсонс Т. (1998). Система современных обществ. — М.: Аспект Пресс.
- Парсонс Т. (2002). О социальных системах. — М.: Академический проект.
- Пригожин И., Стенгерс И. (1986). Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. — М.: Прогресс.
- Россия в архитектуре глобального мира: Цивилизационное измерение (2015). — М.: Языки славянской культуры; Знак.
- Савельев М.Ю. (2015). Мультикультурный институционализм. Общая экономическая теория цивилизации. Политическая экономия традиционализма. Проект сетевого общества. — Ижевск: Ассоциация по методологии обеспечения деловой активности и общественного развития «Митра».
- Седов Л.А. (1987). К типологизации средневековых общественных систем Востока (попытка системного подхода) // Народы Азии и Африки. № 5. С. 56–62.
- Сото Э. де (2008). Иной путь. Экономический ответ терроризму. — Челябинск: Социум.

- Топоров В.Н. (2010). Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. Т. 1. — М.: Рукописные памятники Древней Руси.
- Труды Института востоковедения РАН (2017). Вып. 3. Культура и политика: проблемы взаимосвязи. — М.: ИВ РАН.
- Цивилизационные вызовы во всемирно-исторической перспективе (2018). — М.: Аквилон.
- Шемякин Я.Г. (2001). Европа и Латинская Америка: взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. — М.: Наука.
- Шемякин Я.Г. (2007). Вера и рацио в духовном космосе латиноамериканской цивилизации // Латинская Америка. №3. С. 72–92.
- Шемякин Я.Г. (2013а). Наука // Энциклопедия «Латинская Америка». — М.: Экономика. С. 316–330.
- Шемякин Я.Г. (2013б). Феномен «пограничности»: социокультурное содержание и исторические типы // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — М.: ИВИ РАН. С. 23–45.
- Шемякин Я.Г. (2015). Модернизация как процесс междивизиационного взаимодействия // Цивилизации. Вып.10. Модернизация и цивилизационные вызовы XXI века. — М.: Наука. С. 107–146.
- Шемякин Я.Г. (2016а). Идентичность и тип цивилизации: особенности соотношения (Россия — Латинская Америка — Запад) // «Миры миров»: В поисках идентичности. Россия и Латинская Америка в сравнительно-исторической перспективе. — М.: Фонд исторической перспективы. С. 3–43.
- Шемякин Я.Г. (2016б). Россия и Латинская Америка как цивилизации: попытка сравнения. Размышления над книгами В.Б. Земскова // Мир России. № 1. С. 157–159.
- Шемякин Я.Г. (2017). Глобальное, универсальное, локальное: соотношение понятий и соотношение реальностей // Цивилизации. Вып. 11. — М.: Наука. С. 171–214.
- Шемякин Я.Г. (2018). Конфликт интересов и конфликт ценностей. Миграционная проблематика в контексте проблемы цивилизационной идентичности // Цивилизационные вызовы во всемирно-исторической перспективе. — М.: Аквилон. С. 348–402.
- Шемякин Я.Г. (2019а). Идентичность как способ бытия культуры. Латиноамериканский опыт // Ибероамерика: культурная идентичность в эпоху глобализации. — М.: ИЛА РАН. С. 34–66.
- Шемякин Я.Г. (2019б). Общинная юстиция как проявление цивилизационной идентичности Латинской Америки // Латинская Америка. № 2. С. 94–106.
- Шемякин Я.Г. (2020). К вопросу о роли пространства в цивилизационной системе: опыт «пограничных» цивилизаций планетарного масштаба в универсальном контексте // Новая и новейшая история. № 3. С. 7–20.
- Balslev C., Velázquez García M.A. (2019). Introduction: Sustainable Development Goals and Informal Economies in Latin America. The Bargaining Power of Informal Economies in a Sustainable Context // Diálogos Latinoamericanos. No. 28. Dossier: Sustainable Development Goals and Informal Economies. Pp. 53–56.
- Balslev Clausen H., Velázquez García M.A. (2019). Re-writing the Sustainable Development Goals from Marketplaces in Argentina, Chile, Colombia and México // Diálogos Latinoamericanos. No. 28. Pp. 77–88.
- Billión D., Ventura Ch. (2020). ¿Por que protesta tanta gente a la vez? // Nueva Sociedad/ No. 286. Pp. 37–52.
- Campos Vázquez R.M. (2017). Economía y psicología. Apuntes sobre economía conductual para entender problemas económicos actuales. — México: Fondo de Cultura Económica.
- Cavarozzi M. (1992). Beyond Transitions to Democracy in Latin America // Journal of Latin American Studies. No. 3. Pp. 665–684.
- Coronel V., Cadahia L. (2018). Populismo republicano: más allá de “Estado versus pueblo” // Nueva Sociedad. No. 273. Pp. 72–82.
- Davydov Vladimír M. (2016). Latinoamérica: rutas del desarrollo y lazos con Rusia. Percepción desde Moscú. ILA ACR.
- De Marchi Moyano B. (2020). Fronteras bolivianas: entre el corredor y el laberinto // Nueva Sociedad. No. 289. Pp. 107–117.
- Dilla Alfonso H. (2020). Las fronteras, los muros y sus agujeros // Nueva Sociedad. No. 289. Pp. 37–69.
- Eisenstadt S.N. (2000a). Die Vielfalt der Moderne. — Weilerswist: Velbruck.
- Eisenstadt S.N. (2000b). Multiple Modernities // Daedalus. Cambridge (MA). Vol. 129. No. 1. Pp. 1–30.
- Eisenstadt S.N. (2001). The Civilizational Dimension of Modernity // International Sociology. Vol. 16. No.3. Pp. 320–340.
- Eisenstadt S.N. (2006). Multiple Moderne im Zeitalter der Globalisierung // Die Vielfalt und Einheit der Moderne: Kultur und strukturvergleichende Analysen. — Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Pp. 37–62.
- Fukuyama F. (2019). Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. — Barcelona. Ediciones Deusto.
- Griffiths J. (1986). What Is Legal Pluralism? // Journal of Legal Pluralism. No. 24. P. 2.
- Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe (2019). Alicia Bárcena. Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Santiago de Chile. 24–26 de abril de 2019.
- Milán Valenzuela H. (2019). Informalidad y heterogeneidad social // Diálogos Latinoamericanos. No. 28. Pp. 57–74.
- Parsons T. (1937). The Structure of Social Action. — New York: Free Press.
- Parsons T. (1971). The System of Modern Societies. — New Jersey: Englewood Cliffs.

- Parsons T. (1977). *The Evolution of Societies*. — New Jersey: Englewood Cliffs.
- Paz O. (1986). *One Earth, Four or Five Worlds*. — San Diego. New York. London: A. Harvest. HBJ Book. Pp. 100–101.
- Roth J., Manke A. (2018). ¿Qué crisis y qué respuesta? Repensar las crisis en su contexto sociohistórico // *Nueva Sociedad*. No. 273. Pp. 34–43.
- Schwinn T. (2009). Multiple Modernities: Konkurrierende Thesen und offene Fragen. Ein Literaturbericht in konstruktiver Absicht // *Zeitschrift für Soziologie*. Stuttgart. G. 38. H. 6. Pp. 454–476.
- Vega García H. (2014). Identidad cultural y patrimonio ambiental: resistencia, reivindicación, apropiación e innovación de las mujeres en la Reserva de la Biosfera Maya // *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. Vol. 25(2). Pp. 45–78.
- Villeda Santana M.C. (2011). Derechos humanos y desarrollo humano en México // *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. Vol. 22 (2). Pp. 185–208.
- Wagner P. (2010). *Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology* // *Thesis Eleven*. London. Vol. 100. No. 1. Pp. 53–60.

Шемякин Яков Георгиевич

shemyakinx3@gmail.com

Yakov Shemyakin

Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of the Institute of Latin America of the Russian Academy of Sciences, (Moscow).

shemyakinx3@gmail.com

THE PROBLEM OF CULTURAL DETERMINATION OF VARIOUS SPHERES OF SOCIAL LIFE: LATIN AMERICAN EXPERIENCE IN A UNIVERSAL CONTEXT (INSTITUTIONAL DIMENSION)

Abstract. The work is devoted to the study of the institutional dimension of the problem of cultural determination of various areas of social life. The author focuses on the Latin American experience of solving this problem, considered in a universal context. Ya.G. Shemyakin reveals the content of the concept of “determination” in the context of the process of changing general scientific paradigms, which determined the dynamics of the evolution of world science in the last decades of the 20th — early 21st centuries. The assertion of the principles of a new, “Prigozhin’s” paradigm in the humanities and social sciences meant the recognition of the fact that the behavior of a sociocultural subject is influenced not by a single factor that ultimately determines the nature of social reality, but by a multitude of impulses emanating from various areas of life of society. Such a position implied a fundamental rejection of any kind of reductionism and the recognition that the impulses generated by the logic of the deployment of the economy, politics, law, and spiritual life are correlated according to the sphere principle, none of them is unambiguously determining, they mutually determine each other. It is these impulses that are designated by the term “determination”.

Cultural determination is considered as a factor in achieving and maintaining the integrity of the “border” civilizational system of Latin America in the context of the dominant diversity. Integrity (at all levels, including the national one) is achieved as a result of the action of a special mechanism, which is based on the ability of the subject of sociocultural interaction to an increased (compared to “classical” civilizations) level of operating with sign structures of various origins and nature, which, in turn, determines , increased permeability of the internal and external boundaries of culture, as well as the determining importance of the individual level of deployment of the civilizational process, primarily the “space of freedom” of the individual

The institutional dimension of the phenomenon of cultural determination is considered systematically, through the prism of the Parsons-Sedov concept, according to which four subsystems are distinguished in a single system of society, each of which performs one of the functions necessary for the normal functioning of a social organism: adaptive (material production, economy); goal setting or goal achievement (political organization); integration; “pattern maintenance” or a latent subsystem within which the main values are generated and maintained, which give meaning to the existence of a particular human community, determine the main features of its historical appearance. Ya.G. Shemyakin supplemented this scheme by formulating the concept of the fifth subsystem responsible for the introduction of innovations, which he called “the sample change subsystem”.

Keywords: *culture, determination, integrity, institutional dimension, “frontier” civilization.*

JEL: A12, A13, B15, B52.

REFERENCES

- Aziatskaya Rossiya v geopoliticheskoi i tsivilizatsionnoi dinamike XVI-XX veka.* (2004). [Asian Russia in the geopolitical and civilizational dynamics of the 16–20th centuries]. — M.: Nauka. (In Russ.).
- Balibar E., Vallerstain I.* (2004). *Rasa, natsiya, klass. Dvumyslennye identichnosti* [Race, nation, class. Ambiguous identities]. — M.: «Logos». (In Russ.).
- Balslev C., Velázquez García M.A.* (2019). Introduction: Sustainable Development Goals and Informal Economies in Latin America. The Bargaining Power of Informal Economies in a Sustainable Context // *Dialogos Latinoamericanos*. No.28. Dossier: Sustainable Development Goals and Informal Economies. Pp. 53–56.
- Balslev Clausen H., Velázquez García M.A.* (2019). Re-writing the Sustainable Development Goals from Marketplaces in Argentina, Chile, Colombia and México // *Dialogos Latinoamericanos*. No. 28. Pp. 77–88.
- Beugelsdejk S., Maseland R.* (2016). *Kul'tura v ekonomicheskoy nauke: metodologicheskkiye rassuzhdeniya i oblasti prakticheskogo primeneniya v sovremennosti* [Culture in Economics: History, Methodological Reflections, and Contemporary Applications]. — M., SPb.: Izdatel'stvo Instituta Gaydara.
- Billión D., Ventura Ch.* (2020). ¿Por que protesta tanta gente a la vez? // *Nueva Sociedad*, No. 286. Pp. 37–52.
- Bolívar S.* (1983). *Izbrannyye proizvedeniya. 1812–1830.* [Selected Works. 1812–1830]. — M.: Nauka. (In Russ.).
- Bor N.* (1959). *Kvantovaya fizika i filosofiya.* [Quantum physics and philosophy.] // *Uspekhi fizicheskikh nauk.* T. 67. Vyp. 1. С. 37–42. (In Russ.).
- Campos Vázquez R.M.* (2017). *Economía y psicología. Apuntes sobre economía conductual para entender problemas económicos actuales.* — México: Fondo de Cultura Económica.
- Cavarozzi M.* (1992). Beyond Transitions to Democracy in Latin America // *Journal of Latin American Studies*. No. 3. Pp. 665–684.
- Coronel V., Cadahia L.* (2018). Populismo republicano: más allá de “Estado versus pueblo” // *Nueva Sociedad*. No. 273. Pp. 72–82;
- Davydov V.M.* (1991). *Latinoamerikanskaya periferiya mirovogo kapitalizma* [Latin American periphery of world capitalism]. — M.: Nauka. (In Russ.).
- Davydov V.M.* (2006). *Tsivilografiya i tsivilizatsionnaya identifikatsiya Latino-Karibskoi Ameriki* [Civiliography and civilizational identification of Latin-Caribbean America]. — M.: ILA RAN. (In Russ.).
- Davydov Vladimír M.* (2016). *Latinoamérica: rutas del desarrollo y lazos con Rusia. Percepción desde Moscú.* — M.: ILA ACR.
- De Marchi Moyano B.* (2020). Fronteras bolivianas: entre el corredor y el laberinto // *Nueva Sociedad*. No. 289. Pp. 107–117.
- Dilla Alfonso H.* (2020). Las fronteras, los muros y sus agujeros // *Nueva Sociedad*. No. 289. Pp. 37–69.
- Eisenstadt S.N.* (2000a). *Die Vielfalt der Moderne.* — Weilerswist: Velbruck.
- Eisenstadt S.N.* (2000b). Multiple Modernities // *Daedalus*. Cambridge (MA). Vol. 129. No. 1. Pp. 1–30.
- Eisenstadt S.N.* (2001). The Civilizational Dimension of Modernity // *International Sociology*. London etc. Vol. 16. No. 3. Pp. 320–340.
- Eisenstadt S.N.* (2006). Multiple Moderne im Zeitalter der Globalisierung // *Die Vielfalt und Einheit der Moderne: Kultur und strukturvergleichende Analysen.* — Wiesbaden: Westdeutseher Verlag. Pp. 37–62.
- Fukuyama F.* (2019). *Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento.* — Barcelona. Ediciones Deusto.
- Greif A.* (2013) *Instituty i put' k sovremennoy ekonomike. Uroki srednevekovoy torgovli* [Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade]. — M.: Izdatel'skiy dom HSE. (In Russ.).
- Griffiths J.* (1986). What Is Legal Pluralism? // *Journal of Legal Pluralism*. No. 24. P. 2.
- Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.* (2019). Alicia Bárcena. Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Santiago de Chile. 24–26 de abril de 2019.
- Kofman A.F.* (1997). *Latinoamerikanskii khudozhestvennyi obraz mira.* [Latin American artistic image of the world]. — M.: Nasledie. (In Russ.).
- Kostogryzov P.I.* (2018). *Obshchinnoe pravosudie v stranakh Latinskoi Ameriki.* [Community Justice in Latin America]. — M.: Yurlitinform. (In Russ.).
- Latinoamerikanskaya tsivilizatsionnaya obshchnost' v globaliziruyushchemsya mire.* (2007). [Latin American civilizational community in a globalizing world]. — M.: IMEMO RAN. (In Russ.).
- Markaryan E.S.* (1969). *Ocherki teorii kul'tury.* [Essays on the theory of culture]. — Erevan: AN Armyanskoy SSR (In Russ.).
- Markaryan E.S.* (1983). *Teoriya kul'tury i sovremennaya nauka: logiko-metodologicheskii analiz* [Theory of culture and modern science: logical and methodological analysis]. — M.: Mysl' (In Russ.).
- Milán Valenzuela H.* (2019). Informalidad y heterogeneidad social // *Diálogos Latinoamericanos*. No.28. Pp. 57–74.
- Mukhamedzhanova N.M.* (2015). *Sovremennyye tsivilizatsionnye protsessy* [Modern civilizational processes]. — Orenburg: FGBOU VPO «OGU». (In Russ.).

- North D. (2010). *Ponimaniye protsessa ekonomicheskikh izmeneniy* [Understanding the process of economic change]. — М.: Izdatel'skiy dom HSE. (In Russ.).
- Osipov Yu.M. (2016). Etnonatsional'noe soznanie i khozyaistvennoe povedenie. [Ethno-national consciousness and economic behavior] // *Filosofiya khozyaistva. Al'manakh Tsentra obshchestvennykh nauk i ekonomicheskogo fakul'teta MGU*. No. 4 (106). Pp. 39–42. (In Russ.).
- Parsons T. (1937). *The Structure of Social Action*. — New York: Free Press.
- Parsons T. (1971). *The System of Modern Societies*. — New Jersey: Englewood Cliffs.
- Parsons T. (1977). *The Evolution of Societies*. — New Jersey: Englewood Cliffs.
- Parsons T. (1998). *Sistema sovremennykh obshchestv*. [The system of modern societies]. — М.: Aspekt Press. (In Russ.).
- Parsons T. (2002). *O sotsial'nykh sistemakh*. [On social systems]. — М.: Akademicheskii proekt. (In Russ.).
- Paz.O. (1986). *One Earth, Four or Five Worlds*. — San Diego. New York. London. A. Harvest. HBJ Book. Pp. 100–101.
- Prigozhin I., Stengers I. (1986). *Poryadok iz khaosa: novyi dialog cheloveka s prirodoy*. [Order out of chaos: a new dialogue between man and nature]. — М.: Progress. (In Russ.).
- Rossiya v arkhitekture global'nogo mira: Tsvivilizatsionnoe izmerenie. (2015). [Russia in the Architecture of the Global World: A Civilization Dimension]. — М.: Yazyki slavyanskoi kul'tury; Znak. (In Russ.).
- Roth J., Manke A. (2018). ¿Qué crisis y qué respuesta? Repensar las crisis en su contexto sociohistórico// *Nueva Sociedad*. No. 273. Pp. 34–43.
- Savelev M.Yu. (2015). *Mul'tikul'turnyi institutsionalizm. Obshchaya ekonomicheskaya teoriya tsvivilizatsii. Politicheskaya ekonomiya traditsionalizma. Proekt setevogo obshchestvo* [Multicultural institutionalism. General economic theory of civilization. The political economy of traditionalism. Network society project]. — Izhevsk: Assotsiatsiya po metodologii obespecheniya delovoi aktivnosti i obshchestvennogo razvitiya «Mitra». (In Russ.).
- Schwinn T. (2009). Multiple Modernities: Konkurrirende Thesen und offene Fragen. Ein Literaturbericht in konstruktiver Absicht // *Zeitschrift für Soziologie*. Stuttgart. G. 38. H. 6. Pp. 454–476.
- Sedov L.A. (1987). K tipologizatsii srednevekovykh obshchestvennykh sistem Vostoka (popytka sistemnogo podkhoda) [On the typology of the medieval social systems of the East (an attempt at a systematic approach)] // *Narody Azii i Afriki*. No. 5. Pp. 56–62. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2001). *Evropa i Latinskaya Amerika: vzaimodeistvie tsvivilizatsii v kontekste vseмирnoi istorii*. [Europe and Latin America: the interaction of civilizations in the context of world history]. — М.: Nauka. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2007). Vera i ratsio v dukhovnom kosmose latinoamerikanskoi tsvivilizatsii. [Faith and rationality in the spiritual space of Latin American civilization] // *Latinskaya Amerika*. No. 3. Pp. 72–92. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2013a). *Nauka [Science]// Entsiklopediya «Latinskaya Amerika»*. — М.: Ekonomika. Pp. 316–330. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2013b). Fenomen «pogranichnosti»: sotsiokul'turnoe sodержanie i istoricheskie tipy [The phenomenon of “borderline”: socio-cultural content and historical type] // *Dialog so vremenem. Al'manakh intellektual'noi istorii*. — М.: IVI RAN. Pp. 23–45. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2015). Modernizatsiya kak protsess mezhtsvivilizatsionnogo vzaimodeistviya [Modernization as a process of intercivilizational interaction] // *Tsvivilizatsii. Vyp.10. Modernizatsiya i tsvivilizatsionnye vyzovy XXI veka*. — М.: Nauka. Pp. 107–146. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2016a). Identichnost' i tip tsvivilizatsii: osobennosti sootnosheniya (Rossiya — Latinskaya Amerika — Zapad) [Identity and Type of Civilization: Peculiarities of Correlation (Russia — Latin America — West)] // *«Miry mirov»: V poiskakh identichnosti. Rossiya i Latinskaya Amerika v sravnitel'no-istoricheskoi perspective*. — М.: Fond istoricheskoi perspektivy. Pp. 3–43. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2016b). Rossiya i Latinskaya Amerika kak tsvivilizatsii: popytka sravneniya. Razmyshleniya nad knigami V.B. Zemskova [Russia and Latin America as civilizations: an attempt at comparison. Reflections on the books of V.B. Zemskov] // *Mir Rossii*. No.1. Pp. 157–159. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2017). Global'noe, universal'noe, lokal'noe: sootnoshenie ponyatii i sootnoshenie real'nosti [Global, universal, local: correlation of concepts and correlation of realities] // *Tsvivilizatsii. Vyp. 11*. — М.: Nauka. Pp. 171–214. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2018). Konflikt interesov i konflikt tsennostei. Migratsionnaya problematika v kontekste problemy tsvivilizatsionnoi identichnosti. [Conflict of interest and conflict of values. Migration issues in the context of the problem of civilizational identity] // *Tsvivilizatsionnye vyzovy vo vseмирno-istoricheskoi perspective*. — М.: Akvilon. Pp. 348–402. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2019a). Identichnost' kak sposob bytiya kul'tury. Latinoamerikanskii opyt [Identity as a way of culture's being. Latin American experience] // *Iberoamerika: kul'turnaya identichnost' v epokhu globalizatsii*. — М.: ILA RAN. Pp. 34–66. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2019b). Obshchinnaya yustitsiya kak proyavlenie tsvivilizatsionnoi identichnosti Latinskoi Ameriki [Community justice as a manifestation of the civilizational identity of Latin America] // *Latinskaya Amerika*. No.2. Pp. 94–106. (In Russ.).
- Shemyakin Ya.G. (2020). K voprosu o roli prostranstva v tsvivilizatsionnoi sisteme: opyt «pogranichnykh» tsvivilizatsii planetarnogo masshtaba v universal'nom kontekste [On the issue of the role of space in the civilizational

- system: the experience of “border” civilizations on a planetary scale in a universal context]//*Novaya i noveishaya istoriya*. No. 3. (In Russ.).
- Soto E. de (2008). *Inoy put'. Ekonomicheskiy otvet terrorizmu* [Other way. Economic response to terrorism]. — Chelyabinsk: Sotsium. (In Russ.).
- Toporov V.N. (2010). *Mirovoe derevo: Universal'nye znakovye komplekсы*. T.1 [World Tree: Universal sign complexes. V. 1]. — M.: Rukopisnye pamyatniki Drevnei Rusi. (In Russ.).
- Trudy Instituta vostokovedeniya RAN*. (2017). [Works of the Institute of Oriental Studies RAS] Vyp. 3. Kul'tura i politika: problemy vzaimosvyazi. — M.: IV RAN. (In Russ.).
- Tsivilizatsionnye vyzovy vo vseмирno-istoricheskoi perspektive*. (2018). [Civilizational challenges in the world-historical perspective]. — M.: Akvilon. (In Russ.).
- Vega García H. (2014). Identidad cultural y patrimonio ambiental: resistencia, reivindicación, apropiación e innovación de las mujeres en la Reserva de la Biosfera Maya // *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. Vol. 25 (2). Pp. 45–78.
- Villeda Santana M. C. (2011). Derechos humanos y desarrollo humano en México// *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. Vol. 22 (2). Pp. 185–208.
- Vorozheykina T.Ye. (2001) Gosudarstvo i obshchestvo v Rossii i Latinskoy Amerike [State and Society in Russia and Latin America] // *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*. No. 6. Pp. 5–26. (In Russ.).
- Wagner P. (2010). *Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology* // Thesis Eleven. London. Vol. 100. No. 1. Pp. 53–60.
- Zemskov V.B. (2014). *O literature i kul'ture Novogo Sveta*. [On the literature and culture of the New World]. — M.: SPb.: Tsentr gumanitarnykh initsiativ Gnozis. (In Russ.).

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.Л. Римский

ведущий научный сотрудник, Фонд развития исследовательских программ «Информатика для демократии» (ИНДЕМ), старший преподаватель, Московский психолого-социальный университет (МПСУ) (Москва)

АРХАИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГИПОТЕЗА¹

Аннотация. В статье представлено осмысление результатов исследования судебной власти России, выполненное Фондом ИНДЕМ в 2007-2010 гг. Обосновывается вывод, что на результатах реформирования и развития судебной власти существенно сказалась и сказывается в настоящий период её архаизация как совокупность скрытых, латентных факторов сознания и социального поведения судей, взаимодействующих с судами институтов и граждан. Явления архаизации современной России не признаются большинством общества и многими исследователями. Но именно явления архаизации во многом объясняют неудачи реформ постсоветского периода вследствие развития явлений массовой инверсии (по А.С. Ахиезеру). Судебная власть оказалась столь же подверженной архаизации, как и другие сферы жизни и деятельности в нашей стране. Архаизация судебной власти существенно препятствует достижению целей судебной реформы в России.

Ключевые слова: *архаизация, судебная власть, судебная реформа, инверсия и медиация по А.С. Ахиезеру, социокод М.К. Петрова, сословия, раздаточная экономика, модернизация России.*

JEL: A12, K10, K19, K20, K40.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_112_127.

Судебный проект Фонда ИНДЕМ

Исследовательский проект «Судебная реформа в России: институционально-социетальный анализ трансформации, ревизия результатов, определение перспектив» выполнялся в период 2007–2010 гг. [Материалы исследовательского проекта..., 2007–2010]. В этом проекте было два основных исследовательских направления — правовое и социологическое изучение судебной власти России, а по его результатам были опубликованы две монографии [Горбуз, Краснов, Мишина, Сатаров, 2010; Сатаров, Римский, Благовещенский, 2010].

Одной из причин, по которой Фонд ИНДЕМ провёл это исследование, явилось желание содействовать модернизации судебной власти постсоветской России. Существенной проблемой её модернизации был процесс адаптации новых институтов модернизации к старым социальным порядкам осуществления правосудия в ситуации, когда требовалось поддержание имеющейся в стране судебной системы, недопущение вакуума в этой сфере. Однако эта адаптация, в частности, порождала новые формы коррупции в судебной власти, источниками которых становились вновь построенные, внедрённые институты

¹ Мнение части членов редколлегии может не совпадать с мнениями авторов работ, публикуемых журналом «Вопросы теоретической экономики».

[Горбуз, Краснов, Мишина, Сатаров, 2010. С. 24]. Было признано невозможным добиться того, чтобы состояние судебной власти соответствовало общепринятым стандартам правового государства с помощью только нормативных усовершенствований [Там же. С. 16].

Для изменения сложившегося положения в российской судебной власти Фондом ИНДЕМ было решено найти научные обоснования возможностей её модернизации. Поэтому концепция и эмпирические методики судебного проекта Фонда ИНДЕМ были направлены на выявление и описание сознания и реальных социальных практик граждан и предпринимателей при их взаимодействиях с судами, реальных социальных практик судей, а также связанных с ними следователей, прокуроров и адвокатов.

Для достижения этих целей в социологической части судебного проекта Фонда ИНДЕМ применялись следующие эмпирические методики [Горбуз, Краснов, Мишина, Сатаров, 2010. С. 36]:

- настольное исследование методик и результатов ранее проведённых социологических исследований, начиная с 60-х гг. XX в. (советского периода) и заканчивая периодом начала судебного проекта Фонда ИНДЕМ;
- личные полужформализованные интервью с экспертами, профессионалами;
- экспертное оценивание полученных результатов по формализованным методикам;
- фокус-группы (групповые интервью) с гражданами;
- фокус-группы (групповые интервью) с предпринимателями;
- формализованный анкетный опрос граждан на всероссийской репрезентативной выборке;
- формализованный анкетный опрос предпринимателей на всероссийской направленной выборке, предполагавший отбор для заполнения анкет предпринимателей определённых типов по разработанным на основе данных государственной статистики квотам.

По окончании судебного проекта осмысление его результатов заняло несколько лет. Опубликованные монографии, приведённые в списке литературы, были результатами только начального периода этого осмысления. При последующем анализе было признано, что на результатах реформирования и развития судебной власти существенно сказались и сказывается в настоящий период её архаизация, как совокупность скрытых, латентных факторов сознания и социального поведения судей, взаимодействующих с судами институтов и граждан.

Необходимость и возможности социологических исследований судебной власти

С позиций юристов-профессионалов исполнение закона полностью обеспечивается введением его в действие вследствие исполнения его норм гражданами, их объединениями, всеми должностными лицами, правоохранительными и другими органами власти. Норма закона действует, так как всеми гражданами и должностными лицами признаётся авторитет законодателя, установившего эти нормы закона. Такое повсеместное признание фактически означает, что государство, в котором так устанавливаются и исполняются законы, является правовым [Нерсесянц, 2012. С. 80–81]. Кроме того, юристы-профессионалы признают, что в сознании граждан исполнение закона обеспечивается не только авторитетом законодателя и органов власти, но и разумностью, правильностью, справедливостью закона [Нерсесянц, 2005. С. 7]. Следовательно, исполнение закона не может быть полностью осмыслено в рамках юриспруденции, а требует определённого выхода за рамки этой науки.

С позиций социологов действие закона обеспечивается соответствием практик применения включённых в закон формальных норм различными субъектами — полицейскими, следователями, прокурорами, судьями, адвокатами, судебными приставами и другими гражданами, а судебный процесс можно оценивать как «право в действии в его предельной форме» [Моисеева, 2018. С. 30]. Эта особенность судебных процессов подтверждает значимость социологического изучения реального функционирования судебной власти для понимания функционирования закона в нашей стране.

Применение социологического метода в изучении судебной власти начинается с уточнения объекта, предмета и методологии современной социологии, по которым у социологов-профессионалов консенсуса пока не сложилось. В соответствии с одним из наиболее распространённых пониманий социологии эта наука изучает закономерности функционирования общества как целостной системы и отдельных социальных общностей вместе с взаимодействиями между ними. Для социологического исследования судебной власти Фондом ИНДЕМ было использовано понимание объекта социологии как совокупность социальных свойств, связей, отношений и способов их организации в обществе и в отдельных социальных общностях. Социальными общностями могут быть социальные группы, социальные организации, социальные круги, аудитории, коллективы, семьи и другие. В широком смысле социальным вслед за М. Вебером считалось всё относящееся к социальному поведению индивидов, которое ориентировано на поступки или воздержание от их совершения во взаимодействиях с различными социальными общностями, и в котором индивиды ожидают реакций от своих партнёров по таким взаимодействиям. Социальное поведение было предметом исследования судебной власти Фонда ИНДЕМ в соответствии именно с таким пониманием предмета исследования. Это отличало использованный социологический подход от подходов к исследованиям близких объектов в других общественных науках — юриспруденции, политологии, культурологии, экономики, социальной психологии и т.п.

По таким причинам объектом социологического исследования судебной власти, осуществлённого Фондом ИНДЕМ, была судебная власть и взаимодействующие с ней индивиды, социальные общности, организации и органы власти. Предметом изучения стало сознание и социальное поведение индивидов, социальных общностей, организаций и органов власти, находящихся как в составе самой судебной власти, так и во внешних по отношению к ней. Для определённости в дальнейшем судебная власть будет пониматься как власть, осуществляющая правосудие на основе норм Конституции РФ и закона. А судебная система будет пониматься как система судов РФ, государственных органов, имеющих полномочия осуществлять судебную власть.

Важнейшей задачей социологического исследования судебной власти Фонда ИНДЕМ было изучение латентных, т.е. скрытых, не всегда осознаваемых факторов социального поведения всех объектов исследования. Такие латентные факторы, с одной стороны, весьма существенно определяют социальное поведение, смыслы, мотивы и способы осуществления социальных действий, но с другой — весьма сложны для выявления, описания и анализа именно в силу своей скрытности и неосознаваемости индивидами. В частности, латентные факторы социального поведения практически не отражены в различных нормативных документах, т.е. в законах, кодексах, приказах, инструкциях и других. Правовые исследования судебной власти направлены преимущественно на изучение нормативных социальных практик судебной власти. Методы таких исследований очень ограниченно могут учесть действие латентных социальных факторов в анализе практик судебной власти.

В силу необходимости учёта таких факторов социологическое исследование судебной власти Фонда ИНДЕМ исходило из концепции прагматической социологии, развиваемой во Франции с 1980-х гг. [Барт, де Блик, Эртан, Ланьо, Лемье, Линар, Моро де Белланг, Реми, Тром, 2019]. Для исследования это означало признание необходимости учёта мнений,

оценок, рефлексии не только юристов-профессионалов, но и граждан, взаимодействующих с судебной властью. Исходя из необходимости углублённого понимания социального поведения, прагматическая социология признаёт наличие определённых компетенций не только у профессионалов, но и у непрофессионалов, т.е. практически у всех индивидов. Признавая это, прагматическая социология признаёт право на рефлексии и критическое мышление для всех индивидов. Это предполагает изучение повседневных социальных практик и профессионалов, и непрофессионалов. Безусловно, значимость социального опыта и компетенций разных индивидов различна, но их совокупность должна учитываться при выявлении и описании реальных закономерностей социального поведения и сознания, определяющих те или иные сферы деятельности.

Использование концепции прагматической социологии для социологического исследования судебной власти означает необходимость выявления представлений, мнений, оценок, результатов рефлексии судебной сферы как профессионалов, в первую очередь юристов различных направлений, так и непрофессионалов — граждан, взаимодействующих с судами и получивших информацию об их деятельности по разным каналам социальной коммуникации. Такой методологический выбор во многом мотивировался желанием способствовать эффективности осуществлявшейся в России судебной реформы.

Судебная власть в оценках граждан и экспертов

По данным судебного проекта Фонда ИНДЕМ, нормативной и декларировавшейся публично важнейшей целью судебной реформы в постсоветской России было преобразование судебной власти в самостоятельную ветвь власти в системе разделения властей². Эта цель признана давно достигнутой на уровне действующих норм Конституции РФ, законов и постановлений Верховного Суда РФ. Однако оценки граждан, данные в 2007–2010 гг., свидетельствовали об ином. И можно утверждать, что и ныне самостоятельной ветвью власти судебная власть в России всё ещё не стала.

Суды и судьи в России признаются гражданами (как и многими экспертами, принимавшими участие в исследовании Фонда ИНДЕМ) зависимыми от исполнительной власти. Граждане имели и имеют очень низкий уровень доверия судам, большинство граждан не верят в то, что судебные решения в нашей стране могут быть справедливыми. Последнее приводит к массовому неисполнению судебных решений по гражданским делам, потому что несправедливые в сознании граждан решения необязательны к исполнению, даже если они полностью соответствуют нормам законов. А ведь именно уверенность в справедливости и законности судебных решений, принятых судебными органами, которым они доверяют, обеспечивает их исполнение гражданами, не прибегая к принуждению со стороны, например, службы судебных приставов. Отмечу, что в современной российской ситуации даже служба судебных приставов не всегда может обеспечить выполнение судебных решений, поскольку они не исполняются массово. Эта служба настолько загружена своей работой, что имеет очень ограниченные возможности коммуникации с гражданами: туда сложно дозвониться, исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут исполняться в течение длительных сроков, делающих неактуальными решения представленными в них проблем, и т.п.

В судебном и других исследовательских проектах Фонда ИНДЕМ изучалась также коррупция в судах. Было установлено, что большинство граждан и предпринимателей

² П. 2, ст. 1. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 16.04.2022) «О статусе судей в Российской Федерации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/4d8e5c2861e2804060863fe1597141bc15c8cf45 (дата обращения: 01.05.2022).

имеют устойчивые представления о том, что российские суды поражены коррупцией. А это, в свою очередь, определяет низкую вероятность беспристрастных, непредвзятых и объективных судебных решений, основанных на глубоком и объективном изучении материалов судебных дел. Отмечу, что одной из целей судебной реформы, представленной в Федеральном законе «О статусе судей в Российской Федерации», является необходимость обеспечения судьями объективности, справедливости и беспристрастности при исполнении ими своих полномочий³.

В ходе проведения социологического исследования судебной власти Фондом ИНДЕМ было установлено также, что нормы законов не являются в нашей стране универсально действующими. В судах нормы законов применяются по-разному для богатых и влиятельных граждан и для всех остальных. В частности, выигрыш судебных дел в гражданских делах намного более вероятен для таких богатых и влиятельных граждан, если в качестве другой стороны судебного разбирательства выступают небогатые или невлиятельные граждане. Была установлена также повсеместная зависимость судей от исполнительной власти в том, что принимаемые судьями решения почти всегда обеспечивают интересы и поддерживают мнения должностных лиц исполнительной власти и администрации Президента РФ.

Экспертами в социологическом исследовании судебной власти Фонда ИНДЕМ были правоведаы, адвокаты, бывшие прокуроры и бывшие судьи. Действующие, исполняющие свои полномочия судьи отказывались принимать участие в этом исследовании. И, тем не менее, по собранным и проанализированным экспертным суждениям и оценкам удалось установить существенную зависимость судей от председателей судов, в которых они исполняют свои полномочия. Председатели судов во многом определяют служебные карьеры судей от назначения на должности до распределения служебной нагрузки (какие и сколько дел должен вести конкретный судья) и определения судебных решений. Председатели судов также существенно определяют материальное благополучие судей и их социальные гарантии, в частности получение ими жилья [Галкина, Мачушкина, Шумова, 2019]. Социальные связи в судах действуют таким образом, что председателям судов не всегда необходимо прямо требовать от судей тех или иных судебных решений. Для своего выживания в судебной власти и продолжения служебной карьеры в ней российские судьи должны правильно понимать, какие их судебные решения являются предпочтительными, а какие — вообще недопустимыми с позиций, в первую очередь, их начальников — председателей судов.

Анализ судебной статистики и суждений экспертов в судебном проекте Фонда ИНДЕМ подтвердил распространённость так называемого обвинительного уклона в российском уголовном судопроизводстве. Суть такого уклона в том, что подавляющее большинство приговоров, выносимых российскими судьями по уголовным делам, являются обвинительными. Оправдательных приговоров в настоящий период много меньше, чем их было в советский период. Так, в годы правления И.В. Сталина в СССР в среднем было 10% оправдательных приговоров, а в настоящее время этот показатель снизился примерно до 0,7%. По уголовным делам российские судьи нередко просто переносят содержание обвинительных заключений в свои судебные решения, не принимая во внимание ни доказательства стороны защиты, ни доводы самих подсудимых. Важнейшей причиной обвинительного уклона в деятельности судей является необходимость для них поддержать действия следователей, дознавателей и прокуроров, которые осуществлялись на этапе досудебного производства. Ведь в российской практике работа следствия напрямую определяется результатами судебного разбирательства, т.е. вынесением обвинительных приговоров. Судьям, чтобы не конфликтовать со следствием, выгодно не признавать даже возможности

³ П. 2, ст. 3. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 16.04.2022) «О статусе судей в Российской Федерации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/619222be3ddb3ce7ceb2c77470fcd7d5d743b6ef/ (дата обращения: 01.05.2022).

его ошибок и недочётов. Сами судьи заинтересованы также в недопущении возможностей реабилитации обвиняемых, которые, как правило, с момента задержания и до вынесения судебного решения содержались под стражей (а решение о заключении под стражу до суда также выносится судьёй) [Медведева, Ментюкова, Попов, 2018]. Распространённость обвинительного уклона в российском уголовном судопроизводстве, таким образом, оказывается следствием и деятельности сопряжённых с судом органов власти, и особенностей правосознания российских судей.

Вместе с тем в судебном проекте Фонда ИНДЕМ было установлено, что в некоторых сферах граждане вполне могут ожидать справедливых и непредвзятых судебных решений. Так, в трудовых спорах, решаемых в судебных разбирательствах, российские судьи систематически обеспечивают права работников в соответствии с нормами законодательства, выносят справедливые судебные решения, если требования работников соответствуют этим нормам. Справедливые и непредвзятые судебные решения нередко выносят судьи, которым остаётся не более года исполнять свои полномочия до ухода в отставку по возрасту, на пенсию. Находясь в таком реальном социальном статусе, судьи уже могут ощущать свою независимость от председателей судов, от сопряжённых с судами институтов, им уже не нужно заботиться о своей профессиональной карьере, что и помогает им соответствовать нормативно заданному статусу судей, нормам Конституции РФ и российского законодательства о судебной власти.

Основной вывод судебного проекта Фонда ИНДЕМ, тем не менее, заключался в том, что такое поведение судей — не норма, а отклонение от нее в судейском сообществе России. Из результатов этого проекта вытекает, что судебная реформа постсоветского периода не обеспечила в России верховенства права, равенства всех граждан перед законом и судом, независимости судов, объективности, непредвзятости и справедливости судебных решений. Судейское усмотрение при формировании судебных решений в современной России должно было способствовать обеспечению независимости судей, но в реальности оно массово позволяет обеспечивать через судебные решения интересы различных влиятельных граждан и органов власти, а потому и групп политических, экономических и иных интересов. Новые социальные институты, появившиеся в судебной власти в ходе реформ, в реальности действуют не нормативно, а либо как старые советские, либо в частных, даже корыстных, но не общественных интересах. Результаты такой судебной реформы следует признать неудовлетворительными, поскольку они противоречат заявленным нормативным целям этой реформы.

Архаизация общества и государства современной России

По окончании судебного проекта Фонда ИНДЕМ осмысление его результатов было продолжено. Повторный анализ данных и результатов социологического исследования в рамках этого проекта позволил сформулировать гипотезу о едином латентном факторе, определявшем ранее и определяющим в настоящий период неудачи модернизации судебной власти России. Этим фактором является архаизация судебной власти, как и архаизация российского общества и государственной власти. И хотя такая масштабная архаизация как социокультурное явление не признаётся многими исследователями, должностными лицами и гражданами, именно она объясняет все приведённые выше и многие другие несоответствия состояния сознания и социального поведения российских судей заявленным целям судебной реформы.

Архаизацию далее будем понимать, в основном следуя концепции А.С. Ахиезера [Ахиезер, 2001. С. 89], как «следование общества и органов государственной власти культурным образцам и программам, сложившимся в культурах, предшествующих современ-

ным» [Римский, 2018. С. 151]. Как известно, Россия делает попытки модернизации более чем три столетия, если вести отсчёт с конца XVII в. Первым масштабным периодом реформ были реформы императора Петра I (1699–1725 гг.), вторым, существенно изменившим российскую судебную власть, стали реформы императора Александра II 1860–1870-х гг., третьим — реформы советского периода и четвёртым — реформы постсоветского периода в России. Безусловно, эти реформы уже вывели Россию за пределы традиционной цивилизации, для которой характерно статичное воспроизводство социального порядка и социальных отношений при распространённости идеализирующих прошлое смыслов социальности. Но необходимо признать и то, что идеалы прошлого во многом продолжают определять социальный порядок и социальные отношения в современной России. Причём именно это не позволяет обеспечить успехи в модернизации нашей страны. Судебная власть, действуя в рамках такого социального порядка и используя такие социальные отношения, оказывается неспособной осуществить собственную модернизацию. Приведу ниже некоторые соображения для подтверждения этой гипотезы.

Любые социокультурные практики существенно определяются смыслами, обеспечивающими коллективные и согласованные действия индивидов. Но смыслы не могут быть даны непосредственно, они всегда обозначаются теми или иными символами, кодируются теми или иными знаками. В процессе своей социализации каждый индивид обучается более или менее адекватному выявлению смыслов информационных сообщений, представленных последовательностями или совокупностями знаков. Эти смыслы могут различаться в зависимости от особенностей тех или иных культур, в которых социализировались индивиды. Для повышения эффективности коммуникации во всех культурах формируются определённые стереотипы осмысления знаков-символов сообщений. Такие стереотипы позволяют индивидам не проявлять творчества в извлечении смыслов из тех или иных сообщений, а потом ещё и согласовывать эти смыслы с другими индивидами и социальными общностями для осуществления коллективной деятельности. Без стереотипов человеческая коммуникация была бы крайне затруднена, и, по-видимому, в социальной эволюции шёл и идёт отбор жизнеспособных сообществ в соответствии с эффективностью коммуникации в них, позволяющей успешно решать общественно значимые проблемы.

Системы кодирования информации о социальной реальности, позволяющие придавать смыслы такой информации, будем называть социокодами в соответствии с концепцией М.К. Петрова. Социокоды надстраиваются над первичными кодами представления информации, такими как естественные языки или изображения, и считываются индивидами в соответствии с освоенными ими в ходе социализации правилами и стереотипами. Поэтому одни и те же слова или сообщения могут получать разные социальные смыслы в разных культурах и цивилизациях. М.К. Петров выделил в истории человеческих цивилизаций три основных социокода: лично-именной, профессионально-именной и универсально-понятийный [Петров, 2004. С. 27]. Представим важнейшие идеально-типические характеристики каждого из этих социокодов, понимая, что ход реализации каждого из них может иметь существенные особенности в различных социумах.

Лично-именной социокод использовался в первобытных обществах. В этом социокоде применялось ограниченное число имён, обозначающих как индивидов, так и их роли в выполнении программ коллективных действий, нормы и способы поведения в типовых ситуациях таких действий. Эти роли, нормы и способы поведения необходимо было осваивать, поэтому в таких культурах с достижением некоего возрастного рубежа индивидам приходилось менять свои имена. В детстве у каждого из них было одно имя, в зрелом возрасте — другое, в старости, если повезёт до неё дожить, — было третье имя. Эти имена соответствовали и одновременно обозначали социальные статусы, которые имели индивиды на разных этапах своего жизненного пути. Такая система социального кодирования не требовала письменности, вся накопленная социальная информация, знания и жизнен-

ный опыт сохранялись в памяти обладателей соответствующими социальными статусами, передавалась по традиции. Поскольку такая социальная информация, знания и жизненный опыт были ограничены ресурсами человеческой памяти, лично-именной социокод вряд ли был способен обеспечить организацию коллективных действий крупных социальных общностей, начиная с десятков тысяч индивидов [Петров, 2004. С. 97–100].

Профессионально-именное социальное кодирование использует одно имя не для одного, а для больших групп индивидов. В этом социокоде осуществляется типизация индивидов по группам деятельности, по их профессиям. Этот социокод стал применяться при осёдлом образе жизни человеческих сообществ, с развитием земледелия, ремёсел, управления большими социальными общностями, городами и государствами древних цивилизаций. Для обеспечения собственного благополучия представители разных профессий хранят в тайне секреты и соблюдают традиции. Появление и внедрение новшеств в профессиях затруднено проблемами коммуникации с другими профессиональными сообществами, которые ради чужих новшеств с трудом соглашались менять свои традиции, использовать новые продукты. Выходом из таких ситуаций становилось представление о том, что боги — покровители профессий открывают новшества, которые члены профессиональных сообществ обязаны использовать [Петров, 2004. С. 105–120]. Развитие обществ в таких условиях вело к росту специализации труда, умножению числа профессий, усложнению обменов товарами и услугами. Это неизбежно приводило к социальной неустойчивости, нарушению управляемости и разрушению социумов [Петров, 2004. С. 125].

Универсально-понятийное социальное кодирование использует не имена, как в двух других типах кодирования, а универсальные понятия, отражающие практически всё известное знание. Универсально-понятийный социокод стал необходим для выживания в сложных, быстро и слабо предсказуемо меняющихся условиях. Этот социокод позволял интегрировать знания и программы поведения представителей разных профессий, обеспечивать выполнение большинством социумов согласованных действий, объединяющих общество и решающих нестандартные общественные проблемы. Эти возможности обеспечиваются универсальными для социума социальными институтами, независимыми от профессий: гражданством, верховенством права, общими для всех нормами законов, несения военной службы большинством мужчин и другими. Универсально-понятийный социокод поддерживает двустороннюю коммуникацию между управляющими и исполнителями. Общие указания управляющих осмысливаются исполнителями, формирующими и выполняющими конкретные программы действий. А управляющие получают от исполнителей обратную связь, обобщающую выполнение этих программ и позволяющую улучшить общие указания и универсальное знание. Универсально-понятийный социокод в отличие от двух других социокодов поддерживает творческую активность индивидов, социальную значимость их инноваций и необходимого для них научного знания [Петров, 2004. С. 147–152].

Применение универсально-понятийного социокода привело примерно к XVI–XVII вв. в Европе к появлению науки, использующей рациональные гипотезы и их эмпирические проверки. В результате научные открытия стали основой разработок технологий и решений с их помощью различных проблем [Петров, 2004. С. 262, 275–276, 279]. При универсально-понятийном социальном кодировании адаптация обществ и государств к изменениям условий их существования осуществляется на основе научного знания, с помощью которого находят новые направления деятельности, новые профессии, новые технологии и их новые применения [Петров, 2004. С. 149]. Именно этот социокод наиболее адекватен смыслам институтов демократии, обеспечению прав и свобод граждан, институтам рыночной экономики, внедрению инноваций, концепции экономического роста и основанного на нём благосостояния граждан [Медведев, Медведева, 2013. С. 23–29]. И потому именно

универсально-понятийный социокод наиболее адекватен для осуществления модернизации, а использование двух других типов социокодов модернизации препятствует.

Архаизация в той или иной степени присуща всем современным обществам и государствам, поскольку именно в архаизации удаётся использовать прошлый опыт, знания, социальные практики, обеспечивавшие ранее развитие и даже процветание. Но усложнение современного мира и проблем, которые необходимо успешно решать для существования и развития обществ и государств, нередко требует новых, отличных от архаических способов решений проблем. По этой причине доминирование архаизации в современных условиях препятствует модернизации обществ и государств [Римский, 2020. С. 72–73].

В современной России доминирует архаизация сознания и социальных практик и в обществе, и в государственном управлении. Это доминирование архаизации необходимо признать, как минимум, в трёх стратегических для развития нашей страны сферах. Во-первых, это доминирование в органах власти профессионально-именного социокода по М.К. Петрову [Петров, 2004], во-вторых, наличие сословности в обществе и государстве [Волков, 2012; Кордонский, 2008], а в-третьих, раздаточный характер российской экономики [Бессонова, 2006; Бессонова, 2018].

Смыслы профессионально-именного социокода определяют фактическое существование сословий в современной России, определённых не законом, а практикой государственного управления [Волков, 2012]. Сословия создаются государством для осуществления тех или иных государственных функций, за что эти сословия наделяются особыми правами и привилегиями. Такими сословиями являются, например, судьи, прокуроры, должностные лица государственной службы и военной службы [Римский, 2020. С. 77]. Такие сословия С.Г. Кордонский назвал титульными, но существуют и нетитульные сословия, которые создаются для обслуживания потребностей титульных. В постсоветской России действует и постоянно воспроизводится система служения сословий государству и система взаимного служения и обслуживания для нетитульных сословий [Кордонский, 2008. С. 24, 27].

В социологических исследованиях российскую сословность изучать очень сложно. Вопросы о принадлежности к тем или иным сословиям бессмысленно задавать, потому что большинство респондентов их просто не поймут. Вопросы о сословных социальных практиках в разных сферах жизни, если и будут поняты, то будут оценены респондентами как весьма чувствительные, сенситивные, потому что современные индивиды не хотят признаваться в своём участии в архаических социальных практиках. Но по данным, получаемым в социологических исследованиях из ответов на вопросы о реальных социальных статусах и реальных социальных практиках методами прагматической социологии, можно выявить их латентные смыслы. И эти латентные смыслы хорошо соответствуют сословным социальным статусам и сословным социальным практикам. Например, сословностью хорошо объясняются устойчивые различия в применении норм законов к представителям разных социальных групп, в первую очередь разных сословий, приоритеты в получении общественных благ титульными сословиями, приоритеты прав государства перед правами граждан и другие весьма заметные в решениях российских судов.

Следуя смыслам профессионально-именного социокода, должностные лица государственной службы стремятся традиционными методами обеспечить стабильность во всех областях государственного регулирования: в экономике, политике, государственном управлении, социальной сфере и других. Вместо модернизации проводятся реорганизации органов власти и управления, для новых служений государству создаются новые сословия или головные организации, осваивающие те или иные значимые для государства ресурсы, и т.п. При принятии решений в российском государственном управлении практически не используются научно обоснованные методы оценивания последствий такого обеспечения стабильности в современном динамично меняющемся мире. При

этом представители высшей государственной бюрократии весьма образованы, но при принятии решений ориентируются на ритуалы и правила поведения в своих сословиях, стремятся сохранить их стабильное существование. Неадекватным управленческим решениям способствует также отделённость пространства смыслов государственного управления от пространств смыслов политики, общественной деятельности и повседневности граждан [Римский, 2020. С. 76].

Архаические смыслы определяют раздаточный, а не рыночный характер экономики современной России. В ней доминируют раздачи государством ресурсов сословиям для их освоения, но не расширения или развития. За это сословия сдают государству результаты произведённого освоения и получают материальные блага из государственного бюджета или других подчинённых государству источников. В такой экономике в течение длительных периодов времени вырабатываются удовлетворяющие сословия пропорции сдач и раздач ресурсов. Нарушения этих пропорций исправляются по результатам доносов или жалоб, что обеспечивает стабильность экономической системы России [Бессонова, 2006. С. 6–12].

Раздаточный характер российской экономики хорошо соответствует её сословной социальной структуре. Государство распределяет между сословиями ресурсы для выполнения ими функций государственных служений или обслуживания других сословий, распределяет доходы за это служение или обслуживание, причём дифференцированно, в соответствии с их социальными статусами. Поэтому благосостояние большинства граждан России обеспечивается нерыночными доходами: ставками и жалованиями бюджетникам, рентами, разными видами довольствия военнослужащих, пенсиями, социальными выплатами и т.д. И чаще всего размеры таких нерыночных доходов не определяются непосредственно результатами труда или доходами от частных бизнесов. В основном благосостояние граждан зависит от значимости служений государству тех сословий, которым они принадлежат, или значимостью их обслуживания других сословий. В такой сословной системе каждое сословие осваивает тот вид ресурса, который ему назначен государством. Но перед ним никогда не стоит задача преумножения этого ресурса [Кордонский, 2008. С. 27–28, 37]. Это существенно препятствует развитию нашей страны.

Профессионально-именной социокод, сословность и раздаточный характер экономики хорошо согласуются между собой в современной России, определяя её архаизацию. В истории России были известны периоды разрушения сословных систем, чаще всего вследствие бунтов, революций и перестройки из-за нарушений балансов сдач-раздач ресурсов сословиям и обратной связи в виде жалоб. Но известно и то, что впоследствии с неизбежностью формировались новые сословные системы. Советская власть, например, разрушила сословия духовенства, дворянства и крестьянства, создав сословия номенклатуры, рабочего класса и колхозного крестьянства. И новые сословия неизбежно снова включались в раздаточную экономику, остающуюся основой архаизации России. По этим причинам вполне закономерна архаизация и судебной власти нашей страны.

Архаизация судебной власти России

Можно было надеяться, что реформы судебной власти в постсоветской России превратят её в один из значимых инструментов модернизации страны, что будет способствовать преодолению архаизации общества и государства. Такую цель ставили реформаторы судебной власти, но, как было показано выше, достичь этой цели не удалось. В соответствии с сословностью и раздаточным характером экономики российская судебная власть защищает интересы государства нередко в ущерб интересам граждан. Судебная власть так и не стала инструментом обеспечения прав и свобод граждан, равенства всех граждан

перед законом и судом, верховенства права, следования принципам открытости, состязательности и коллегиального рассмотрения и разрешения споров в рамках судебных заседаний. Не удалось реализовать и принципы независимости судебной власти и самих судей.

Оказались несостоятельными надежды на то, что модернизированная судебная власть станет эффективным инструментом осуществления модернизации других ветвей власти, экономики и всего общества. Причины этого в концепции А.С. Ахиезера могут быть объяснены с применением диалектики двух взаимосвязанных, но латентных форм сознания и социального действия — инверсии и медиации, которые в процессе исторического развития могут переходить одна в другую [Ахиезер, 1997. С. 66–70].

Инверсия как состояние массового сознания характеризуется минимумом рефлексии социальной реальности. Инверсия направляет индивидов и их сообщества на воспроизводство ценностей и идеалов прошлого, на повторение прошлого успешного опыта. Она ведёт от одного абстрактного идеала из прошлого к другому столь же абстрактному и почерпнутому оттуда же. И носитель такого сознания полагает, что такая конструкция может быть реализована в настоящем. Поэтому инверсия поддерживает сложившиеся стереотипы мышления и действия, а в целом поддерживает сложившуюся культуру [Ахиезер, 1998. С. 271–273]. Медиация, напротив, предполагает рефлексию социальной реальности, которая необходима для поиска решений новых проблем, для которых старый опыт не может быть успешным. Медиация, таким образом, способствует поиску новых ценностей, идеалов, нового опыта социального поведения, который может быть более адекватен складывающимся в современности условиям и возникающим проблемам. Поэтому медиация позволяет менять сложившуюся культуру и преодолевать установившиеся социальные и культурные ограничения [Ахиезер, 1998. С. 195–199].

Минимум рефлексии в состоянии инверсии может приводить к желаниям большинства граждан, включая и высокопоставленных должностных лиц государственного управления, к желаниям возврата к устоявшейся культуре и старым методам решений проблем. Именно это произошло и происходит в настоящий период в России, когда в ходе осуществляемых реформ привычный для индивидов социальный мир превратился из комфортного в некомфортный. Внедряемые новые социальные институты систематически показывают свою неэффективность для решений многих проблем общества и государства. Ответом на это стало массовое развитие инверсии и всемерное сужение медиации в нашей стране, что проявилось и в деятельности судебной власти.

Внедряемые в ходе судебной реформы институты формально принимаются и развиваются, в первую очередь, в кодифицированном праве. Но эти новые институты фактически отвергались и отвергаются в латентных структурах сознания и в реальном социальном поведении подавляющего большинства судей, их ближайших социальных окружений и связанных с ними органов власти — прокуратуры, следствия, полиции, исполнительной власти и других. Эти новые институты оценивались и оцениваются как способные привести к дезорганизации деятельности судебной власти, а сложившиеся привычные процедуры и ритуалы её организацию поддерживали и поддерживают. Стремление обеспечить социальный порядок деятельности судебной власти осуществляется чаще всего с помощью отказа от использования новых институтов или неэффективного, только формального их использования. А такое отношение к этим новым институтам ещё более укрепляет и руководство судебной системы, и самих судей в том, что новые институты применять не следует в силу их неадекватности социальной реальности. И потому даже когда новые институты формально вводятся нормами законов или постановлений, судьи стараются их не применять, а действовать в соответствии с ранее сложившимися процедурами и ритуалами. Это типичная социокультурная ситуация инверсии и даже углубления инверсии при неясности возможностей перехода к медиации, без которой реальная модернизация судебной власти в России невозможна.

В соответствии с концепцией А.С. Ахиезера углубление инверсии в российской судебной власти можно оценить как инверсионную ловушку [Ахиезер, 1998. С. 194–195]. Латентным её смыслом является сохранение инверсии, сложившихся процедур и ритуалов действий по причине веры в то, что именно эти проверенные процедуры и ритуалы необходимо всегда предпочитать новым, непроверенным. Но в инверсионной ловушке есть и иной смысл, который характерен для российских реформаторов судебной власти. Инверсионная ловушка ведёт к неудовлетворённости судебной властью, а потому к желанию её реформирования на основах истинных и добрых по последствиям социальных институтах, на основе нравственного идеала и правильной этики поведения. Логика инверсионной ловушки требует скорейшего исправления ситуации инверсии. Для достижения этой цели закономерно было использовано разрушение старой советской судебной власти с верой в торжество модернизированной судебной власти. Но такое разрушение было осуществлено без углублённых социокультурных исследований феномена судебной власти и связанных с ней институтов, без учёта угроз и рисков сохраняющейся в обществе и государстве, а потому и в судебной власти, инверсии. Поэтому по результатам судебной реформы декларируемые нравственные идеалы и этические нормы деятельности судей, нормы Конституции РФ и законодательства не заменили в сознании и социальных практиках судей советские и даже архаические идеалы и нормы.

Коррупция в российских судах, как отмечалось выше, исследовалась Фондом ИНДЕМ, её распространённость в практиках деятельности судебной власти сохраняется и в настоящее время. При этом коррупция в российских судах не всегда признаётся, оставаясь очень чувствительной, чувствительной темой для самих судей и связанных с судебной системой других ветвей власти. Но необходимо признать, что архаизация судебной власти неизбежно приводит к коррупции в ней, потому что коррупционные действия осуществляются с искажением действия нормативно заданных институтов осуществления правосудия. А эти искажения возникают во многом по причине недоверия этим институтам, большинство из которых внедрено в судебную сферу в ходе реформ. По этой причине богатые и влиятельные индивиды и группы интересов стремятся обеспечить выгодные для себя судебные решения, что и приводит к различным по формам коррупционным сделкам. И такие коррупционные практики в судах следует оценивать, как проявления инверсии действия нормативных институтов судебной власти.

Инверсией в отношении новых институтов в судебной власти является и реальная практика использования судов присяжных. Федеральный закон № 5451-1 от 16 июля 1993 г. установил возможность рассмотрения уголовных и гражданских дел с участием присяжных заседателей⁴. Но затем законодательство о судах присяжных неоднократно менялось, ограничивая их компетенции и возможности. Ныне суды присяжных могут участвовать в рассмотрении только уголовных дел, а число их участников сокращено в 2018 г. с 12 до 8 в областных или до 6 в районных судах. При этом судебные разбирательства с участием жюри присяжных проводятся во много раз реже, чем без них. Кроме того, коллегии присяжных заседателей не рассматривают дела целиком. Так, коллегии присяжных заседателей не имеют полномочий рассматривать материалы, характеризующие подсудимых, и заслушивать свидетелей, которые не могут сообщить информацию по фактическим обстоятельствам дела. Решение о том, показания каких свидетелей будут заслушивать присяжные, принимает не их коллегия, а судья. Таковы результаты адаптации судебной властью этого нового института — судов присяжных, — который мог бы способствовать развитию медиации как в самой судебной системе, так и в обществе и государстве в целом.

⁴ Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004, № 113-ФЗ (последняя редакция). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48943 (дата обращения: 02.05.2022).

Ещё один пример инверсии — упразднение в 2014 г. в России Высшего Арбитражного Суда РФ. Вопросы осуществления правосудия, отнесённые ранее к его ведению, были переданы в юрисдикцию Верховного Суда РФ. Таким образом, в нашей стране был сформирован единый высший судебный орган — Верховный Суд РФ. Такая объединённая иерархия судов общей юрисдикции соответствует представлениям о необходимости единой иерархии во всех областях государственного управления. А ведь, по данным судебного проекта Фонда ИНДЕМ, по оценкам большинства предпринимателей, судебные разбирательства в системе арбитражных судов России существенно отличались в лучшую сторону от процессов, подведомственных другим ветвям судебной власти. Анализ статистики деятельности арбитражных судов 2012 г. показывал, что в этих судах органы государственной власти и предприниматели имели примерно равные шансы на выигрыш дел. Исключения составляли сравнительно малозначительные дела с суммами исков до 3 000 руб. Они инициировались обычно органами власти, а предпринимателями почти всегда просто игнорировались как не представляющие интереса [Дмитриева, Титаев, Четверикова, 2012. С. 3]. В тот же период в судах общей юрисдикции граждане выигрывали административные дела против органов власти крайне редко. Во многих случаях при обжаловании гражданами решений органов власти в мировых судах и судах общей юрисдикции судебные решения выносились в пользу органов власти. Слияние системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции распространяет практики последних на рассмотрение дел, сторонами которых являются предприниматели и органы власти. Эти практики расширяют возможности административного воздействия органов власти на предпринимателей, что негативно сказывается на экономической деятельности в стране⁵. Но в системе архаических смыслов профессионально-именного социоклада такое слияние судов с образованием их единой вертикали вполне логично с точки зрения «повышения управляемости» в этой сфере. Интересы предпринимательского сообщества при этом слиянии судов практически не учитывались, потому что в таком случае доминировали интересы поддержания сословности и раздаточной экономики.

Существование общества и государства в состоянии инверсионной ловушки не означает стремления должностных лиц государственной власти или граждан к возврату в прошлое, тем более, что по результатам постсоветского развития России никакой возврат в патриархальное или в советское общество уже невозможен. Российское общество уже несколько десятилетий постсоветского периода живёт в условиях не только раздаточной экономики, но и частично рыночной, в условиях широкого использования новых технологий и определяемых ими социальных отношений, при постепенном размывании сословной структуры. Невозможно уже вернуть и советскую судебную власть, потому что в советском состоянии она уже не будет устраивать ни общество, ни саму судебную власть, ни другие органы государственной власти. Поэтому модернизация судебной власти России необходима. Но для её обеспечения необходимо отказаться от доминирования логики и социальных практик инверсии, развивать логику и социальные практики медиации, постепенно ограничивая инверсию. Необходимо учитывать и то, что резкие отказы от привычных процедур и ритуалов деятельности судей и судебной власти в целом, скорее всего, приведут только к углублению инверсии, а не к выходу из инверсионной ловушки. В такой сложной социокультурной ситуации эффективное реформирование судебной власти реально возможно только в системе с реформированием общества и государства. Для достижения успеха такое системное реформирование должно быть тщательно стратегически продумано на основе углублённых социокультурных исследований.

⁵ Титаев К.Д. Слияние высших судов: почему проиграет российская экономика // Сайт Forbes. 25 июня 2013 г. <https://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/241248-sliyanie-vysshih-sudov-pochemu-proigraet-rossiiskaya-ekonomika> (дата обращения: 02.05.2022).

ЛИТЕРАТУРА

- Ахиезер А.С.* (1997). Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 1. От прошлого к будущему. — Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Ахиезер А.С.* (1998). Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России). Т. II. Теория и методология: Словарь. — Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Ахиезер А.С.* (2001). Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // *Общественные науки и современность*. № 2. С. 89–100.
- Барт Я., де Блик Д., Эртан Ж.-Ф., Ланьо Э., Лемье С., Линар Д., Моро де Белланг С., Реми К., Тром Д.* (2019). Прагматическая социология: инструкция по применению // *Социология власти*. № 31 (2). С. 176–216. URL: https://socofpower.ranepa.ru/files/docs/2_2019/8.pdf или <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmaticheskaya-sotsiologiya-instruksiya-po-primeneniyu> (дата обращения: 20.06.2021).
- Бессонова О.Э.* (2006). Раздаточная экономика России: Эволюция через трансформации. — М.: РОССПЭН.
- Бессонова О.Э.* (2018). Институциональное развитие России: переход к контрактному раздатку // *Мир экономики и управления*. Т. 18. Вып. 2. С. 21–34.
- Волков С.В.* (2012). К вопросу о социальном делении общества РФ [Электронный ресурс] // *Отечественные записки*. № 1. URL: <http://www.strana-oz.ru/2012/1/k-voprosu-o-socialnom-delenii-obshchestva-rf> (дата обращения: 20.06.2021).
- Галкина Е.А., Мачушкина И.М., Шумова К.А.* (2019). Зависимость судей от председателей судов // *Бюллетень науки и практики*. №5. С. 413–416. <https://cyberleninka.ru/article/n/zavisimost-sudey-ot-predsedateley-sudov> (дата обращения: 01.05.2022).
- Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А.* (2010). Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. — СПб.: Норма, 2010. http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf (дата обращения: 20.06.2021).
- Дмитриева А.В., Титаев К.Д., Четверикова И.В.* (2012). Исследование работы российских арбитражных судов методами статистического анализа / Под ред. К. Титаева. — СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/irl_arbitrazh_site_new.pdf (дата обращения: 02.05.2022).
- Кордонский С.Г.* (2008). Сословная структура постсоветской России. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение».
- Материалы исследовательского проекта «Судебная реформа в России: институционально-социетальный анализ трансформации, ревизия результатов, определение перспектив» (2007–2010): [Электронный ресурс]. Сайт Фонда ИНДЕМ. <https://indem.ru/Proj/SudRef/indexR.htm> (дата обращения: 20.06.2021).
- Медведев А., Медведева Е.* (2013). Как появилась рыночная экономика и возможна ли она в современной России? — М.: Буки Веди.
- Медведева С.В., Ментюкова М.А., Попов А.М.* (2018). Обвинительный уклон в уголовном процессе: проблемы правоприменения // *Вестник Московского университета МВД России*. №3. С. 137–141. <https://cyberleninka.ru/article/n/obvinitelnyy-uklon-v-ugolovnom-protssesse-problemy-pravoprimereniya> (дата обращения: 01.05.2022).
- Моисеева Е.Н.* (2018). Встать, суд идет! Судебный процесс как объект социологического анализа // *Laboratorium: Журнал социальных исследований*. Т. 10. №1. Сборный номер. С. 29–50.
- Нерсесянц В.С.* (2005). Философия права: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2005.
- Нерсесянц В.С.* (2012). Общая теория права и государства: Учебник. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.
- Петров М.К.* (2004). Язык, знак, культура. — М.: Едиториал УРСС.
- Римский В.Л.* (2018). Архаизация политических элит и государственного управления России // *Власть и элиты* / Отв. ред. А.В. Дука. Т. 5. — СПб.: Интерсоцис.
- Римский В.Л.* (2020). Информатизация и российская архаика // *Вопросы теоретической экономики*. №4. С. 71–86. http://questionset.ru/files/arch/2020/2020-N4/Rimsky_VTE_2020_4.pdf (дата обращения: 22.04.2022).
- Сатаров Г.А., Римский В.Л., Благовещенский Ю.Н.* (2010). Социологическое исследование российской судебной власти. — СПб.: Норма, 2010. <http://www.indem.ru/Proj/SudRef/SocIsRoSuVlas.pdf> (дата обращения: 20.06.2021).

Римский Владимир Львович

rim@indem.ru

Vladimir Rimskiy

Leading Researcher Foundation for the Development of Research Programs "Informatics for Democracy" (INDEM Foundation), Senior Lecturer Moscow Psychological and Social University (Moscow)

rim@indem.ru

ARCHAIZATION OF THE RUSSIAN JUDICIARY: A RESEARCH HYPOTHESIS

Abstract. The article presents the interpretation of the INDEM Foundation study results of the judicial power of Russia, carried out by the in 2007-2010. The conclusion is substantiated that the results of the reform and development of the judiciary have been significantly affected and are currently being affected by its archaization, as a set of hidden, latent factors of consciousness and social behavior of judges interacting with the courts of institutions and citizens. The phenomena of the archaization of modern Russia are not recognized by the majority of society and by many researchers. But it is the phenomena of archaization that largely explain the failures of the post-Soviet reforms due to the development of the phenomena of mass inversion according to A.S. Akhiezer. The judiciary has turned out to be as prone to archaization as other spheres of life and activity in our country. The archaization of the judiciary significantly hinders the achievement of the goals of judicial reform in Russia.

Keywords: *archaization, judicial power, judicial reform, inversion and mediation by A.S. Akhiezer, M.K. Petrov's sociocode, estates, distribution economy, modernization of Russia.*

JEL: A12, K10, K19, K20, K40.

REFERENCES

- Akhiezer A.S. (1997). *Rossija: kritika istoricheskogo opyta (Sociokul'turnaja dinamika Rossii)* [Russia: critique of historical experience (Sociocultural dynamics of Russia)]. Vol. 1. *Ot proshlogo k budushhemu* [From the past to the future]. — Novosibirsk: Sibirskij hronograf. (In Russian).
- Akhiezer A.S. (1998). *Rossija: kritika istoricheskogo opyta. (Sociokul'turnaja dinamika Rossii)* [Russia: critique of historical experience (Sociocultural dynamics of Russia)]. Vol. 2. *Teorija i metodologija: Slovar'* [Theory and methodology. Dictionary]. — Novosibirsk: Sibirskij hronograf. (In Russian).
- Akhiezer A.S. (2001). Arhaizacija v rossijskom obshhestve kak metodologicheskaja problema [Archaization in Russian society as a methodological problem]. // *Obshhestvennye nauki i sovremennost'*. No. 2. Pp. 89–100. (In Russ.).
- Barthe Y., de Blic D., Heurtin J.-P., Lagneau E., Linhardt D., Moreau de Bellaing C., Lemieux C., Rémy C., Trom D. (2019). Pragmaticheskaja sociologija: instrukcija po primeneniju [Pragmatic Sociology: A User's Guide] // *Sociologija vlasti*. No. 31 (2). Pp. 176–216. https://socofpower.ranepa.ru/files/docs/2_2019/8.pdf or <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmaticheskaja-sotsiologija-instruktsiya-po-primeneniyu> (accessed: 05.05.2021). (In Russ.).
- Bessonova O.Je. (2006). *Razdatochnaja ekonomika Rossii: Evoljucija cherez transformacii* [Distribution economy of Russia: Evolution through Transformation]. — Moscow: ROSSPEN. (In Russ.).
- Bessonova O. Je. (2018). Institucional'noe razvitie Rossii: perehod k kontraktному razdatku [Institutional development of Russia: transition to contract distribution] // *Mir ekonomiki i upravlenija*. Vol. 18. Issue 2. Pp. 21–34. (In Russ.).
- Dmitrieva A.V., Titaev K.D., Chetverikova I.V. (2012). *Issledovanie raboty rossijskih arbitrazhnyh sudov metodami statisticheskogo analiza* [Research of the Russian arbitration courts work by statistical analysis methods] / (ed. K. Titaev). — St. Petersburg: Institut problem pravoprimeneniya pri Evropejskom universitete v Sankt-Petersburge. URL: http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/irl_arbitrazh_site_new.pdf (accessed: 02.05.2022). (In Russ.).
- Galkina E.A., Machushkina I.M., Shumova K.A. (2019). Zavisimost' sudej ot predsedatelej sudov [Judges dependence on the courts chairmen] // *Bjulleten' nauki i praktiki* [Bulletin of Science and Practice]. No. 5. Pp. 413–416. <https://cyberleninka.ru/article/n/zavisimost-sudej-ot-predsedateley-sudov> (accessed: 01.05.2022). (In Russ.).
- Gorbuz A.K., Krasnov M.A., Mishina E.A., Satarov G.A. (2010). *Transformacija rossijskoj sudebnoj vlasti. Opyt kompleksnogo analiza* [Transformation of the Russian judicial power. Experience in complex analysis]. — S.Petersburg: Norma. http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf (accessed: 20.06.2021). (In Russ.).
- Kordonskij S.G. (2008). *Soslovnaja struktura postsovetsoj Rossii* [Estate structure of post-soviet Russia]. — Moscow: Institut Fonda «Obshhestvennoe mnenie». (In Russ.).
- Materialy issledovatel'skogo proekta «Sudebnaja reforma v Rossii: institucional'no-societal'nyj analiz transformacii, revizija rezul'tatov, opredelenie perspektiv» (2007–2010):* [Materials of the research project «Judicial reform in Russia: institutional and societal analysis of transformation, revision of results, determination of prospects»]. — INDEM Foundation website. <https://indem.ru/Proj/SudRef/indexR.htm> (accessed: 20.06.2021). (In Russ.).

- Medvedev A., Medvedeva E. (2013). *Kak pojavilas' rynochnaja jekonomika i vozmozhna li ona v sovremennoj Rossii?* [How did the market economy appear and is it possible in modern Russia?]. — Moscow: Buki Vedi, 2013. (In Russ.).
- Medvedeva S.V., Mentjukova M.A., Popov A.M. (2018). Obvinitel'nyj ukлон v ugolovnom processe: problemy pravoprimerenija [Accusatory bias in criminal proceedings: law enforcement problems] // *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii*. No. 3 . Pp. 137–141 (accessed: 01.05.2022). (In Russ.).
- Moiseeva E.N. (2018). Vstat', sud idet! Sudebnyj process kak ob#ekt sociologicheskogo analiza [Get up, the court is coming! Judicial process as an object of sociological analysis] // *Laboratorium: Zhurnal social'nyh issledovanij*. Vol. 10. No. 1: Sbornyj nomer [Collected issue]. Pp. 29–50. (In Russian).
- Nersesjanc V.S. (2005). *Filosofija prava: Uchebnik dlja vuzov*. [Philosophy of Law: Textbook for universities.]. — Moscow: Norma. (In Russ.).
- Nersesjanc V.S. (2012). *Obshhaja teorija prava i gosudarstva: Uchebnik* [General theory of Law and the State: textbook]. — Moscow: Norma: INFRA-M. (In Russian).
- Petrov M.K. (2004). *Yazyk, znak, kul'tura*. [Language, sign, culture]. — Moscow: URSS. (In Russ.).
- Rimskiy V.L. (2018). Arhaizacija politicheskikh jelit i gosudarstvennogo upravlenija Rossii [Archaization of Political Elite and Public Administration of Russia] // *Vlast' i elity*. / Otv.red.A.Duka [Power and Elites. Ed. by A. Duka]. Vol. 5. — St. Petersburg: Intersotsis. Pp. 150–179. (In Russ.).
- Rimskiy V.L. (2020). Informatizacija i rossijskaja arhaika [Informatization and Russian Archaics] // *Voprosy teoreticheskoj ekonomiki*. No. 4. Pp. 71–86. http://questionset.ru/files/arch/2020/2020-N4/Rimsky_VTE_2020_4.pdf (accessed: 22.04.2022). (In Russ.).
- Satarov G.A., Rimskiy V.L., Blagoveshhenskit Ju.N.(2010). *Sociologicheskoe issledovanie rossijskoj sudebnoj vlasti* [A sociological study of the Russian judicial power]. — S.Petersburg: Norma. <http://www.indem.ru/Proj/SudRef/SocIsRoSuVlas.pdf> (accessed: 20.06.2021). (In Russ.).
- Volkov S.V. (2012). K voprosu o social'nom delenii obshhestva RF [On the question of the social division of the Russian Federation society] // *Otechestvennyye zapiski*. No. 1. <http://www.strana-oz.ru/2012/1/k-voprosu-o-socialnom-delenii-obshchestva-rf> (accessed: 05.05.2021). (In Russ.).

М.А. Фельдман

д.и.н., профессор, Уральский институт — филиал Российской Академии народного хозяйства при Президенте РФ (Екатеринбург)

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ: К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СОВЕТА ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ ТЯЖЁЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В МАЕ 1935 г.

Аннотация. В статье впервые в научной литературе анализируется работа Совета (Пленума) при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР 10–12 мая 1935 г. Участие в работе Совета 104 представителей управленческого корпуса тяжёлой промышленности придавали мероприятию важное значение в жизни СССР. Сравнительный метод исследования позволил сопоставить характеристики профессиональной группы хозяйственной элиты — 28 директоров крупнейших предприятий тяжёлой промышленности, избранных в Совет при наркомате тяжёлой промышленности. Анализ содержания выступлений управленцев на Совете позволил выявить специфические черты успешных «командиров производства». Установлено, что в период первых пятилеток «социальный лифт» выносил наверх директоров, преимущественно имеющих профессиональную подготовку, опыт хозяйствования в годы нэпа, связавших свою жизнь с большевистской партией; способных к запуску производства «с нуля».

Ключевые слова: Совет, промышленность, директора, баланс, хозрасчет, экономика.

JEL: B24, N44.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_128_138.

В период 1931–1936 гг. Всесоюзные Совещания высшего и среднего звена управленцев советской промышленности («хозяйственников» — в терминологии того времени) стали устойчивым явлением экономической жизни социалистического государства. Менялись первоочередные мотивы созыва Всесоюзных Совещаний: от стремления руководства СССР в начале 1931 г. найти выход из глубокого кризиса, обусловленного «Великим переломом» [*Первая...*, 1931], до попытки справиться с валом некачественной продукции и убыточностью работы предприятий тяжёлой промышленности — на Всесоюзном Совещании хозяйственников в сентябре 1934 г. [*Совещание...*, 1935]. Созыв очередного Всесоюзного Совещания хозяйственников в мае 1935 г. должен был подготовить предпосылки для выхода на новый уровень экономической политики [*Совет...*, 1935].

Вместе с тем материалы Совещания сентября 1934 г., изданные тиражом в 15 тыс. экземпляров, объективно нарушали мифы той советской жизни, которую под руководством Сталина рисовали пропагандисты СССР. За внешне чисто производственными требованиями представителей директорского корпуса стояло нежелание мириться с штурмовыми методами работы, порождёнными волонтаризмом в планировании. За резолюциями о полномочиях директоров скрывалось стремление ограничить вмешательство партийных комитетов в дела предприятий.

Для Сталина Всесоюзные Совещания представляли собой платформу для изложения политических задач, требований, идеологических деклараций и только во вторую очередь — источник информации о реалиях в экономике. В силу этого Первая Всесоюзная

конференция работников социалистической промышленности оказалась первым и последним мероприятием данного формата, на котором побывал Сталин.

Для членов Политбюро, напрямую отвечавших за результаты экономического курса (Г.К. Орджоникидзе, В.В. Куйбышев, Я.Э. Рудзутак), каждый созыв Всесоюзного Совещания хозяйственников рассматривался как возможность оперативной проверки эффективности применения инструментов управления народным хозяйством.

К маю 1935 г. Куйбышева уже не было в живых, а Рудзутак переведен из членов в кандидаты в члены Политбюро. Для Орджоникидзе — инициатора и организатора всех Всесоюзных Совещаний хозяйственников — это была еще и попытка опереться на коллективный опыт директорского корпуса в борьбе с волюнтаристскими тенденциями в экономике; в борьбе с нарастанием новой волны преследований специалистов; возможность воздействия на Сталина силой доводов рациональной практики.

Стремление ограничить критический настрой хозяйственников привело к сужению круга участников экономического форума в мае 1935 г. Если в начале 1931 г. на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности приняли участие 728 человек [Davies, 1996. С. 11], а на Всесоюзном Совещании хозяйственников в сентябре 1934 г. — почти 800 «командиров производства», включая 220 директоров крупнейших предприятий индустрии и их заместителей, 92 технических директора и их заместителей, 123 руководящих работника трестов и 260 начальников главков и секторов НКТП и их заместителей [Совещание..., 1935. С. VII], то в мае 1935 г. на Совет (Пленум) при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР были приглашены 104 управленца [Совет..., 1935. С. 3–8]. Менялись названия мероприятий («Конференция», «Совещание», «Совет», «Пленум»), но оставалась сущность проводимых форумов — взаимодействие политической и хозяйственной элит Советской страны. Очевидно, что указанное взаимодействие носило неравноправный характер: при авторитарном режиме нормой было подчинение граждан группе лидеров (в этой роли выступало руководство правящей партии); установка на беспрекословное подчинение управленцев «вождю» и его соратникам.

Если события Второго Пленума (Совета при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР) в июне 1936 г. получили освещение в исторической литературе [Хлевнюк, 1996. С. 174–175; Фельдман, 2007], то Первому Пленуму (Совету) в этом отношении не повезло: возможно, историкам он казался проходным, малозначимым форумом. Даже в специальном исследовании выдающегося британского историка-советолога Р. В. Дэвиса, посвященного анализу хода индустриализации в СССР в 1934–1936 гг. [Davies, 2014], работа Первого Пленума (Совета) только упоминается в связи с заключительным выступлением на нем наркома тяжёлой промышленности Г.К. Орджоникидзе. Дэвис — автор фундаментальных трудов по советской индустриализации — ограничился ссылкой на опубликованные труды Орджоникидзе, не исследуя сам первоисточник — материалы Совета мая 1935 г. [Davies, 2014. С. 68]. Однако присущее Дэвису тонкое понимание советской истории нашло выражение в мысли об «эйфории, охватившей высшее советское руководство» в связи с успешной работой экономики в первые месяцы 1935 г. [Davies, 2014. С. 156], и, как следствие, впервые с лета 1932 г., «утрате финансовой осторожности», и увеличении за короткий срок масштаба капиталовложений в экономику с 21 684 до 24 842 млн руб. [Davies, 2014. С. 159].

Упомянутая «эйфория» высшего руководства страны станет важным фактором для понимания исследуемых событий: сопровождаемая очередной пропагандистской кампанией «превосходства советской экономической модели над капиталистической» ставка на необоснованный скачок количественных показателей должна была показать величие и незыблемость сталинского курса.

Между тем Совет при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР, проходивший 10–12 мая 1935 г., представлял собой собрание 104 наиболее видных хозяйственных

руководителей и специалистов (заместителей наркома, руководителей главков, 28 директоров крупнейших предприятий тяжёлой промышленности. Деятели науки были представлены авиаконструктором А.Н. Туполевым, директорами двух НИИ; геологом И.М. Губкиным) [Совет..., 1935. С. 3–8]. Что заставило Г.К. Орджоникидзе перейти от большого формата Советаний в 1931 и 1934 гг. (700–800 управленцев) к малому (100 человек) в 1935 и 1936 гг.? По нашему предположению, экономия средств и ресурсов. Отрыв руководителей предприятий и трестов на несколько дней в условиях жёстко централизованного управления мог дорого стоить. Кроме того, сыграла свою роль и возможность выступления: максимум выступающих в 1934 г. — 77 человек. Наконец, был осуществлён отбор наиболее выдающихся «командиров производства», способных к новаторским предложениям.

Наш анализ доступных биографий 25 директоров крупнейших предприятий тяжёлой промышленности показывает, что 23 из 25 работали на своих постах три и более года, 17 (68%) — более пяти лет [Там же.]. Способность долго удерживаться на посту, выполняя плановые задания, стала трамплином для карьерного роста.

Важным критерием (весьма почётного) назначения директоров крупнейших заводов в Совет, помимо способности организации освоения новых производственных мощностей и технологий, стало наличие дореволюционного партийного стажа, а также (у 80% директоров) специального профессионального образования (у 13 человек — высшего, у четырех — учёбы в Промышленной академии, у трёх — среднего технического) [Там же.]. «Социальный лифт» выносил наверх директоров, преимущественно имеющих профессиональную подготовку; имеющих успешный опыт хозяйствования в годы нэпа и Первой пятилетки; с ранних лет связанных с большевистской партией; управленцев, способных к запуску производства «с нуля». Жизнь успешных директоров первых пятилеток «без ретуши и глянца» включала умение договариваться с работниками наркоматов о сроках, объемах и параметрах качества выпускаемой продукции; умение использовать квазирыночные взаимосвязи, ограниченные товарно-денежные отношения; привыкать к роскошным, по меркам того времени, условиям быта [Фельдман, 2021]. Средний возраст директоров – членов Совета был близок к сорока годам. В 1935 г. за плечами 34-летних директоров металлургических комбинатов А.П. Завенягина (ММК), Г.А. Гвахария (Макеевский), К.И. Бутенко (Кузнецкий), немногим более старших, но еще не достигших сорокалетнего рубежа, директоров машиностроительных заводов-гигантов: Д.А. Брускина (ЧТЗ), Б.Л. Ванникова (Тульский оружейный), С.С. Дьяконова (ГАЗ), И.И. Побережского (Пермский моторостроительный), В.В. Фокина (СТЗ) были законченные в 1920-е гг. вузы; изучение зарубежного технического опыта, в том числе в ходе заграничных поездок. Неслучайно фамилии многих членов Совета носят улицы современных российских городов.

Заседание Совета было заметным событием в жизни страны уже в силу состава присутствующих, претендуя на важное место в политической жизни СССР: объективно, это было одно из наиболее значимых событий 1935 г. Неслучайно в официальном названии Совета имелось уточнение: «Пленум» — культовое слово для советских людей.

Неизученные проблемы, связанные с трёхдневной работой Совета, составили предмет исследования в предлагаемой статье.

Утреннее заседание 10 мая 1935 г. открылось докладом первого заместителя народного комиссара тяжёлой промышленности СССР Ю.Л. Пятакова [Совет..., 1935. С. 9–18]. Только упомянув о «бесспорных достижениях» индустрии, Пятаков сконцентрировал внимание на нерешённых проблемах. К ним были отнесены: низкая организационная дисциплина — крупные предприятия годовые отчеты за 1933 г. сдавали в НКТП, вместо положенного срока в три месяца, до августа; фактический провал попыток перевода предприятий на рентабельный режим (это удалось только одному Макеевскому металлургическому заводу); значительной оставалась доля брака выпускаемой продукции; широко распространённой была практика несвоевременного выполнения предприятиями плановых заказов.

Большое распространение получили хищения государственной собственности, связанные с «неправильным ведением складского хозяйства и неправильным учётом брака».

Пятаков, исключенный из рядов ВКП (б) в 1927 г. за участие в оппозиции и восстановленный в 1928 г., старался избегать острокритических выражений и бодро выражал надежду на выполнение производственного задания 1935 г. по производительности труда, по снижению себестоимости, показателям прибыли. Тем не менее, даже с учетом пропагандистских лозунгов о создании в СССР «самой передовой промышленности», способной за годы второй пятилетки «обогнать все страны Европы по уровню технического развития», доклад Пятакова говорил о совсем иной экономике, работающей в иной действительности.

Выступление З.Г. Зангвилья, (начальника финансового сектора НКТП) подтверждало доводы Пятакова: многие отрасли тяжёлой промышленности работали с убытком; «наблюдаются многочисленные факты, когда хозорганы не платят друг другу крупные суммы, задерживая расчеты, порождая значительную кредиторскую и дебиторскую задолженность» [Совет..., 1935. С. 19–27]. Главным в выступлении Зангвилья стала «ода» системе финансовых и материальных балансов, как «самому верному показателю качества работы» и «важнейшему средству руководства и контроля» [Совет..., 1935. С.26]. Фамилии учёных, разработавших в 1920-е гг. систему *материальных* балансов народного хозяйства [Громан, 1928; Гухман, 1927] и арестованных в 1930 г. по сфабрикованному делу «Союзного бюро меньшевиков», не упоминались в мае 1935 г., но их идеи отчётливо прозвучали на Совете при НКТП. Система балансов использования труда и материалов должна была стать «мощным рычагом борьбы за усиление хозрасчёта; снижение себестоимости, мобилизации внутренних ресурсов, за выполнение количественных и качественных показателей».

Вопрос Зангвилья: «Но многие ли директора заводов ежедневно рассматривают и подвергают анализу (бухгалтерский) баланс»? [Совет..., 1935. С. 26] — носил, казалось бы, риторический характер. Но уже последующий абзац: «у нас немалое количество директоров и руководителей хозорганов, которые слабо разбираются в балансе и поэтому не имеют вкуса к этому делу»¹ [Совет..., 1935. С. 27] — вносил ясность в отношении части «красных директоров» к основам экономических знаний.

Острокритическим стало выступление директора Уралмаша (УЗТМ) Л.С. Владимирова [Совет..., 1935. С. 138–146]. В условиях распространённой практики сохранения и даже *планирования сохранения доли брака в выпускаемой продукции* в рамках отрасли [Совет..., 1935. С. 15] максимально жёстким стало предложение Владимирова о недопустимости выхода за пределы предприятия любой продукции, не отвечающей всем требованиям стандартов качества, поскольку последующий вред будет только умножаться [Совет..., 1935. С. 141].

Главной проблемой предприятия директор Уралмаша назвал высокую текучесть кадров, вызванную острым жилищным голодом. Подавляющая часть коллектива — 19 тыс. уралмашевцев — проживали в бараках. Непривычно для 1935 г. звучали слова: «люди в бараках жить не хотят». Владимиров заявил о пользе развернутой на УЗТМ системы обучения хозяйственников экономическим знаниям. «Мы на УЗТМ развернули семинар для изучения баланса. В обязательном порядке от директора завода и его заместителей и кончая начальниками цехов и заведующими производствами мы заставили изучать баланс, структуру его, актив, пассив, дебит–кредит, взаимозависимость отдельных статей баланса и счетов»... «и добились такого положения, что основной командный состав начал разбираться в балансе и в своей практической работе, исходя из показателей баланса. Мне кажется, что было бы полезно такое мероприятие осуществить и на других предприятиях»

¹ В данном случае речь шла о бухгалтерском балансе предприятия. Следует отметить, что некомпетентность большинства директоров государственных предприятий в финансовых вопросах сохранялась вплоть до 1991 г. — *Прим. ред.*

[Совет..., 1935. С. 144–145]. По мнению Владимировой, это был единственный путь к рентабельной работе. Значимость обучения хозяйственников экономическим знаниям подкреплялась и тем, что подготовка экономистов для отраслей тяжёлой промышленности велась крайне неудовлетворительно. «Найти квалифицированного главного бухгалтера завода было практически невозможно».

Принципиально новым выглядело и заявление Начальника Главного Управления учебных заведений (ГУУЗ) НКТП Д.А. Петровского о необходимости жёсткой увязки (баланса) потребности в кадрах и сметы расходов на техническую подготовку кадров; об обязательности сдачи каждым рабочим Гостехэкзамена [Совет..., 1935. С. 41–43].

Высказанные на Совете мысли о роли системы балансов использования труда и материалов были близки к положениям статьи руководителя Госплана СССР В.И. Межлаука в апрельском (1935) номере журнала «Плановое хозяйство». «Мы не имеем разработанного баланса развития народного хозяйства», — отмечал Межлаук. Кроме того, «недостаточное внимание уделялось планированию технического прогресса, проблемам освоения техники, ускорению перехода от планирования отдельных технических показателей к составлению единого технического плана развития народного хозяйства» [Межлаук, 1935. С. 3–6].

Как видно, практика первой половины 1930-х гг. подталкивала советский управленческий корпус к отказу от позиции отторжения системы народнохозяйственного и отраслевого балансирования, раскритикованной Сталиным в декабре 1929 г. [Сталин, 1929].

Тем же утром 10 мая 1935 г., в речи В.Г. Файнберга, начальника Главного управления горного машиностроения, отмечалось: выпуск продукции не согласуется с возможностями и потребностями заказчиков. Отсюда рост затоваренности на складах ненужными моторами и другими готовыми изделиями. В косвенной форме начальник главка поставил вопрос о возможности самостоятельного согласования программ производственных объединений [Совет..., 1935. С. 38].

Позицию руководителей предприятий угледобывающей отрасли наиболее полно выразил управляющий трестом «Артёмуголь» З.Е. Зорин, указавший на хаотичный подход к пополнению парка механизмов и агрегатов: «посмотрите на наше пневматическое хозяйство: 83 компрессора принадлежат 32 разным системам; 20–30% из них в постоянном ремонте» [Совет..., 1935. С. 133–137].

По признанию С.С. Дыбеца — начальника Главного Управления автотракторной промышленности, «время работы оборудования на заводах используется на 40–45% от нормативного». Основной причиной такого явления Дыбец назвал плохую организацию рабочих мест [Совет..., 1935. С. 46]. Конкретизируя мысль Дыбеца, Ю.Г. Фигатнер, начальник Сектора труда НКТП, подчеркнул: рабочий день на предприятиях НКТП используется частично — 5–5,5 часов. Обследование крупнейших ленинградских заводов показало, что на подавляющей части предприятий станки использовались только на 25% своей мощности; а на половине (55%) — использовались на 15%. Ещё одной проблемой являлось то, что даже на передовом в отрасли Кировском заводе технические нормы имелись только у 17% рабочих мест [Совет..., 1935. С. 229–230].

В выступлениях руководителей строительных организаций НКТП отмечались хронические недостатки в работе отрасли: «уравниловка» в оплате труда; отсутствие премиальной системы для ИТР; слабое использование средств механизации [Совет, 1935. С. 213–215, 240–242].

Не являлись исключением и заводы Военно-промышленного комплекса: по утверждению И.И. Павлуновского — начальника главного военно-мобилизационного управления НКТП, «у нас станки могут работать 80% времени, но из них 60% тратится на устранение неполадок». Единственный выход, по мнению Павлуновского, заключался в установлении зави-

симости зарплаты работников от эффективности работы оборудования. «Систему оплаты труда надо связать с использованием станка, пресса, молота» [Совет..., 1935. С. 168–169].

Аналогичные признания директоров предприятий соседствовали с жалобами на высокий процент брака поставляемых металлов; на трудности транспортных перевозок; низкую квалификацию конторского персонала. При этом большинство выступающих говорили о возможности достижения *рентабельности* заводов [Совет..., 1935. С. 71–76, 85–87, 91–94].

Особый интерес представляли предложения «красных директоров» о способах достижения такого рубежа. Выделим наиболее значимые: внедрение межцехового хозрасчёта (лицевых счетов) — И.А. Лихачев (ЗИС); зависимость размера заработной платы от коэффициента использования оборудования — Г.В. Гвахария (Макеевский металлургический завод) и Б.Л. Ванников (Тульский оружейный завод) принадлежали к одному вектору — внедрению хозрасчётных отношений [Совет..., 1935. С. 63, 80, 89].

Тяжёлый, драматический опыт освоения тракторных заводов привел директора Сталинградского тракторного завода (СТЗ) В.В.Фокина к выводу о необходимости «солидную долю амортизационных отчислений оставлять на заводе для капитального ремонта», а директора Харьковского тракторного завода (ХТЗ) П.И. Свистуна — просить об организации системы обмена опытом в автотракторной промышленности. Директор ХТЗ подверг резкой критике «штурмовые», «ударные» методы выполнения планов, заявив о том, что борьбу за освоение проектных мощностей «мы начали с ликвидации сверхурочных часов и работы в выходные дни», тормозящих «правильную организацию труда и производства». Это заставило всех руководителей цехов и служб нормировать производственный процесс, сосредоточить внимание на своевременном ремонте станков и обеспечении станков приспособлениями; взять курс на качество выпускаемой продукции. Так, на вечернем заседании 10 мая 1935 г. «ударные дни и декады» — любимое детище партийных и профсоюзных комитетов — были объявлены делом прошлого [Совет..., 1935. С. 91, 110].

Развивая свою мысль, Свистун заявил о необходимости перехода к «другой системе планирования». В основе ее должно было быть положено сокращение числа спускаемых сверху плановых показателей; в ряду немногих оставшихся предлагались данные по выпуску основной продукции, а также качественные индикаторы: величина себестоимости и фондоотдачи (оборотные средства). [Совет..., 1935. С. 111].

Судя по ответной реплике [Там же.], Орджоникидзе не поддержит новаторское предложение директора ХТЗ. Однако спустя год, на Совете в июне 1936 г. именно этот посыл станет центральным в выступлении наркома [Фельдман, 2011].

Таким образом, на Совете при НКТП ставке на бешеные темпы и штурмовые методы работы, волюнтаризму в планировании были противопоставлены научные подходы, исходящие из опыта хозяйствования. Мифологическое пространство лозунгов о «построении основ социализма» столкнулось с картиной реального хода индустриализации. Изучение экономических законов и методов вступало в конкуренцию с заучиванием партийных доктрин.

С рациональными по своей сути выступлениями контрастировали речи ряда руководителей главков, заполненные чисто техническими деталями, жалобами на смежников. Свообразным было выступление начальника Главного управления авиационной промышленности Наркомтяжпрома (и заместителя наркома тяжёлой промышленности) М.М. Кагановича: указав на объективное явление — «безграмотность, неточность чертежей свидетельствовали о низком уровне технической культуры людей, начиная с технического директора» и это являлось причиной того, что брак выпускаемой продукции из-за плохих чертежей достиг совершенно недопустимых размеров — Каганович призвал к абстрактной «борьбе с браком» [Совет..., 1935. С. 95–104].

Наиболее ярким и значимым событием в работе Совета при НКТП 10–12 мая 1935 г. стала речь П.А. Богданова², персонально приглашённого Орджоникидзе [*Совет...*, 1935. С. 316]. В речи Богданова [*Совет...*, 1935. С. 220–227] на вечернем заседании 11 мая 1935 г. можно выделить два основных сегмента. В первом говорилось о необходимости в самых различных форматах использовать передовой американский опыт, начиная от систематического изучения всех видов технической информации до внедрения автоматизации и диспетчеризации по образцу передовых корпораций. Антитеза Богданова: либо будет налажено максимальное сотрудничество с Америкой в технической и научной сферах, включающее обмен опытом НИИ, массовую практику инженеров и рабочих на американских предприятиях на 3–4 месяца, обучение в американских вузах и последующая аспирантура, изучение педагогического процесса, тесную связь научных кадров, либо нас ждет дальнейшее отставание от передовой в этом плане державы, звучала бескомпромиссно.

Во втором сегменте говорилось о том, что «кризис и состояние депрессии ...не приостановили работы технической мысли в Америке инженеров и ученых». «Можно констатировать что во всех отраслях американской промышленности изо дня в день ведется систематическая работа по повышению качества показателей, по улучшению техники, и в результате снижается себестоимость продукции» [*Совет...*, 1935. С. 221]. В качестве примеров Богданов привел появление телевидения и аппаратуры к нему; изобретение целлофана, «который за последние два года произвел революцию в упаковке и хранении пищевых продуктов и различных изделий»; выход на рынок дешёвых качественных фордовских автомобилей; авиационных моторов, способных к работе на больших высотах [*Совет...*, 1935. С. 223].

Выступление Богданова только указывало на направления советско-американского технического сотрудничества, но оно невольно подрывало основы советской пропаганды о «перманентном кризисе капитализма». Мысль Богданова о том, что страны с различным политическим строем, каждая своим путем, шли по дороге индустриализации, решая близкие задачи, открывала участникам Совета многостороннее понимание Индустриального проекта в СССР.

Контент-анализ прозвучавших за три дня работы Совета выступлений 18 директоров крупнейших промышленных предприятий, показывает: исчезают сообщения, касающиеся чисто технической тематики; только один раз упоминалась связь низкого уровня жилищных условий и производственной культуры; еще один — прозвучала критика методов штурмовщины; восемь директоров осудили масштабы брака в поставляемых материалах и полуфабрикатах; девять — призвали изменить существующие методы планирования.

Новым моментом стало указание в пяти выступлениях на отсутствие подлинного хозрасчёта, а в десяти, в качестве главной задачи — была поднята проблема рентабельности предприятий. Сравнение содержания выступлений директоров на Всесоюзном Совещании хозяйственников в сентябре 1934 г. и на Совете в мае 1935 г. носит относительный характер в силу сопоставления близких, но не однородных профессиональных групп. Тем не менее вектор эволюции взглядов очевиден: исчезают выступления исключительно на технические темы; методы штурмовщины уходят на периферию; некоторое улучшение бытовых условий работников позволяет снизить актуальность темы связи жилищных условий и производственной культуры. Новым моментом стало указание в пяти выступлениях на отсутствие подлинного хозрасчёта, а в десяти — в качестве главной задачи была поднята проблема рентабельности.

² П.А. Богданов первый председатель ВСНХ РСФСР (1921–1923 гг.) в 1930–1934 гг. возглавлял акционерное общество «Амторг» (советскую торговую организацию в США). Координируя широкомасштабные закупки американской техники и технологий в СССР, Богданов установил связи с деловыми кругами США, занимался лекционной деятельностью, изучал американский управленческий опыт. Деятельность Богданова способствовала установлению дипломатических отношений между СССР и США в 1933 г.

Эволюция взглядов командиров производства была очевидна: неприятие брака выпускаемой продукции; осуждение существующих методов планирования; ставка на достижение рентабельности предприятий — доминировали на Совете 10–12 мая 1935 г.

Выделим и еще один момент: анализ выступлений на Совете 10–12 мая 1935 г. 26 руководителей главков и 28 директоров крупнейших предприятий говорит о близости взглядов управленцев — представителей хозяйственной элиты. Логика переосмысления итогов Первой пятилетки (в разной степени) подталкивала «командиров производства» к рациональности принимаемых решений.

Речь Орджоникидзе «Тяжёлая промышленность перед новыми задачами» [*Совет...*, 1935. С. 295–313] на утреннем заседании 12 мая завершала работу Совета. Речь наркома получилась несколько сумбурной и не принадлежала к лучшим образцам его выступлений. Положение дел в тяжёлой промышленности оставалось весьма напряжённым; картина бесхозяйственности, убыточности подавляющего числа предприятий была очевидной — и это не могло не вызвать гнева Сталина. В силу этого, отметив необходимость всеобъемлющей роли системы балансов, охватывающих «качество, и технические коэффициенты, и брак, и выполнение программы, и прибыль, и убытки» [*Совет...*, 1935. С. 295], нарком использовал сталинский термин, призвав к «бешеной борьбе за рентабельность». Сомнительным выглядело утверждение Орджоникидзе — «технически обоснованные нормы — ... это вчерашний день» [*Совет...*, 1935. С.303]. Выступающие на Совете говорили принципиально иное.

В мае 1935 г. на директорский корпус уже слабо действовали многочисленные призывы наркома работать лучше, «драться за рентабельность», внедрить «железную большевистскую дисциплину», «поднимать технику на все большую и большую высоту» [*Совет...*, 1935. С. 299].

Тем не менее принципиальная позиция наркома прозвучала в словах солидарности с участниками Совета: «наши кадры за год (после сентябрьского 1934 г. совещания) безусловно выросли. Достаточно сравнить сегодняшний Совет (мая 1935 г.) с совещанием хозяйственников в сентябре прошлого года (1934 г.): и уровень выступлений здесь гораздо выше, и вопросы ставятся на гораздо большую принципиальную высоту, и технически более обоснованно» [*Совет...*, 1935. С. 313]. Призыв — «работать так, чтобы иметь право рапортовать великому Сталину» об улучшении работы отрасли — звучал как прикрытие людей, проговоривших нелюбимую правду.

Использование сталинской терминологии; обещание победных рапортов «вождю» не могло скрыть сущности происходящего на Совете 10–12 мая 1935 г. Острокритическая оценка «командиров производства» не только шла в разрез с пропагандистскими штампами. Фактически под сомнение ставилась «мудрость» экономического курса высшего руководства страны. Обращало на себя внимание и то, что само упоминание имени Сталина либо редко встречалось в выступлениях хозяйственников, либо звучало в контексте на указания Сталина на уже отдалённой по времени Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности.

Как и на упомянутых двух предшествующих Совещаниях (1931 и 1934 гг.), главным в трёхдневной работе Совета было требование директорского корпуса на право предприятий на подлинные хозяйственные отношения и осуждение «штурмовых» методов работы. В переводе на практический язык это означало ставку на стабилизацию планирования и производственной деятельности; приоритет качественных показателей. Новацией событий 10–12 мая 1935 г. на Совете стало отстаивание системы балансов во внутриотраслевых и межзаводских отношениях. Высказанные предложения «командиров производства» не посягали на принципы централизованного управления, но затрудняли диктат и вмешательство партийных органов; осложняли получение внезапных произвольных указаний «сверху», нацеленных на изменение плановых заданий.

Таким образом, работа Совета (Пленума) при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР 10–12 мая 1935 г. свидетельствовала: ставке на «бешеные темпы» и штурмовые методы работы, волюнтаризм в планировании были противопоставлены подходы, исходящие из опыта хозяйствования. Пространство лозунгов о «построении основ социализма» уступало место картине реального хода индустриализации, а призыв к изучению экономических законов и методов конкурировал с провозглашением идеологических доктрин.

Показательно освещение Совета при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР в двух главных печатных органах СССР – газетах «Правда» и «Известия». Если 11 мая 1935 г. «Известия» на второй странице разместили чисто информационное сообщение об открытии работы Совета, то «Правда», чутко улавливавшая мнение Сталина, (на третьей странице номера) дала в редакционной статье более обширный комментарий, в котором с оттенком скрытого сарказма сообщалось, что «слово о балансе тяжёлой промышленности произнес Пятаков», который «выражался не тоннами, а рублями».

Непривычный для официального печатного органа слог исчезал, когда редакционная статья расставляла нужные акценты: «т. Сталин, ЦК партии давно требовали начать накопления в тяжёлой промышленности», но такой призыв наталкивался на инертность хозяйственников. «Знамя восстания против убыточности (!) поднял директор Макеевского металлургического завода Г.В. Гвахария». Интерпретация «Правды» очередной раз создавала мифологическое пространство: Сталин выступал поборником рентабельности предприятий; директорский корпус либо колебался, либо сопротивлялся, и только герой — верный сталинец поддержал курс вождя. Редакционная статья «Правды» не касалась масштабов дотаций тяжёлой промышленности [История..., 1978. С. 63], ни тем более причин такого явления. Критика положения дел в тяжёлой промышленности, и достаточно резкая, могла прозвучать из уст вождя — в качестве указаний сверху, но считалась недопустимой для «исполнителей».

В короткой информации о закрытии Совета в номере за 13 мая 1935 г., «Правда» из выступления Орджоникидзе выделила (как позитивные) только пропагандистские призывы и термины, употребляемые Сталиным. Сущность речи наркома осталась нераскрытой. «Известия» до 18 мая «воздерживались» от упоминания о работе Совета. Только 18 мая, как по команде, «Правда» и «Известия» опубликовали (но без каких-либо комментариев) выступление Орджоникидзе при закрытии работы Совета.

Выводы. Для руководства НКТП материалы Совета (Первого Пленума) 10–12 мая 1935 г. стали отправной точкой переосмысления методов реализации Второго Пятилетнего плана, в частности, импульсом для организации взаимосвязанных мероприятий второй половины 1935 г. — стахановского движения и Государственной программы обязательного технического обучения рабочих [Очерки..., 1981]. Для управленческого корпуса предприятий тяжёлой промышленности СССР вторая половина 1935 — 1936 г. стали временем борьбы за повышение качества продукции на основе совершенствования организации труда на производстве и системы технической подготовки и переподготовки.

Стенографические отчеты и резолюции Всесоюзного Совещания хозяйственников в сентябре 1934 г. и Совета (Пленума) при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР 10–12 мая 1935 г. показывают растущее несоответствие содержания и нацеленности двух тенденций политики партии /государства — рационалистической, связанной с реализацией Индустриального проекта на научных основах, и утопической — пути форсированного «социалистического строительства», превращённого официальной пропагандой в мифологический, единственно верный вариант развития. Упомянутая выше «эйфория» высшего руководства страны говорила о поддержке Сталиным второго варианта. Период поддержки генсеком курса на стабильность в экономике [Хлевнюк, 2010. С. 117] (январь 1933 г. — апрель 1935 г.) остался позади.

Если недопустимость объективного осмысления итогов Первой пятилетки должна была гарантировать «генеральная чистка», объявленная совместным решением ЦК и ЦКК

ВКП (б) от 12 января 1933 г., в ходе которой только на протяжении 1933 г. было «вычищено» до 400 000 коммунистов, или 18% состава ВКП(б), то ответом Сталина на усиление рациональных тенденций в экономическом курсе середины 30-х гг. стало начало так называемой «проверки партийных документов» в мае 1935 г. Формально намеченное мероприятие предполагало проверку наличия и подлинности партийных билетов и учётных и карточек. Однако, по обоснованному замечанию О.В. Хлевнюка, фактически проверка, осуществлявшаяся в мае-декабре 1935 г., представляла собой очередную «чистку» с применением арестов, с исключением из партии 250 тыс. коммунистов и арестом более 15 тыс. человек [Хлевнюк, 1996. С. 146–148].

Накопление критической массы в управленческом корпусе тяжёлой промышленности СССР могло разрешиться либо реформированием системы управления в промышленности, либо привести к репрессивным мерам против инициаторов перемен. Нельзя не отметить справедливость слов Орджоникидзе, произнесенных 12 мая 1935 г., о росте управленческой квалификации представителей директорского корпуса: с успехами индустриализации были связаны конкретные имена.

Работа Совета при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР 10–12 мая 1935 г. отчётливо показала размежевание курсов хозяйственной и политической элит Советского государства, прикрытое с обеих сторон идеологическими штампами. Декабрьский Пленум ЦК ВКП(б) 1935 г. [Фельдман, 2015] и Второй Пленум (Совет) при народном комиссаре тяжёлой промышленности СССР в июне 1936 г. станут ступенями дальнейшего размежевания. Дорога прозрения хозяйственников окажется и путем на Голгофу 1937 г.

Гибель в 1937–1938 гг. *большинства участников работы Совета 10–12 мая 1935 г.* (так, из 28 директоров крупнейших предприятий известны биографии 25, и 22 из них погибли в ходе репрессий) не вычеркнула имена создателей промышленной мощи СССР из исторической памяти.

ЛИТЕРАТУРА

- Громан В.Г. (1927). О теории баланса народного хозяйства и о методах его построения // Вестник статистики. № 1. С. 45–55.
- Гухман Б.А. (1928). К критике построений пятилетнего плана развития промышленности СССР // Плановое хозяйство. № 10. С.113–137.
- История социалистической экономики СССР. В 7 т. Т. 4. (1978). — М.: Наука.
- Межлаук В.И. (1935)/ К реорганизации Госплана // Плановое хозяйство. № 4. С. 3–6.
- Очерки истории профессионально-технического образования в СССР (1981) / Под ред. С.Я. Батышева — М.: Педагогика.
- Первая Всесоюзная конференция работников социалистической промышленности (1931): Стенографический отчет с 30 января по 5 февраля 1931. — М.-Л.: Огиз-Гос. соц.-экон. изд-во.
- Совещание руководящих работников тяжёлой промышленности 20–22 сентября 1934 г. (1935): Стенографический отчет. — М.-Л.: ОНТИ НКТП.
- Совет при народном комиссаре тяжёлой промышленности Союза ССР. (1935). Первый Пленум. М.-Л.: ОНТИ НКТП.
- Фельдман М.А. (2011). Две тенденции государственной политики в середине 30-х гг.: пять дней из жизни Г. К. Орджоникидзе // Экономическая история. Обзорение / Вып. 15 МГУ. С. 86–95.
- Фельдман М.А. (2015). Стахановское движение: место в мифической и реальной предвоенной советской истории // Вопросы истории. № 8. С. 3–19.
- Фельдман М. А. (2021). Директора предприятий тяжёлой промышленности 1930-х гг.: динамика социально-профессиональной группы // Социологические исследования. № 7. С. 113–124.
- Хлевнюк О.В. (1996). Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е гг. — М.: РОССПЭН.
- Хлевнюк О.В. (2010). Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — М.: РОССПЭН.
- Davies R. W. (1996). Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931–1933. — Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Davies, R.W. (2014). Industrialization of Soviet Russia. Vol. 6: Years of Progress: Soviet Economy, 1934–1936. — Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Фельдман Михаил Аркадьевич
feldman-mih@yandex.ru

Mikhail Feldman

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Ural Institute of Institute of management — branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Ekaterinburg)
feldman-mih@yandex.ru

THE FIRST PLENUM: ON THE QUESTION OF THE SIGNIFICANCE OF THE COUNCIL UNDER THE PEOPLE'S COMMISSAR OF HEAVY INDUSTRY OF THE USSR IN MAY 1935

Annotation. The article analyzes for the first time in the scientific literature the work of the Council (Plenum) under the People's Commissar of Heavy Industry of the USSR on May 10-12, 1935. Participation in the work of the Council of 104 representatives of the management corps of heavy industry attached great importance to the event in the life of the USSR. The comparative research method allowed comparing the characteristics of the professional group of the economic elite — 28 directors of the largest heavy industry enterprises elected to the Council under the People's Commissar of Heavy Industry. The analysis of the content of the speeches of managers at the Council made it possible to identify the specific features of successful "production commanders". It is established that during the first five-year plans, the "social elevator" brought up directors, mainly with professional training, management experience during the NEP years, who linked their lives with the Bolshevik Party; capable of starting production "from scratch".

Keywords: Council, industry, directors, balance sheet, self-financing, economy.

JEL: B24, N44.

REFERENCES

- Davies R. W. (1996). *Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931–1933*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Davies R. W. (2014). *Industrialization of Soviet Russia, Vol. 6. Years of Progress: Soviet Economy, 1934–1936*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Feldman M.A. (2011). Dve tendencii gosudarstvennoj politiki v seredine 30-h gg.: pyat' dnei iz zhizni G. K. Ordzhonikidze [Two Trends of state Policy in the Mid-30s: Five Days from the Life of G. K. Ordzhonikidze] // *Ekonomicheskaya istoriya. Obzrenie*. Pp. 86–95.
- Feldman M.A. (2015). Stahanovskoe dvizhenie: mesto v mificheskoy i real'noj predvoennoj sovetskoj istorii [The Stakhanov Movement: a place in the Mythical and Real Pre-War Soviet History] // *Voprosy istorii*. No. 8. Pp. 3–19.
- Feldman M.A. (2021). Direktora predpriyatij tyazheloj promyshlennosti 1930-h gg.: dinamika social'no-professional'noj gruppy [Directors of heavy industry enterprises of the 1930s: dynamics of a socio-professional group] // *Sociologicheskie issledovaniya*. No.7. Pp. 113–124.
- Groman V.G. (1927). O teorii balansa narodnogo hozyajstva i o metodah ego postroeniya [On the theory of the balance of the national economy and on the methods of its construction] *Vestnik statistiki* // No. 1. Pp. 45–55.
- Gukhman B.A. (1928). K kritike postroenij pyatiletnego plana razvitiya promyshlennosti SSSR [To criticize the construction of the five-year plan for the development of industry in the USSR] // *Planovoe hozyajstvo*. No. 10. Pp. 113–138.
- Istoriya socialisticheskoy ekonomiki SSSR. V 7 t.* (1978). [The History of the Socialist Economy of the USSR in 7 vol.] Vol. 4. — M.: Nauka.
- Khlevnyuk O.V. (1996). *Politbyuro. Mekhanizmy politicheskoy vlasti v 30-e gg* [Politburo. Mechanisms of political power in the 30s.] — Moscow: ROSSPEN.
- Khlevnyuk O.V. (2010). *Hozyain. Stalin i utverzhdenie stalinskoj diktatury* [Owner. Stalin and the establishment of the Stalinist dictatorship]. — Moscow: ROSSPEN.
- Mezhlauk V.I. (1935). K reorganizacii Gosplana [To reorganize Gosplan] // *Planovoe hozyajstvo*. No. 4. Pp. 3–6.
- Ocherki istorii professional'no-tekhnicheskogo obrazovaniya v SSSR (1981)* /Pod red. S.Ya. Batyshev [Essays on the history of vocational education in the USSR (Ed. S.Ya. Batyshev)]. — M.: Pedagogy.
- Pervaya Vsesoyuznaya konferenciya rabotnikov socialisticheskoy promyshlennosti (1931): Stenograficheskij otchet 30.01–05.02.1931* [The first All-Union Conference of Workers of Socialist Industry. Verbatim report 30.01–05.02.1931]. — M.-L.: Ogiz-State Social-Economy.
- Soveshchanie rukovodyashchih rabotnikov tyazheloj promyshlennosti 20–22.09.1934. (1935): Stenograficheskij otchet* [Meeting of the leading workers of heavy industry on September 20–22.09.1934. Verbatim report]. — M.-L.: ONTI NKTP.
- Sovet pri narodnom komissare tyazheloj promyshlennosti Soyuza SSR 1935. Pervyj Plenum* [Council under the People's Commissar of Heavy Industry of the USSR. First Plenum]. — M.-L.: ONTI NKTP.

А.Ю. Ермолов

*к.и.н., старший научный сотрудник, Институт экономики РАН
(Москва)*

ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРАХА СССР В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Аннотация. Работа посвящена характеристике взглядов современных российских историков и экономистов на экономические проблемы позднего СССР. Как и современные зарубежные исследователи, российские учёные предложили ряд собственных интерпретаций экономических проблем позднего СССР, которые в чём-то пересекаются, а в чем-то противоречат друг другу. Всё это осложняется не прошедшими у постсоветских поколений травмами от распада СССР или же неожиданных для многих политических и экономических трансформаций, воспоминаниями о собственной причастности к событиям прошлого. В последнем случае научные работы могут служить не только поисками истины, но и самооправданию. У многих авторов присутствует сильно выраженная идеологическая позиция, явно влияющая на их исследования. Тем не менее в каждом исследовании можно найти полезные идеи. Их изучение помогает выявлению «структур когнитивности», формирующих объяснения прошлых событий. В данной статье рассматриваются взгляды отечественных историков, в первую очередь тех, кто изучает так называемую «современную историю».

Ключевые слова: *экономическая история СССР, распад СССР, плановая экономика, социализм, рыночные реформы, институты, элиты, бюрократия.*

JEL: P2, P20, P21, P27, P3.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_139_154.

В журнале «Вопросы теоретической экономики» уже выходили работы, посвящённые тому, что думают современные зарубежные ученые об экономических проблемах позднего СССР [Ермолов, 2020; Ермолов, 2021]. В них говорилось о новых концепциях на Западе, которые появились после того, как СССР распался. С одной стороны, его изучение стало в большей степени научной, чем идеологической проблемой, с другой стороны, появился доступ к большому числу новых источников, отражающих экономическое положение позднего СССР. Автор рассчитывал, что изучение этих концепций позволит увидеть «структуры когнитивности», формирующие объяснения прошлых событий. Логичным продолжением решения этой задачи стало изучение взглядов на эту же проблему современных российских ученых.

Данная работа и посвящена указанной выше теме. В ней анализируются взгляды на экономические проблемы СССР современных российских ученых. Понятно, что научных (и претендующих на научность) работ, так или иначе затрагивающих эту тематику, в России написано очень много, в силу этого неизбежно требовалась расстановка приоритетов. Автор, не забывая о необходимости осветить широко распространённые в научной среде взгляды, всё же стремился в первую очередь показать разнообразие взглядов и интерпретаций, в силу этого в статье будут встречаться малоизвестные исследователи, порой находящиеся в маргинальной позиции по отношению к историческому мейнстриму.

Для бывших граждан СССР тема всё ещё несет в себе сильную политическую заряженность. Многие из тех, кто сейчас работает в области современной российской истории, были непосредственными участниками событий, в силу чего их взгляды всегда можно подозревать в предвзятости. Можно ли на этом основании игнорировать предлагаемые ими концепции, тем более, что порой ими предлагаются интересные идеи? Очевидно, что любая выборка авторов в таких условиях будет в значительной степени авторским произволом, и за этот произвол я заранее приношу свои извинения.

Следует отметить, что большинство историков крайне настороженно относятся к возможности научного изучения так называемой «современной истории» (термин, явно близкий к оксюмору). Поскольку профессиональная специфика побуждает мыслить большими временными категориями, граница, за которой кончается «просто история» и начинается «современная история», лежит довольно далеко. Все согласны, что к современному периоду относится время Перестройки, большинство относит к нему и эпоху Брежнева, а некоторые — весь послевоенный СССР. Изучение «современной истории» не очень почётно, но зато может быть опасно для репутации учёного. В силу этого круг тех, кто решается что-то писать об этой теме, был до последнего времени довольно узким, и лишь в последние десять лет стал довольно активно пополняться молодыми исследователями.

Одним из пионеров «современной истории» в России является А.Б. Безбородов (директор Историко-Архивного института РГГУ, а с 2018 г. — ректор РГГУ), вокруг которого сложилась группа единомышленников, из которых следует отметить в первую очередь В.А. Шестакова (ученый секретарь ИРИ РАН в 2003–2016 гг.). Этой группой исследователей был написан ряд научных и учебно-методических работ об истории позднего СССР, которые можно считать «мейнстримом» сегодняшней исторической науки (с учётом поправки на то, что большинство историков всё ещё настороженно относится к возможности изучения истории этого периода). Вопрос об экономической эффективности эти авторы рассматривают с позиции принципиальной неэффективности существовавшего в СССР хозяйственного механизма, который был не способен реагировать на последствия научно-технической революции [Безбородов, Дробижина, Елисеева и др., 2007. С. 43]. Его успехи в предыдущие периоды объясняются жестокой эксплуатацией населения и природных ресурсов в ущерб будущим поколениям. Но потенциал развития за счет такой экономической модели был быстро исчерпан, после чего «в 1970-е — 1980-е годы нараставшее отставание от стран с рыночной экономикой переросло в системный кризис, обостривший социальные проблемы» [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 43]. В некоторых своих работах авторы высказываются более радикально, говоря об экономическом спаде, начавшемся в 1970-х гг. [Безбородов, Дробижина, Елисеева и др., 2007. С. 43]. К концу 1970-х годов в СССР прекратился рост благосостояния населения, а социальное неравенство, несмотря на декларации властей, охарактеризовано авторами как «вопиющее» [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 45]. Нельзя не обратить внимание на бросающийся в глаза факт, что для авторов этого направления существуют только развитые страны с рыночной экономикой, существование мировой капиталистической системы как сложных отношений между развитыми и неразвитыми странами ими игнорируется. Это оказывает влияние на их измерительную шкалу и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения социального неравенства.

Огромное влияние на экономическое положение СССР оказывала чрезмерная милитаризация экономики [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 42], что объясняется тем, что советская экономика была направлена на поддержание существующей политической системы, а не на удовлетворение потребностей людей. По мнению В.А. Шестакова, треть занятых в промышленности СССР работало непосредственно на военные нужды (а сколько же в таком случае работало не непосредственно, а косвенно?). Искажённая и неэффективная структура народного хозяйства СССР привела к тому, что полученные на «узком фронте

военных технологий» достижения привели к деградации в остальных отраслях экономики. В то же время в развитых странах основным потребителем и производителем наукоёмкой продукции были гражданские отрасли промышленности. Следует отметить, что историки, исследовавшие военную промышленность позднего СССР, [Быстрова, 2006; Симонов, 1996] дают более низкие оценки доли военной промышленности в советской экономике, чем основанные на публицистике конца 1980-х годов оценки Безбородова и Шестакова. Например, общая стоимость произведённого вооружения и военной техники в 1961 г. оценивается в 6% от всей промышленной продукции [Симонов, 1996. С. 307], хотя цена у части военной продукции систематически занижалась до уровня ниже себестоимости (впрочем, у других видов военной продукции она, наоборот, могла сильно завышаться). Это не отмечает проблему негативного влияния военной промышленности на экономику СССР, но заставляет взглянуть на неё иначе. Главной проблемой было не чрезмерное производство военной техники, а то, что научно-технические достижения военной промышленности не стали в СССР стимулирующим фактором экономического развития, как это происходило в США.

Косыгинская реформа оценивается авторами этого направления двояко. С одной стороны, она была шагом в правильном направлении, в сторону децентрализации и применения, пусть и в ограниченном масштабе, элементов рыночной экономики. С другой стороны, она была обречена, поскольку не затрагивала основ командно-административной системы, сохраняя директивное планирование [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 50]. Реформа не носила комплексный характер, и в то же время покушалась на основы, в силу чего была враждебно воспринята большей частью элиты и «ушла в песок» [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 51–52].

Постепенно неэффективность социалистической системы становилась ясна и для интеллектуальной, и для политической элиты. Неудачные хаотичные попытки реформировать советскую экономику, предпринятые Н.С. Хрущевым, актуализировали поиск новых путей модернизации, «включая и выход из социализма» [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 48], а экономическая наука получила шанс вырваться за пределы марксистско-ленинских догматов. Стало возможным появление знаменитых статей Е.Г. Либермана, вокруг которых началась оживленная дискуссия. В ходе этой дискуссии многие статусные экономисты, например академик В.С. Немчинов, начали критиковать ключевые элементы советской экономической системы. Особую роль в эволюции взглядов научной элиты сыграла экономико-математическая школа (Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов). Начав с попытки построения теоретической модели оптимального планирования, они в конечном счете пришли к тому, что доказали его практическую и даже теоретическую неосуществимость, так как такое планирование не учитывает вероятностных процессов, присущих экономике, отвергает инициативу и предприимчивость на местах [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 48]. После остановки косыгинских реформ экономисты в основном занимались концепцией «совершенствования хозяйственного механизма», которая предполагала достижение оптимального сочетания плана и рынка при условии сохранения фундаментальных основ социалистической системы, но практика показала, что в этих рамках невозможно решить существующие экономические проблемы [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 53–54]. Требовались более радикальные подходы, в том числе реформа собственности.

Решающее значение имела позиция номенклатуры, которая стремилась к тому, чтобы получить возможность передавать власть и богатство по наследству. Как считают Безбородов и Шестаков, к началу 1980-х гг. «высшие государственные чиновники ... мечтали о праве собственности на предприятия» [Безбородов, Елисеева, Шестаков, 2010. С. 26]. При этом номенклатура уже провела первоначальное накопление капитала (за счёт хищений и взяток) и внутренне полностью отказалась от коммунистической идеологии. Если в 1930-е —

1940-е гг. бюрократию сдерживал страх репрессий, то в позднем СССР она уже добилась безопасности и самостоятельности (в этом ей помог механизм «бюрократического рынка», который позволял хозяйственной элите навязывать свои ведомственные и групповые интересы) и постепенно начала продвигать выгодную ей идеологическую конструкцию «социализма с человеческим лицом», которая нашла своё выражение в политике Перестройки.

Слабым местом этой части концепции Безбородова и Шестакова является использование как аксиом недоказанных гипотез. Должны ли мы на веру принимать предположения авторов о том, что было тайной мечтой высших советских чиновников? Сама по себе постановка вопроса о важности происходивших в среде элиты идеологических и ментальных трансформаций более чем оправдана, но нуждается в какой-то более сильной доказательной базе и новых исследовательских инструментах.

Другая попытка создать «большой нарратив» о «современной истории» России была предпринята преподавателем МГУ А.С. Барсенковым, к совместной работе с которым затем подключился А.И. Вдовин. Однако создать свой альтернативный центр изучения «современной истории» России им не удалось. В 2010 г. против них и написанного ими учебника развернулась широкая кампания критики в СМИ, в ходе которой Вдовина и Барсенкова обвиняли в сталинизме и антисемитизме (впрочем, критика касалась в основном той части их учебника, где они писали о раннем СССР), приведшая к осуждению их работ в Общественной палате РФ. В результате Барсенков значительно сократил свою публикационную активность и сузил поле деятельности до относительно безопасной темы внешней политики. Вдовин же продолжил публиковать свои работы, но без грифа МГУ.

А.С. Барсенков в своих первых работах больше внимания уделял политическим и идеологическим, а не экономическим вопросам. Он считал, что экономические проблемы были в первую очередь вызваны теми вызовами, которые возникли в результате начавшегося в странах Запада перехода к постиндустриальной стадии развития [Барсенков, 2002. С. 30]. На СССР этот переход влиял в первую очередь через необходимость вести гонку вооружений. Сформировавшаяся в СССР мобилизационная модель экономики не отвечала задаче перехода к постиндустриальному обществу, но руководство страны в 1960-70-е гг. не было готово от неё полностью отказаться, хотя мобилизационная модель уже начала разрушаться снизу [Барсенков, 2002. С. 42]. М.С. Горбачев начал хозяйственные реформы, но остановился там, где они могли привести к непопулярным последствиям (в частности, переход к рыночным ценам). В результате экономическое положение СССР ухудшалось, возможность относительно плавного перехода к рыночным реформам была утрачена [Барсенков, 2002. С. 104].

А.И. Вдовин в своих поздних работах уделяет экономическим проблемам больше внимания, пытаясь дать взвешенную и многостороннюю оценку экономическому положению страны. Прежде всего он отмечает, что «к началу перестройки СССР располагал мощной многоотраслевой экономикой, обеспеченной практически всеми видами сырья, кадрами учёных, инженеров, рабочих [Вдовин, 2022. С. 615]. Он обращает внимание на успехи экономики позднего СССР в разных областях, такие как развитие химической промышленности, рост жилищного строительства, создание новых крупных предприятий, освоение военной промышленностью новых образцов военной техники и т.д. Вместе с тем он отмечает наличие отставания СССР по уровню научно-технического развития от развитых стран, которое со временем не только не сокращалось, но и нарастало. Более того, именно экономические проблемы в сочетании с неспособностью руководителей страны провести нужные реформы стали основной причиной распада СССР [Вдовин, 2022. С. 687], оттеснив на второе место провал национальной политики, которая для Вдовина является излюбленной темой научного изучения.

Вдовин указывает на хорошо известный факт снижения темпов роста советской экономики, отмечая при этом, что темпы роста промышленного производства оставались

выше, чем у большинства развитых стран: США, Англии, ФРГ, Франции [Вдовин, 2022. С. 612]. У торможения экономического развития были объективные причины: сокращение притока трудовых ресурсов из-за изменения демографической ситуации, сдвиг сырьевой базы в восточные и северные районы, где их добыча велась в существенно более трудных условиях. С другой стороны, советское руководство в условиях роста цен на нефть на мировом рынке всё больше полагалось на экспортные доходы от её продажи, избегая перестройки экономических механизмов [Вдовин, 2022. С. 618]. Особенно серьёзные проблемы были в сельском хозяйстве. Характерные для нашей страны неблагоприятные климатические условия соединились с неблагоприятной тенденцией, вызванной снижением удельного веса трудоспособного населения, а вложения в социальную инфраструктуру оказались недостаточными для того, чтобы это снижение купировать. Большим просчетом было недостаточное внимание к развитию современных технологий, в первую очередь электроники. Приоритеты у советского руководства были ошибочными, о чем свидетельствует сокращение расходов на электронную промышленность ради проведения Олимпиады 1980 г. И, разумеется, тяжёлым бременем оставалась гонка вооружений, которую вынужден был вести Советский Союз. Советское руководство вынуждено было для этих целей содержать развитую военную промышленность, которая росла опережающими темпами. На её интересы работала и значительная часть машиностроительных заводов (автор в то же время отмечает, что в объёмах производства предприятий ВПК значительную часть составляла мирная продукция). Эта необходимость препятствовала интенсификации гражданского производства, вынуждала мириться с нерациональным расходом сырья и энергии. Что особенно важно, крен в сторону военной промышленности препятствовал экономическим реформам, толкая в сторону директивных методов управления [Вдовин, 2022. С. 592].

Впрочем, главную проблему Вдовин, похоже, видит не в экономической, а в политической сфере. По его мнению, накопленный экономический потенциал позволял вести поиск оптимальных путей переустройства экономики «без коренной перетряски жизни советских народов», но руководству страны эта задача оказалась не по силам. Высокую оценку автор даёт косыгинской реформе, которая обеспечила высокие темпы роста экономики в 8-й пятилетке. Сутью реформы автор считает дополнение партийно-административных рычагов управления народным хозяйством элементами рыночной экономики. Реформа была бы возвратом к системе, существовавшей во времена НЭП, но без частных предприятий [Вдовин, 2022. С. 581]. К несчастью, реализация реформы была быстро свёрнута, и сделано это было, как считает автор, по политическим причинам. Заложенное в этой реформе расширение демократии и самостоятельности трудовых коллективов было воспринято консервативной частью руководства страны как угроза [Вдовин, 2022. С. 585]. Особое влияние оказали события Пражской весны, продемонстрировавшие потенциальную опасность реформ. А.Н. Косыгин мог бы попытаться переломить ситуацию, если бы решился начать борьбу за власть против Л.И. Брежнева и окружавших его консерваторов, но вследствие своего негативного жизненного опыта (Косыгин чудом избежал расправы во время «Ленинградского дела») предпочитал воздерживаться от политики, ограничивая свою деятельность чисто хозяйственными вопросами. Впрочем, в том, что реформа сошла в 1970-е гг. на нет, внесли свой вклад и её собственные слабости. Преувеличенное внимание к прибыли привело к тому, что многие предприятия стали повышать её не только за счет совершенствования производства, но и искусственного завышения цены или же использования некачественных материалов. Реформа могла бы иметь успех только в случае коренных изменений в организации производства, то есть полного отказа от командно-распределительной системы [Вдовин, 2022. С. 588].

Ссылаясь на подготовленный в 1979 г. доклад академика В.А. Кириллина, Вдовин считает, что негативная ситуация, сложившаяся в экономике в конце 1970-х гг., не могла

быть преодолена без «радикальных структурных реформ, так или иначе связанных с расширением роли элементов рыночных отношений в экономике» [Вдовин, 2022. С. 616]. Но вместо этого руководство страны продолжило двигаться «в привычном русле замещения экономических рычагов административными» [Вдовин, 2022. С. 617], пытаясь совершенствовать механизмы планирования и отраслевой структуры управления. Что же касается попыток подтолкнуть экономику в сторону автоматизации и механизации, то они не приносили нужного эффекта, так как не были связаны с реальными интересами тех, кто должен был их реализовывать. Так же не давали эффекта иницируемые партийным аппаратом идеологические кампании по поддержанию трудового энтузиазма. Последняя попытка придать ускорение социально-экономическому развитию, предпринятая в первый период Перестройки, была чистой импровизацией, не подготовленной в идейно-теоретическом отношении [Вдовин, 2022. С. 683]. Закончилось всё это распадом СССР, который был организован «во имя жизненных интересов советской партийно-хозяйственной номенклатуры, стремящейся закрепить свое место в новой элите, владеющей и распоряжающейся богатствами страны» [Вдовин, 2022. С. 685].

Оригинальные подходы к истории позднего СССР содержат работы А.В. Шубина, в период перестройки активного участника неформальных социально-политических движений левой направленности, а ныне сотрудника Института всеобщей истории РАН. Он видит главную причину экономических проблем позднего СССР в глубоком кризисе индустриальной модели, которую СССР переживал особенно остро из-за присущего ему крайнего этатизма. Сама по себе индустриально-этатистская модель экономики не была исключительной чертой ни СССР, ни даже стран социалистического лагеря. Похожие черты (индустриальное общество с сильным государственным регулированием) в середине XX в. можно было найти и в западных странах, где этот этап марксисты называли «государственно-монополистическим капитализмом» [Шубин, 2001. С. 102]. К индустриально-этатистским обществам Шубин относит США, Германию (не ясно, Третий Рейх или ФРГ). Отличием советской модели индустриального этатизма была крайняя степень этатизации и монополизации всех сфер жизни общества. «Общество строилось по образу и подобию фабрики с крайней степенью централизации управления в руках “менеджеров” — бюрократов» [Шубин, 2001. С. 103]. Разумеется, в полной мере притязания государства на полную управляемость общества из единого центра никогда не были реализованы. Более того, в позднем СССР такой цели уже реально не ставилось, поскольку она противоречила интересам различных слоев общества, и в том числе самой бюрократии. Но под её влиянием сформировалось специфическое общество, в котором были более сильно выражены такие черты, как монополизм, индустриализм и милитаризация. Для экономики же в ещё большей степени, чем в других странах индустриального этатизма, была характерна ориентация на крупномасштабные энергоёмкие технологии.

Как отмечает Шубин, «сверхмонополизм общественной структуры СССР делал её чрезвычайно хрупкой, но до известного предела вполне прочной» [Шубин, 2001. С. 104]. Система долгое время могла игнорировать или подавлять новые социальные явления, но в результате в обществе накапливалось напряжение. В конечном итоге это предопределило то, что кризис принял такую тяжёлую, разрушительную форму.

Существовавшая в СССР плановая система была ориентирована на крупномасштабные стандартизированные технологии и могла эффективно управлять только теми производствами, где такие технологии господствовали. На ранних этапах развития индустриальной экономики этого было вполне достаточно. Но по мере развития индустриальной цивилизации потребности усложнялись, причём это касалось одновременно и потребностей людей во всё более дифференцированном потреблении, и потребностей государства, особенно его вооружённых сил, которым требовалась всё более сложная и разнообразная военная техника.

В качестве примера Шубин приводит положение в сельском хозяйстве СССР. По ключевым показателям производства стандартной продукции, например, зерна, молока, мяса, оно не слишком сильно отставало от сельского хозяйства США, разрыв, как могло показаться, не носил качественный характер. Но при этом значительная часть сельхозпродукции терялась при хранении и переработке, и продовольственный дефицит оставался серьёзной проблемой, раздражавшей население, а руководство страны вынуждено было импортировать продовольствие.

Рубеж, на котором встала задача преодоления порога НТР, был достигнут советской экономикой в 1970-е гг. Но для дальнейшего развития требовалось распространить передовые технологии на более широкую производственную сферу, и, поскольку управлять этим переходом из единого центра было слишком сложно, нужна была децентрализация принятия решений и большая самостоятельность [Шубин, 2001. С. 110–111].

Проблема в том, что сложившийся баланс сил в управлении экономикой препятствовал этому переходу. Вслед за В. Найшулем Шубин считает, что реально в СССР господствовал «бюрократический рынок». Бюрократизация рынка, подчёркивает он, имела место во всех индустриально-элитарных странах. Но в СССР она достигла наибольших масштабов, степень искажения рынка была сильнее, чем в других странах [Шубин, 2001. С. 105].

Сама по себе концепция «бюрократического рынка», на мой взгляд, отражает прежде всего особенности мышления экономистов, желающих всюду увидеть хорошо знакомую им модель, в данном случае рынок. Но этот подход может быть полезен и плодотворен, если понимать, что термин «рынок» здесь уместен как метафора, обращающая наше внимание на господствующие в реальной системе управления практики и истинные интересы бюрократии как социального слоя.

Концепция «бюрократического рынка» предполагает, что реальное управление экономикой было построено не по иерархичному принципу, а вместо управления командами требовало управления через согласования. Как утверждал создатель этой концепции В. Найшуль¹: «Советский бюрократический рынок устойчиво гасит действия даже таких крупных диллеров, как ЦК КПСС и Совет министров СССР» [Найшуль, 1991. С. 30]. Бюрократическому рынку, как и всякому рынку, была свойственна определённая доля анархии, что вело к накоплению противоречий между участниками. Бюрократический рынок противостоял любым попыткам реорганизации управления, что объясняется как консервативной природой бюрократии, так и её объективной заинтересованностью в сохранении сложившегося распределения сил. В силу этого никакое постепенное реформирование системы было невозможно, так как «бюрократический рынок» сможет загасить любую такую реформу. Масштабное же реформирование без создания альтернативной экономической и социальной инфраструктуры привело бы просто к экономическому краху и последующему восстановлению «бюрократического рынка» [Шубин, 2001. С. 107].

В силу этих соображений Шубин критически оценивает и Косыгинскую реформу, и попытку реформировать управление экономикой, предпринятую в 1979 г. Последнюю, в отличие от А.И. Вдовина, он считает попыткой продолжения Косыгинской реформы, с заменой прибыли на её аналог в виде «нормативно чистой продукции». Её неудачный результат был так же предопределён, как и у реформы 1965 г.: монополисты-производители стали навязывать потребителям более дорогую продукцию, а дешёвые товары стали дефицитом. По мнению Шубина, «попытки привить сверхмонополизированной экономике элементы свободного рынка лишь обостряли социально-экономический кризис» [Шубин, 2001. С. 121]. Суррогаты классического западного рынка, которые пытались внедрить руко-

¹ У концепции бюрократического (административного) рынка много «отцов — основателей». См. например: Кордонский С.Г. Рынки власти: административные рынки СССР и России. — 2-е изд. — М.: ОГИ, 2006. *Understanding Street-Level Bureaucracy* / Edited by P. Hupe, M. Hill, A. Buffat. — Bristol University Press, 2015. — *Прим. ред.*

водство страны, называя это «хозрасчётом», не могли дать ожидаемых от них результатов, поскольку отечественный рынок работал по иным законам, чем западный.

«Бюрократический рынок» в первую очередь заинтересован в стабильности, и снижение темпов роста в принципе отвечало этим интересам. Но, вместе с тем, поскольку рост экономики не прекратился, то, очевидно, в рамках «бюрократического рынка» существовали и силы, заинтересованные в продолжении экономического роста. С одной стороны, это было стремление высшего руководства ускорить развитие страны через инструменты планирования. С другой, каждый представитель бюрократии был заинтересован в расширении порученного ему управлению объекта, так как это означало повышение его статуса внутри бюрократической системы. Это вызывало у него стремление «выбивать» для порученного ему предприятия как можно больше инвестиций. Этот процесс приводил к экономическому росту, но получающийся в его результате рост носил чисто экстенсивный характер. И в 1970-е гг. Советский Союз столкнулся с пределами роста.

Это столкновение нашло выражение и в нарастании экологических проблем, и в исчерпанности демографического потенциала. Особенно сильно оно проявилось в сырьевом секторе, где истощение месторождений вело к необходимости разрабатывать новые, где добыча велась в более сложных условиях. Это требовало всё больше и больше капитальных вложений, что отвлекало их от модернизации экономики. В итоге расширение сырьевой базы советской экономики стало поглощать уже такие объемы инвестиций, что оставшиеся объемы уже не могли покрыть потребности в амортизации капитала. «Промышленность продолжала расти вширь, хотя её оборудование трещало по швам» [Шубин, 2001. С. 116].

Шубин обращает внимание на нарастающие противоречия внутри правящего слоя. В нём обостряется борьба между «ведомственными» и «местническими» группами. Новым явлением, проявившимся в конце 1970-х гг., стал переход директорского корпуса на сторону последних, что нарушало сложившийся ранее баланс сил [Шубин, 2001. С. 120]. Эта борьба сыграла свою роль и в возвышении М.С. Горбачева, и в формировании основ его политики Перестройки [Шубин, 2001. С. 325–326]. Горбачев, пользуясь поддержкой «местнических» группировок, развернул борьбу против «ведомственных», чем окончательно нарушил хрупкую социально-политическую стабильность.

Таким образом, экономические проблемы порождали социальную напряжённость и сочетались с экологическим, демографическим, социально-психологическим кризисами, кризисом национальных отношений. Крах «хрупкой сверхмонополизированной индустриально-этатистской системы» в этих условиях выглядел, по мнению Шубина, неизбежностью.

Историк Ю.П. Бокарев (Институт экономики РАН) в своей книге «СССР и становление постиндустриального общества на Западе. 1970-1980-е годы» ставит в центр внимания вопрос о несостоявшейся постиндустриальной модернизации СССР. По его мнению, для её проведения имелся ряд условий, в том числе хорошо финансируемая наука, имеющая многочисленные квалифицированные кадры ученых. Но в целом сама возможность перехода СССР к постиндустриальному обществу была лишь потенциальной, но не реальной [Бокарев, 2007. С. 131].

Происходившие в западных странах процессы перехода к постиндустриальному обществу были своевременно замечены [Бокарев, 2007. С. 115]. Более того, в СССР появилась собственная концепция научно-технической революции (НТР). Эта концепция была в целом воспринята партийно-государственным руководством, а понятие «научно-технической революции» даже вошло в принятую в 1961 г. новую программу КПСС. Вместе с тем задачи НТР виделись её советским теоретикам в русле индустриального общества, а постиндустриальная часть этой проблематики, в том числе социальная, отбрасывалась. Более того, на практике разговоры об НТР до конца 1960-х гг. так и не перешли в плоскость конкретных решений, оставаясь декларативными заявлениями. В целом советская теория

НТР, неся на себе груз ошибочных концепций марксизма-ленинизма, была на деле одним из главных препятствий на пути реализации перехода СССР к постиндустриальному обществу. Другими препятствиями были низкий образовательный уровень советской элиты (здесь, представляется, автор перегибает палку, выставляя в качестве правила отдельные примеры биографий) и отсутствие интеллектуальной свободы в изучении происходящих в обществе процессов.

Ещё одним препятствием была организация науки, построенная на иерархических принципах. Высшее положение в ней занимали академические институты, а ведомственные институты «являлись пасынками научной системы СССР» [Бокарев, 2007. С. 132]. В то же время на Западе учёные в основном концентрировались в ВУЗах и научных подразделениях частных фирм. Такая организация советской науки способствовала углублению разрыва между наукой и производственной практикой. Несмотря на отдельные успехи, неэффективными формами оказались созданные в попытках ускорить НТР научно-производственные объединения и межотраслевые научно-технические комплексы. Те и другие оказались слишком оторванными от промышленности. Их разработки игнорировали реальные условия работы советских заводов и фабрик, что препятствовало внедрению их инноваций [Бокарев, 2007. С. 140]. Что же касается ВУЗов, то они продолжали воспроизводить старую, сложившуюся в индустриальную эпоху модель подготовки кадров, а к требованиям постиндустриальной эпохи не были готовы [Бокарев, 2007. С. 145]. Образование было слишком широкопрофильным, с поздней и неглубокой специализацией. Уже получивших дипломы специалистов требовалось доучивать непосредственно на производстве. Среди выпускников была низка доля специалистов новых, перспективных профессий. ВУЗы находились под влиянием предприятий, которые заключали с ними договоры на подготовку специалистов, и это мешало увеличить подготовку по новым специальностям, таким как специалисты по автоматизации.

В этой части своего исследования Ю.П. Бокарев видит ситуацию в слишком чёрном цвете. К явным ошибкам относится его преувеличение роли академических институтов (которые действительно были оторваны от реальных проблем экономики) по сравнению с отраслевой наукой. Между тем именно отраслевые НИИ были основой советской науки, значительно превосходя академические институты и численностью, и совокупным финансированием. Другое дело, что лучшие силы сосредоточивались в НИИ, работавших в области военной промышленности.

Способность СССР внедрять передовые технологии снижалась из-за отсутствия конкуренции между производителями и, как следствие, их заинтересованности в замене оборудования. Эти системные дефекты усугублялись ошибочной промышленной политикой. Негативную роль сыграли установленные в СССР нормы амортизации, не учитывавшие морального устаревания оборудования и требовавшие списывать его не ранее, чем через 13 лет после начала эксплуатации [Бокарев, 2007. С. 171]. Это выглядит особенно контрастно на фоне вводимых в то время в развитых капиталистических странах налоговых льгот, поощрявших ускоренное списание устаревшей техники. Например, в США такие льготы давались при замене оборудования, проработавшего пять лет. В итоге в советской промышленности нарастала доля не только морально устаревшего, но и просто физически изношенного оборудования. По мнению Бокарева, применение новой, более совершенной техники в советских условиях хозяйствования было часто невыгодно. Себестоимость производства новой техники часто оказывалась очень высокой, а период производства — слишком коротким для того, чтобы её разработка и освоение окупились. В то же время высокие цены на новое оборудование делали экономически невыгодным его использование.

Экономический эффект от внедрения новой техники был низким. Предприятия, внедрявшие новые технологии, оказывались в худшем экономическом положении, чем продолжавшие производить старую продукцию. В целом по промышленности внедрение

новых технологий окупалось за 2-3, вложения в механизацию производства — за 40–45, автоматизация — за 6–10 лет. В то же время в западных странах механизация и автоматизация производства окупались за 2,5-3 года. Низкая окупаемость расходов на автоматизацию и механизацию препятствовала её внедрению в СССР. Бокарев отвергает предположение, что медленное внедрение автоматизации и механизации было связано с проводимой политикой полной занятости. Главным фактором он считает низкую стоимость квалифицированной рабочей силы в СССР, делавшую автоматизацию невыгодной [Бокарев, 2007. С. 183], что сочеталось с нехваткой «высококвалифицированных и узкопрофессиональных кадров», способных участвовать в реализации таких проектов. Что касается потенциальной безработицы, то риск её роста из-за автоматизации отсутствовал, поскольку, по подсчетам Бокарева, масштабные вложения в автоматизацию вели не к сокращению, а к росту занятости [Бокарев, 2007. С. 187]. Сокращение же рабочей силы происходило только при реализации небольших проектов (стоимостью не более 4 тыс. рублей).

Развитие советской электронно-вычислительной техники на начальном этапе было успешным, и часто вспоминаемая идеологическая кампания «борьбы с кибернетикой» не оказала на него негативного влияния. Важным просчетом была недооценка микропроцессорной технологии. К тому моменту, когда в СССР поняли её важность, и особенно важность персональных ЭВМ, создать равные западным по производительности микропроцессоры уже было невозможно [Бокарев, 2007. С. 153]. СССР был вынужден прибегнуть к массовому импорту микропроцессорной техники, а собственные изделия не пользовались популярностью у потребителей.

Что касается проектов создания автоматических систем управления (АСУ), то, несмотря на значительный прогресс в их создании, их влияние на экономику оставалось незначительным [Бокарев, 2007. С. 160]. Внедрение АСУ было вызвано не экономической заинтересованностью хозяйствующих субъектов, а давлением со стороны вышестоящих органов управления. Когда это давление ослабло, то многие уже реализованные системы были ликвидированы, а темпы внедрения новых АСУ существенно снизились. Что же касается широко известного проекта В.М. Глушкова по созданию Единой государственной сети вычислительных центров, то он, вероятнее всего, мог бы помочь найти пути оптимального развития народного хозяйства СССР. Но, как представляется Бокареву, противоречия между существовавшим стилем руководства, практикуемым полуобразованной партократией, и требованиями к качеству управления, предъявляемыми проектом Глушкова, были непреодолимым препятствием для его реализации [Бокарев, 2007. С. 167].

Заслуживают внимания размышления Ю.П. Бокарева о соответствии тех целей, которые стояли перед советской экономикой в условиях научно-технической революции, и имевшихся представлений об экономических реформах. Представляется очень ценным его наблюдение о корнях появившейся в Восточной Европе концепции «рыночного социализма», оказавшей большое влияние на взгляды советских сторонников экономических реформ. По его мнению, «несмотря на всю прогрессистскую риторику реформаторов, их идеал находился не в будущем, а в прошлом» [Бокарев, 2007. С. 220]. Они не могли и не хотели решать проблемы научно-технического развития в рамках своих стран, а лишь стремились приблизить их экономику к тому состоянию, в котором она была в межвоенный период. Таким образом, доктрина «рыночного социализма» создавала ложную альтернативу советской социально-экономической модели. Её реализация в странах Восточной Европы не привела к ускорению их экономического развития, что, в частности, хорошо видно на фоне относительных успехов экономики ГДР, где эту доктрину реализовывать не пытались.

Но руководство СССР находилось в руках недостаточно образованных и узко мыслящих людей, которые не понимали всей сложности реформирования народного хозяйства и мыслили в стиле жёсткого дуализма (либо централизация, либо децентрализация, либо

плановое хозяйство, либо социалистический рынок). Такое руководство было неспособно выдвинуть собственную программу реформ и неизбежно «подпадало под влияние различных политических сил» [Бокарев, 2007. С. 227]. В результате были предприняты попытки проведения реформ, которые, с одной стороны, привели к тому, что советское общество потеряло устойчивость и ориентиры. С другой же стороны, они не дали ожидаемого экономического эффекта, в том числе потому, что вопрос об эффективности управления (и эффективности тех, кто это управление осуществляет) был подменен вопросом об эффективности тех или иных методов управления, исходя из ложного предположения, что, если кто-то неэффективно использует командные методы, он сможет эффективно использовать экономические [Бокарев, 2007. С. 237]. В результате этой подмены реформа потеряла связь с научно-техническим прогрессом.

Крайне опасной тенденцией было наметившееся расхождение между научно-техническим прогрессом и не только практикой реформ, но и экономической теорией. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, в которой экономисты-реформаторы не просто отдалялись от НТР, но и занимали фактически враждебные ей позиции. В качестве примера Бокарев приводит статью известного советского экономиста А.М. Бирмана «Наука управлять». Бокарев критикует предложенное Бирманом искусственное разделение научного управления экономикой на два направления, одному из которых он приписал удобные для критики взгляды. Экономисты стали всё больше уделять внимание фактору личной заинтересованности, игнорируя технократические управленческие решения, в том числе те, которые реально были доступны для применения внутри советской экономики и могли быть использованы в том числе для эффективного применения методов, использующих фактор личной заинтересованности. Получалось, что в СССР, по используемой Бирманом и Бокаревым метафоре, строили телескопы, но не готовили для них астрономов [Бокарев, 2007. С. 242].

Важнейшим фактором, по мнению Бокарева, был начавшийся благодаря развитию постиндустриальной экономики процесс глобализации. Этот процесс не оставлял советской социалистической системе шансов на выживание, так как по своим возможностям глобальная экономика превосходила любую национальную экономику, а подключиться к ней можно было, только принимая её правила игры [Бокарев, 2007. С. 376]. Безнадёжное положение СССР усугубляли меры экономической войны, предпринимаемые против него США, такие как ограничения по торговле передовыми технологиями и манипулирование нефтяным рынком. СССР так и не стал страной, экспортирующей новые технологии и высокотехнологичную продукцию. Он вынужден был выходить на мировой рынок в основном с сырьевыми товарами, но и за них он не всегда мог получить достойную цену.

Что касается СЭВ, то Бокарев не видел в нём жизнеспособной альтернативы глобализации. Взаимодействие стран СЭВ между собой было затруднено. Страны СЭВ стремились к созданию «самодостаточных» экономик, считалось, что в каждой стране должны развиваться все индустриальные отрасли. Экономическую интеграцию с СССР в странах СЭВ понимали прежде всего как поставки из СССР дешёвого сырья. В странах СЭВ был избыточный параллелизм производства, которое часто было малоэффективным из-за ограниченного рынка сбыта. В рамках СЭВ не удавалось согласовать замыслы по страновой специализации и кооперации с принятыми на национальном уровне планами экономического развития и существующими внутри национальных экономик системами цен. Признанием провала интеграционной политики Бокарев считает принятие в 1970 г. решения ориентироваться на цены капиталистического рынка, усреднённые за 5 лет [Бокарев, 2007. С. 333].

В целом исследование Бокарева содержит ряд нетривиальных идей и интересных подходов к советским экономическим проблемам. Особенно важно то, что он обращает внимание на мировой контекст экономических проблем СССР: начало глобализации

и переход развитых стран к постиндустриальной экономике. Заслуживают интереса и его замечания о когнитивных провалах как правящей, так и научной элиты СССР, которые оказались заложниками ошибочных идеологических и теоретических принципов, в том числе и в области экономической теории.

Проблеме успехов и провалов СЭВ посвящен ряд работ историка М.А. Липкина (с 2016 г. директор Института всеобщей истории РАН). Хотя он даёт в них скорее положительную, чем отрицательную оценку деятельности СЭВ и не уделяет большого внимания влиянию СЭВ на экономику СССР, его материалы дают возможность по-новому взглянуть на внешнеэкономические перспективы СССР и возможность альтернативной социалистической глобализации. Увлеченный своим предметом, Липкин полагает, что СЭВ был хотя бы на определённом этапе глобальной альтернативой капиталистическому развитию [Липкин, 2019. С. 76], но в то же время видит ряд серьёзных проблем, затруднявших социалистическую интеграцию, признавая, что СЭВ так и не смог реализоваться как потенциальная альтернатива [Липкин, 2019. С. 174].

Самым интересным наблюдением Липкина стал сделанный на основе целого ряда фактов вывод о том, что СССР был не способен навязывать другим странам СЭВ какую-либо стратегическую линию в проведении экономической политики. Взаимодействуя с этими странами в рамках СЭВ, он постоянно сталкивался с их нежеланием поступаться своим суверенитетом и постоянно вынужден был идти на уступки и компромиссы [Липкин, 2019. С. 171]. С точки зрения Липкина, это было свидетельством внутренней демократичности СЭВ, в том числе в сравнении со значительно более жёстким ЕЭС. Но эта демократичность фактически становилась препятствием для экономической интеграции.

Хуже того, СЭВ в некоторых случаях становился не инструментом облегчения экономической интеграции, а препятствием на её пути. Необходимость единогласного одобрения проектов всеми членами СЭВ давала инструмент в руки стран, желающих затормозить его деятельность. Такие страны опасались, что усиление влияния СССР приведёт к тому, что он начнет диктовать им свою волю вопреки их экономическим интересам. Особенно это было характерно для политики Румынии при Н. Чаушеску. Причины такой позиции румынского руководства были как экономически, так и политически обусловленными. Чаушеску хотел получать как можно больше экономической помощи от СЭВ для развития своей страны, не беря при этом на себя никаких обязательств [Гладышева, Липкин, 2019. С. 151]. Одновременно он хотел сохранить доступ к западным инвестициям и технологиям. Поэтому он опасался, что интеграция в рамках СЭВ приведет к прямому взаимодействию по экономическим вопросам между СЭВ и ЕС. Наконец, румынский лидер хотел, как минимум, сохранить для себя возможность играть на противоречиях в условиях конфликта СССР и Китая, а, возможно, просто действовал в интересах последнего [Гладышева, Липкин, С. 182]. В любом случае, его позиция оказалась для судьбы СЭВ роковой, потенциальная возможность перехода к экономической интеграции между социалистическими странами была упущена.

СССР вынужден был пытаться продвигать в отношениях СЭВ так называемый «принцип взаимной заинтересованности», предполагавший возможность реализации в рамках СЭВ отдельных проектов без учёта мнения не желающих участвовать в них стран. Только в 1979 г. СССР удалось преодолеть сопротивление внутри СЭВ и утвердить этот новый принцип в уставе СЭВ [Липкин, 2019. С. 174]. Другой острой проблемой было отсутствие объективной оценки стоимости товаров, продаваемых членами СЭВ друг другу, что порождало многочисленные споры и тормозило специализацию. В конце концов было решено ориентироваться на ценовые пропорции, существующие в развитых капиталистических странах, что само по себе ставило под сомнение самостоятельность СЭВ как экономической структуры.

Безусловно, в отдельные периоды те или иные страны СЭВ предпринимали шаги в сторону усиления экономической интеграции, поскольку понимали, что в рамках наци-

ональной экономики не могут более развиваться. Например, такие предложения неоднократно выдвигались Польшей и Венгрией в 1960-е гг. Но СССР по ряду причин, в том числе из-за вышеупомянутой специфики внутреннего устройства СЭВ, не мог в должной мере ответить на эти тенденции. В результате Польша в следующем десятилетии пошла по пути интеграции в мировой рынок, который первоначально был успешным, но в начале 1980-х гг. привел к глубокому экономическому кризису, подорвавшему стабильность режима и показавшему слабость всего восточноевропейского блока.

Будучи лидером СЭВ, СССР, как показывает Липкин, сам находился под действием принципа «ограниченного суверенитета» не в меньшей степени, чем другие страны СЭВ: «СССР был вынужден жертвовать не только своими ресурсами, но и отдавать часть своей самостоятельности ради глобального лидерства в экономической, идеологической и политической областях» [Липкин, 2019. С. 172]. Представляется, что влияние ситуации, сложившейся в СЭВ, на экономическое и политическое положение СССР следует ещё долго и внимательно изучать. Но пока представляется обоснованным вывод Липкина о том, что пока СЭВ оставался в восприятии политического и экономического руководства как жизнеспособная альтернативная интеграционная модель, которую можно распространить и на другие социалистические и даже развивающиеся страны, то организация имела шансы на успех. «Но как только эта вера стала иссякать, никакие цифры не были способны вернуть коллективный интерес к участию в ней» [Липкин, 2019. С. 173].

Если вслед за Липкиным рассматривать СЭВ как альтернативный проект социалистической глобализации, то неудача в реализации этой альтернативы означала, что СССР лишился экономических выгод, которые могла ему дать интеграция с обладавшими относительно развитой промышленностью восточноевропейскими странами. Эти упущенные выгоды могли бы быть большими, если бы к системе СЭВ удалось подключить более широкий круг стран, и серьёзная тенденция к такому расширению имела [Липкин, 2019. С. 130]. В последнем случае выгода включала бы в себя не только эффект от возрастания специализации и углубления кооперации, но и возможности преодоления дефицита рабочей силы за счет размещения в этих странах трудоёмких производств, и способ преодоления дефицита природных ресурсов. Неудача СЭВ как альтернативного проекта интеграции означала, что социалистическим странам, в том числе СССР, оставалось только ориентироваться на идущие в капиталистических странах интеграционные экономические процессы, что означало в конечном итоге подчинение их условиям.

Современные историки начинают уделять больше внимания влиянию на экономику социальной политики СССР. Социальная среда, в которой вели свою деятельность советские предприятия, несомненно, оказывала на них огромное влияние, и это влияние нуждается в подробном и вдумчивом изучении. Специфический характер этой среды делает это изучение крайне сложным, в том числе и потому, что оно упирается в вопрос о степени применимости к этой среде теоретических моделей, созданных для изучения других сообществ. В исследовании социальной политики СССР 1950–1970-х гг. Г.М. Ивановой делается вывод, что по отношению к ней можно использовать термин «государство всеобщего благосостояния». Этот термин указывает на модель, прилагаемую обычно к развитым западным странам второй половины XX в. Несомненно, СССР имел с ними сходство в том отношении, что «советское государство принимало на себя ответственность за обеспечение основных социальных потребностей граждан» [Иванова, 2010. С. 173], и это движение было вызвано усложнением общества, ростом разнообразных рисков. Но различий при более детальном изучении советской модели обнаруживается не меньше, чем сходства. По-видимому, Иванова в своём исследовании даже недооценила некоторые из них, особенно то, что социальная инфраструктура существовала во многом за счёт непосредственной поддержки со стороны предприятий. Важность этой проблемы подчеркивает финальный вывод Ивановой: «При весьма ограниченных возможностях советской эконо-

мики, низкой эффективности общественного производства, такая социальная политика, с одной стороны, могла обеспечить основной массе населения всего лишь очень скромный уровень социальной поддержки, а с другой стороны, являлась непосильной ношей для государства» [Иванова, 2010. С. 276].

Более глубоко эту проблему проанализировал историк левых взглядов М. Лебский в своем исследовании «Рабочий класс в СССР: жизнь в условиях промышленного патернализма». Свой анализ он начинает с того, как формировалась специфическая социальная среда вокруг советских предприятий. Характерное для СССР вовлечение хозяйственных единиц в создание и развитие социальной инфраструктуры, по мнению Лебского, объясняется как идеологическими, так и экономическими причинами, в первую очередь прагматическими соображениями бюрократии, стремящейся привязать рабочих к своим предприятиям, ограничив текучесть рабочей силы [Лебский, 2021. С. 56–57]. С другой стороны, шел процесс нарастания независимости бюрократии от центра, формирования внутри неё многочисленных групп влияния, способных противостоять центру. Система промышленного патернализма стала той сферой, где совпали интересы этих групп и разделённого на трудовые коллективы советского рабочего класса.

Система промышленного патернализма оказала огромное влияние на ход косыгинской реформы, поскольку предоставленные ею возможности вопреки декларируемым целям реформ предприятия использовали в первую очередь для наращивания вложений в собственную социальную инфраструктуру. Ресурсы, которые можно было использовать для вложения в потенциально прорывные отрасли экономики, расплылись, создавая множество объектов долгостроя [Лебский, 2021. С. 193]. Поскольку это угрожало дестабилизировать экономическую систему СССР, отступление от ключевых позиций реформ, в первую очередь, ограничение прав предприятий распоряжаться частью своей прибыли, было необходимо для предотвращения экономического краха. Похожая ситуация возникла впоследствии в период Перестройки. Но на этот раз не нашлось сил, способных затормозить реформу, и она погубила экономику СССР.

Социальные проблемы накладывались на изменения в идеологической сфере: переход от риторики решительной борьбы с капиталистической системой к концепции мирного соревнования двух систем за то, какая из них создаст лучшие условия для жизни людей. В этой борьбе СССР не мог выиграть, она ориентировала его на такой уровень индивидуального потребления, который угрожал экономике глубоким дисбалансом, но в то же время на практике терял способность добиваться реального роста материального благосостояния [Лебский, 2021. С. 208–209].

Более глубокие причины произошедшего Лебский видит в непонимании советским руководством различий между индивидуальными, групповыми и общественными интересами. Ориентируясь на коллективизм как одну из главных идеологических основ общества, оно не хотело учитывать, что групповые интересы, в том числе интересы трудовых коллективов, могут противостоять общественным [Лебский, 2021. С. 187]. Также его ошибкой были завышенные надежды и ожидания: ставилась задача строительства коммунистического общества, хотя реально так и не была завершена задача завершения индустриализации.

ЛИТЕРАТУРА

- Барсенков А.С. (2002). Введение в современную российскую историю 1985–1991 гг.: Курс лекций — М.: Аспект Пресс.
- Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. (2010). Перестройка и крах СССР. 1985–1993. — СПб.: Норма.
- Безбородов А.Б., Дробижева Л.М., Елисеева Н.В. и др. (2007). Отечественная история России новейшего времени. 1985–2005 гг. — М.: РГГУ.
- Бокарев Ю.П. (2007). СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970-е – 1980-е гг. — М.: Наука.
- Быстрова И.В. (2006). Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930–1980-е гг.). — М.: ИРИ РАН.
- Вдовин А.И. (2022). СССР. История великой державы (1922–1991 гг.). — М.: РГ-Пресс.
- Ермолов А.Ю. (2020). Взгляды современных зарубежных ученых на экономические проблемы позднего СССР (Ч. 1) // Вопросы теоретической экономики. №4. С. 126–140.
- Ермолов А.Ю. (2021). Взгляды современных зарубежных ученых на экономические проблемы позднего СССР (Ч.2) // Вопросы теоретической экономики. №1. С. 94–111.
- Иванова Г.М. (2010). На пороге «государства всеобщего благосостояния»: Социальная политика в СССР (середина 1950-х – начало 1970-х гг.). — М.: ИРИ РАН.
- Лебский М. (2021). Рабочий класс СССР: Жизнь в условиях промышленного патернализма. — М.: Издательство «Горизонталь».
- Липкин М.А. (2019). Совет Экономической Взаимопомощи: исторический опыт альтернативного глобального мироустройства. — М.: Весь мир.
- Липкин М.А., Гладышева А.С. (2019) Семеро против одного? Принятие комплексной программы социалистической экономической интеграции и «особая» позиция Румынии// «Мировая система социализма» и глобальная экономика в середине 1950-х — середине 1970-х годов / Отв. ред. М.А. Липкин. — М.: Весь мир. С. 148–182.
- Найшуль В. (1991). Высшая и последняя стадия социализма. Погружение в трясину. — М.: Прогресс.
- Симонов Н.С. (1996). Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е гг. — М.:РОССПЭН.
- Шубин А.В. (2001). От застоя к реформам. СССР в 1917–1985 гг. — М.: РОССПЭН.

Ермолов Арсений Юрьевич

fhctybq@mail.ru

Arseniy Ermolov

Ph.D. (History), Senior Researcher at the Institute of Economics, the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

fhctybq@mail.ru

**THE VIEWS OF MODERN RUSSIAN SCIENTISTS
ON THE ECONOMIC PROBLEMS OF THE LATE USSR**

Abstract. In this report, the author describes the views of modern Russian historians and economists on the economic problems of the late USSR. Like modern foreign researchers, Russian scientists have proposed a number of their own interpretations of the economic problems of the late USSR, which in some ways overlap, and in some ways contradict each other. All this is influenced by memories of their own involvement in the events of the past or by the trauma of the collapse of the USSR, or unexpected for many political and economic transformations, which has not been cured in Soviet generations. In the latter case, scientific works can serve not only the search for truth, but also self-justification. Many authors have a strongly expressed ideological position that clearly affects their research. Nevertheless, useful ideas can be found in every study. Their study helps to identify “cognitive structures” that form explanations of past events. The first part of the article examines the views of historians, primarily those who study the so-called «modern history».

Keywords: *Economic history of the USSR, collapse of the USSR, planned economy, socialism, market reforms, institutions, elites, bureaucracy.*

JEL: P2, P20, P21, P27, P3.

REFERENCES

- Barsenkov A.S. (2002). *Vvedeniye v sovremennuyu rossiyskiyu istoriyu 1985–1991 gg.: Kurs lektsiy* [Introduction to Modern Russian History 1985–1991: A Course of Lectures]. — M.: Aspekt Press. (In Russ.).
- Bezborodov A., Yeliseyeva N., Shestakov V. (2010). *Perestroyka i krakh SSSR. 1985–1993* [Perestroika and the collapse of the USSR. 1985–1993]. — SPb.: Norma. (In Russ.).
- Bezborodov A.B., Drobizheva L.M., Yeliseyeva N.V. i dr. (2007). *Otechestvennaya istoriya Rossii noveyshego vremeni 1985–2005 gg.* [The domestic history of Russia of modern times. 1985–2005]. — M.: RGGU. (In Russ.).
- Bokarev Yu.P. (2007). *SSSR i stanovleniye postindustrial'nogo obshchestva na Zapade, 1970–1980-ye gg.* [The USSR and the formation of post-industrial society in the West, 1970–1980s]. — M.: Nauka. (In Russ.).
- Bystrova I.V. (2006). *Sovetskiy voyenno-promyshlennyy kompleks: problemy stanovleniya i razvitiya (1930–1980-ye gg.)* [The Soviet Military-industrial complex: Problems of formation and development (1930–1980s)]. — M.: IRI RAN. (In Russ.).
- Ivanova G.M. (2010). *Na poroge «gosudarstva vseobshchego blagosostoyaniya»: Sotsial'naya politika v SSSR (seredina 1950-kh — nachalo 1970-kh gg.)* [On the threshold of the «welfare state»: Social policy in the USSR (mid-1950s — early 1970s)]. — M.: IRI RAN. (In Russ.).
- Lebskiy M. (2021). *Rabochiy klass SSSR: Zhizn' v usloviyakh promyshlennogo paternalizma* [The Working class of the USSR: Life in the conditions of industrial paternalism]. — M.: Izdatel'stvo «Gorizontal'». (In Russ.).
- Lipkin M.A. (2019). *Sovet Ekonomicheskoy Vzaimopomoshchi: istoricheskiy opyt al'ternativnogo global'nogo miroustroystva* [The Council of Mutual Economic Assistance: the historical experience of an alternative global world order]. — M.: Ves' mir. (In Russ.).
- Lipkin M.A., Gladysheva A.S. (2019) *Semero protiv odnogo? Prinyatiye kompleksnoy programmy sotsialisticheskoy ekonomicheskoy integratsii i «osobaya» pozitsiya Rumynii* [Seven against one? The adoption of a comprehensive program of socialist economic integration and Romania's «special» position] // «Mirovaya sistema sotsializma» i global'naya ekonomika v seredine 1950-kh – seredine 1970-kh gg. / Otv. red. M.A. Lipkin [The World System of Socialism and the Global Economy in the Mid-1950s — Mid-1970s / Ed. M.A.Lipkin]. — M.: Ves' mir. Pp. 148-182. (In Russ.).
- Nayshul' V. (1991). *Vysshaya i poslednyaya stadiya sotsializma. Pogruzheniye v tryasinu* [The highest and last stage of socialism. Immersion in the quagmire]. — M.: Progress. (In Russ.).
- Simonov N.S. (1996). *Voyenno-promyshlennyy kompleks SSSR v 1920–1950-ye gg.* [The military-industrial complex of the USSR in the 1920–1950s.]. — M.: ROSSPEN. (In Russ.).
- Shubin A.V. (2001). *Ot zastoya k reformam. SSSR v 1917–1985 gg.* [From stagnation to reform. USSR in 1917–1985]. — M.: ROSSPEN. (In Russ.).
- Vdovin A.I. (2022). *SSSR. Istoriya velikoy derzhavy (1922–1991 gg.)* [USSR. The History of the Great Power (1922–1991)]. — M.: RG-Press. (In Russ.).
- Yermolov A.Yu. (2020). *Vzglyady sovremennykh zarubezhnykh uchenykh na ekonomicheskiye problemy pozdnego SSSR (Ch. 1)* [Views of modern foreign scientists on the economic problems of the late USSR. Part 1] // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. No. 4. Pp. 126–140. (In Russ.).
- Yermolov A.Yu. (2021). *Vzglyady sovremennykh zarubezhnykh uchenykh na ekonomicheskiye problemy pozdnego SSSR (Ch. 2)* [Views of modern foreign scientists on the economic problems of the late USSR, Part 2] // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. No. 1. Pp. 94–111. (In Russ.).

Н.М. Плискевич

старший научный сотрудник, Институт экономики РАН (Москва)

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО В ГОДЫ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (о книге «Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя»)¹

Аннотация. В статье анализируется содержание коллективной монографии международной Экспертной группы «Европейский диалог», в которой представлены итоги реализации проекта «Тридцать лет постсоветской Европы». Акцентируется внимание на трех главных темах этого проекта: этапы постсоциалистической трансформации и её осмысления; эволюция трактовок постсоциалистического транзита и его новые версии; человек в эпоху постсоциалистической трансформации. Показано, что постсоциалистический транзит не закончен, и всем странам предстоит ещё долгий путь. Но траектория этого пути у всех различна.

Ключевые слова: *постсоциалистическая трансформация, этапы постсоциалистической трансформации, тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, эволюция исследовательских подходов, человеческий потенциал, человеческий капитал, советский человек, постсоветский человек, эволюция ценностных предпочтений.*

JEL: A10, A12, A13, B15.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_155_171.

Три десятилетия прошли со времен серии постсоциалистических революций, охвативших сначала страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а затем и республики Советского Союза, в результате ставших самостоятельными государствами. История этих десятилетий продемонстрировала и глобальную значимость тех событий, и разнообразие путей трансформации, выбранных каждым из государств, и различие в их результатах. Всё это дает учёным огромный материал для исследования, сопоставимый разве что с данными о трансформационных процессах времен крушения колониальных империй. Поэтому не удивительно обилие публикаций, в которых современная реальность разных постсоциалистических стран рассматривается как естественный результат пройденного ими пути, тех достижений и ошибок, совершенных на разных этапах преобразований и обусловивших особенности той точки развития, в которой они оказались сегодня. В то же время это позволяет выявить и общие закономерности демонтажа коммунистической системы, и сделать некоторые прогнозы дальнейшего развития постсоциалистических государств.

В этом обилии литературы выделяется работа коллектива Экспертной группы «Европейский диалог» над проектом «Тридцать лет постсоветской Европы». Результаты исследований были представлены в 2019 г. на двух международных конференциях в Юрмале

¹ Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя. (2021) / Под ред. К. Рогова. — М.: Новое литературное обозрение.

(Латвия) и Москве. Материалы ряда сделанных на них докладов легли в основу глав коллективной монографии «Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя» [Демонтаж..., 2021]². Представленный в книге текст интересен не только как концептуальное представление позиций авторов (причем позиций разных), но и как качественный обзор разных точек зрения, накопленных в мировых исследованиях постсоциалистической трансформации. Благодаря такому подходу читатель получает структурированную картину трансформационного процесса в разных странах с её периодизацией, а также выделением этапов его теоретического осмысления. Такой объёмный подход даёт возможность показать, что сложности этого процесса не позволяют даже тем странам, которые достигли успеха на первом этапе преобразований, в дальнейшем избежать тех проблем, которые сначала казались легко разрешимыми.

Такой подход к анализу прошедшего тридцатилетия диктует важность для всех исследователей, равно как и для авторов данной книги, осмысления имеющегося опыта, особенно его негативных черт. В частности, это чётко выразил Г. Сатаров (Фонд ИНДЭМ, Москва): «...негативный опыт традиционно влечёт отрицание и замену. Последняя стандартно не более обоснована, чем то, что было до неё и привело к отрицательному результату... богатый отрицательный опыт требует вдумчивого анализа и не менее вдумчивых выводов. Выводов не о замене, а о следствиях» (Сатаров. С. 114). Исследователю не стоит ограничиваться линейной динамикой хода событий, а помещать их в нелинейности, в тот хаос, который в той или иной степени присущ социальным порядкам. А потому «надо уметь задавать социальной природе нестандартные вопросы и не искать единственно правильного ответа» (Сатаров. С. 114–115).

На такую ущербность и в реформаторской практике, и в теоретических построениях, особенно характерную для периода начала реформ, указывает и А. Мельвиль (НИУ ВШЭ, Москва), отмечающий веру в то, что выбор правильного «институционального дизайна» — важнейший фактор успеха реформ. В целом тогда логику глобального развития реформаторы воспринимали «в своего рода “линейной перспективе” — как однозначно ведущую от авторитаризма к всеобщей демократии» (Мельвиль. С. 67). Для современных исследователей, отмечает К. Рогов (Фонд «Либеральная миссия», Москва), важно при анализе всего хода постсоциалистических трансформаций «увидеть те блокирующие механизмы, которые срабатывают в различных сценариях транзита, и те напряжения и дисбалансы, которые, по всей видимости, будут определять политическую динамику постсоциалистических стран в следующем десятилетии» (Рогов. С. 43).

Этапы трансформации и её осмысления

Опыт прошедших трёх десятков лет позволил переосмыслить причины и успехов, и неудач пройденного пути, равно как и недостатки работ транзитологов конца XX — начала XXI вв. Этот опыт обобщён и авторами монографии. Выработанный ими принцип анализа постсоциалистических трансформационных процессов предполагает многообразие вариантов преобразований, обусловленных самыми разными факторами, — от географических, природных, исторических до непосредственного наследия времен «социалистического строительства» (и длительности этого процесса, и оставленного им институционального, структурного, социокультурного и иного наследия). Это многообразие требует поиска разных вариантов путей развития. Причём не надо бояться естественного многообразия вариантов социальных связей, возникающих в ходе этого

² Далее цитаты из этой книги даются в круглых скобках с указанием страниц и авторов цитируемого текста.

поиска, пусть и создающих некоторые элементы хаоса, в преодолении которого и создаются новые инструменты развития³.

Однако на первых этапах, ещё предшествующих процессам трансформации, сама жёсткость структуры социалистической системы безальтернативно толкала к противоположному полюсу социального развития, пример которого предлагал успешный либерально-демократический Запад. При этом игнорировалось, что к тому состоянию, которого он достиг к концу XX в., Запад шёл не одно десятилетие и даже столетие. Казалось, что выгоды «догоняющего развития» помогут в короткий срок решить все проблемы. Не случайно И. Крастев (Центр либеральных исследований, София) вспоминает вышедший в 1988 г. в СССР сборник «Иного не дано» как «своего рода библию перестроечного реформизма, утверждавшую... идею об отсутствии жизнеспособных альтернатив западной рыночной демократии» (Крастев. С. 48). Но сама мысль о том, что «иного не дано», считает Крастев, породила волны популизма, которые, зародившись в постсоциалистических странах, ныне покрывают большую часть мира⁴. Несмотря на это, не надо бояться естественного многообразия социальных связей, возникающих в ходе такого поиска. Пусть они и создают некоторые элементы хаоса, в преодолении которого и рождаются новые инструменты развития. По мнению Крастева, именно «отсутствие альтернатив, а не гравитационное приближение авторитарного прошлого или исторически укоренившаяся враждебность к либерализму лучше всего объясняет антизападные настроения, преимущественно доминирующие сегодня в посткоммунистических обществах» (Крастев. С. 48).

Но такой объективно обусловленный предреформенной ситуацией настрой обусловил основные черты *первого этапа* постсоциалистической трансформации с его оптимизмом и верой в демократические и рыночные реформы как действенный инструмент социальной реконструкции. Следствием упрощённой веры линейного мышления в безальтернативность избранного в начале 1990-х гг. пути стало разочарование в достигнутых результатах и большинства населения, и политиков, и исследователей идущих процессов. Несмотря на то, что последствия трансформационного спада остались позади, начался экономический рост и улучшение связанного с ним социально-экономического положения населения, выяснилось, что значительная часть выстроенных экономических и политических институтов не соответствует тем требованиям, которые предполагались при их создании. Уже на данном *втором этапе* произошло видимое разделение на те страны ЦВЕ, где были достигнуты наибольшие успехи в продвижении к западным моделям, и те, где незначительность успехов всё более стала «компенсироваться» ростом ограничений в политической и экономической жизни и стремлением к «стабилизации» ситуации. Причём в пользу

³ Нельзя не обратить внимание на то, что такое восприятие хаоса, как естественно присущей сложной системе черты, ведет к выводу не о необходимости избавления от него с помощью жёстких вертикально ориентированных регуляторов, не способных учесть всего многообразия социальных процессов, а об анализе этого многообразия как фактора дальнейшего развития системы. Об этом, в частности, писали Л.П. и Р.Н. Евстигнеевы, видящие закономерность присутствия элементов хаоса в ходе эндогенной эволюции на принципах рыночной самоорганизации. Учитывая достижения физики, они видели в хаосе стимулы экономического роста: «... физика даёт нам, во-первых, подсказку, как справиться с нормативным включением хаоса в режим экономического роста. И, во-вторых, экономисты получают теоретическую базу для перехода от исследования одномерных фигур... к анализу сложных многоуровневых рыночных отношений и структур» [Евстигнеева, Евстигнеев, 2016. С. 195]. Такой подход к анализу социальной реальности актуален для представителей всех общественных наук, особенно при изучении трансформационных процессов, которым, по определению, присущи подвижность, многообразие действий не только макро-, но и микросубъектов изменчивых процессов. Все они находятся в постоянном поиске места в них для себя. Самоорганизующиеся горизонтальные связи, по сути, и являются инструментом такого поиска.

⁴ Крастев полагает, что рост влияния в современном западном мире авторитарного антилиберализма обусловил именно ресентимент по поводу капиталистического статуса либеральной демократии и политики имитации. Это проявляется не только в постсоциалистических странах, но и в США. Тут следует изучать и историю либерализма, который отказался «от плюрализма во имя человечности» (Крастев. С. 50).

тех, кто как раз из данного, промежуточного, этапа реформ мог извлечь наибольшую выгоду (см., например, [Hellman, 1998]).

Этот этап К. Рогов предложил называть «нормативистским» (Рогов. С. 11). Акцент в исследованиях он делает на проблемах осмысления того, почему одни страны достигли успеха, а другие — нет, где были совершены ошибки, и что отставшие общества не смогли преодолеть. В то же время население даже достигших наибольших успехов стран было разочаровано. Об этом разочаровании пишут многие авторы книги, связывая его не только со сложностями этапа перехода, но и с упрощённым представлением как о трудностях переходного периода, так и о западном обществе как «идеале». Для широких масс это было прежде всего общество потребления в противовес социалистическому обществу дефицита. Так как авторы монографии опираются прежде всего на англоязычную литературу и ее данные (включая сюда и работы отечественных авторов, входящие в нее), добавлю, что такая точка зрения давно присутствует и в русскоязычных работах. Так, В. Ильин, анализируя данные процессы, отмечал: «Мотором антикоммунистических революций явилось массовое стремление к модернизации, формулируемое различными слоями населения как желание жить... как на Западе». Причём для одних это «были стандарты жизни правящей западноевропейской элиты, для других — уровень пособий по бедности, старости, безработице и т.д.» [Шкаратан, Ильин, 2006. С. 263].

Третий этап постсоциалистического развития и его осмысления авторы монографии связывают с 2010-ми гг. Общую картину обуславливало исчерпание возможностей восстановительного роста и связанного с ним роста уровня жизни, кризисными явлениями, вытекающими из проблем с мировой экономической конъюнктурой, процессами глобализации. В результате средние темпы роста в ЦВЕ и постсоветских странах упали с 5,7 до 2,6% (Рогов. С. 11). В новых условиях даже в тех странах, которым удалось в наибольшей степени осуществить институциональную интеграцию с западноевропейским миром, население всё более стало ощущать себя периферией Европы. Просматриваются тренды пусть и частичного отказа от либеральной демократии (Венгрия, Польша) и даже глубокой фрустрации и ресентимента (Болгария, страны Балтии, Восточная Германия), так как уровень жизни здесь остаётся существенно ниже, чем в Западной Европе. Одновременно страны, которые на предыдущих этапах представляли в качестве отстающих, критиковались за «ошибки» в ходе реформ, стали позиционировать себя как осуществляющих вполне состоятельную «альтернативную модель», противостоящую «неолиберальным рецептам» Запада. Это может быть трактовано как возрождение через 30 лет конкуренции моделей социально-политического развития. Хотя «на повестке дня теперь это “соревнование” не между социализмом и капитализмом, а между либеральным капитализмом и капитализмом не- и даже антилиберальным» (Рогов. С. 12). При этом приводятся также цитаты из работ американских авторов, посещавших страны ЦВЕ и перед началом реформ, и в 2010-х гг., таких как Д. Феффер. Он, например, утверждает, что для нынешнего поколения восточноевропейцев «либерализм — это поверженный Бог». Причём вина за это возлагается прежде всего на Запад, история развития которого, в частности, — «это история про либерализм, отказавшийся от плюрализма во имя гегемонии» (Крастев. С. 50).

Выделенные три этапа проведения реформ, отношение к ним населения и анализ идущих процессов учёными четко очерчены в предисловии к книге К.Роговым (Рогов. С. 9–12). Подробный анализ эволюции хода реформ в разных странах особо ярко дан в первой части монографии, названной «Драма ожиданий: деконструкция пессимизма». Причём, если одни авторы акцентировали внимание на процессах реформ и изменениях отношения к ним населения, то другие — на эволюции исследовательских предпочтений, типологии анализа их траекторий. К первым можно отнести работу И. Крастева, особо выделяющего такой индикатор массовости разочарования в изменившихся социально-экономических порядках, как отток населения из восточноевропейских стран в страны Запада, в частности

то, что в 1989–2017 гг. Латвия потеряла 27% населения, Литва — 22,5, Болгария — почти 22,5, а 14% населения бывшей ГДР отправились в западногерманские земли в поисках работы. В период же кризиса 2008–2009 гг. мигрантов из восточно- в западноевропейские страны было больше, чем беженцев из Сирии (Крастев. С. 55). Роль депопуляции можно отнести к наименее изученным эффектам поворота в сторону от либерализма тех стран ЦВЕ, населению которых посткоммунистические изменения принесли весьма ощутимые выгоды.

Размышляя о причинах этого, Крастев особо отмечает роль «утопии нормальности», т.е. того линейного, одномерного представления о многообразных связях, на которых десятилетиями строились формальные западные институты. Поэтому даже удачная трансплантация последних во многих странах оборачивалась имитацией процесса, ибо игнорировала его целостность во всей сложности. Поэтому сама промежуточность в становлении института как неизбежное следствие длительности процесса оборачивается восприятием этой промежуточной фазы как имитационной. При этом дополнительные основания такому толкованию дают действия проводящих реформы либо тормозящих их. К тому же нельзя не добавить, что потеря институтов социальной защиты, действовавших в условиях социализма, особо чувствительная в первые годы трансформации, не была замещена адекватной системой институтов западного образца (и при том уровне развития не могла быть замещена). Не говоря и о развивающихся параллельно процессах передела собственности, роста неравенства и т.п. Отсюда — естественное отторжение имитации во имя нормальности, усугубляемое усилением на Западе процессов антилиберальной направленности. Но если под «нормальностью» понимается тот идеал, который виделся в начале реформ, то не удивительно, что бывшие диссиденты типа В. Орбана или братьев Качиньских становятся на контрреформаторский путь. Причём Крастев идет дальше и подчеркивает: «... именно таким образом вестернизаторская революция способна спровоцировать антизападную контрреволюцию, вызывающую ошеломление и замешательство на самом Западе» (Крастев. С. 64).

Г. Сатаров особо подчеркивает важность в процессе реформирования не конструирования, а *выращивания* институтов. Последнее предполагает вовлечение в этот процесс широких слоев общества с его горизонтальными связями, особо необходимых в ситуации развития рыночных и демократических институтов. Однако чем дальше, тем больше трудности формирования горизонтальных связей провоцировали переключение на привычные вертикальные связи. Символом этого процесса в России стала пресловутая «вертикаль власти», разрастание монопольных тенденций как в политике, так и в экономике, дополненная усилением централизации. Данные тенденции вели к упрощению той сложности, каковой является сама социальность. И следствием такой политики вместо медленного налаживания множества необходимых горизонтальных связей, пересекающихся в разных конфигурациях, приоритет отдаётся простым решениям. В результате стали полагать, что «для достижения цели часто важнее понимать КАК делать, а не ЧТО делать». Сегодня, считает Сатаров, у нас есть «один ресурс, который столь же важен, сколь и пренебрегаем. Это наш социальный опыт, политический опыт, особенно когда речь идёт о негативном опыте» (Сатаров. С. 114). Он требует вдумчивого анализа и продуманных выводов.

Важный материал для такого анализа дает опыт реформирования советского пространства. Здесь, с одной стороны, эти процессы объективно были наиболее сложными вследствие особой длительности существования социалистического режима, а потому и с наиболее тяжелыми проблемами и в социокультурной, и в социально-экономической сферах, а также в сфере собственно экономической, обусловленной структурными деформациями, вытекающими из перегрузки экономики задачами обеспечения оборонного потенциала для всего «социалистического лагеря». С другой стороны, если во многих странах ЦВЕ к середине 1980-х гг. уже созрело убеждение, что реформы по рецептам, предложенным в 1960-х гг., не дадут результатов, то новые руководители СССР, пришедшие

к власти в середине 1980-х гг., ещё жили этими иллюзиями. Это демонстрирует в своей главе Д. Травин (Центр исследований модернизации. Европейский университет. Санкт-Петербург). Он начинает, по сути, с интеллектуальной неподготовленности М.С. Горбачева и «прорабов перестройки» к тем преобразованиям, которые были начаты. Во-первых, все они, будучи «шестидесятниками», начинали с выношенных ещё в годы молодости идей и руководствовались не знанием фактов, а лишь добрыми пожеланиями. И только с нарастанием кризиса они «вынуждены были экстренно трансформировать свои взгляды, причём каждый исходил из личного опыта и набора случайно полученных по ходу трансформации слухов, страхов, эмоций» (Травин. С. 369). Во-вторых, среди представителей партийной верхушки не было профессиональных экономистов, способных представить себе всю сложность преобразований. Практически не было их и собственно в среде экономистов. Даже наиболее продвинутые из них думали тогда лишь над возможностями «улучшения социализма». Не удивительно, что к условиям перемен не были готовы ни «красные директора», ни «красные профессора» (Травин. С. 370).

В-третьих, руководители страны были, «по всей вероятности, психологически не готовы к тем масштабам перемен, которые реально требовались Советскому Союзу» (Травин. С. 370). С их точки зрения, была необходима лишь корректировка имеющихся порядков, без коренной трансформации. Однако, запустив процесс действительно необходимых преобразований, они очень скоро оказались в ситуации, когда каждый небольшой «корректирующий» шаг ведет к лавинно нарастающим последствиям, с которыми невозможно справиться привычными средствами.

Травин показывает этот путь и последовательное разрушение встроенных в советскую модель ограничителей, крушение идеологических конструкций и «реального социализма», и «социализма с человеческим лицом», и «рыночного социализма», и попыток поправить положение с помощью методов авторитарной модернизации. В результате перестройка «вывела Советский Союз из того равновесия, которое было всё же довольно устойчиво», высвободила те политические силы, которые захотели осуществить реальные перемены. «Она создала такое неравновесное состояние экономики, из которого очень сложно оказалось вернуться в зарегулированное административное прошлое и легче стало переходить к настоящей рыночной экономике» (Травин. С. 388).

Если темой анализа Д. Травина являются действия по реформированию «сверху», то К. Рогов сделал предметом своего исследования действия массовых слоев населения, воспользовавшихся возможностями, открывшимися в политической сфере. Для этого он обращается к проводимым в 1980–1990-х гг. зарубежным исследованиям типологии обществ разных союзных республик по принципу степени сформированности в них слабых и сильных коалиций, ориентированных в сторону либо демократизации режима, либо укрепления в нем авторитарных тенденций. Это проявлялось уже в ходе республиканских выборов 1990 г.

Такая типизация и анализ последующих событий вплоть до 2010-х гг. позволяет сделать вывод, что «базовое распределение сил, проявившее себя в исходе выборов 1990 года, достаточно надёжно предсказывает тип политического режима в той или иной республике вплоть до сегодняшнего дня» (Рогов. С. 193–194). То есть «фундаментальные характеристики соответствующих политий формировались не *после*, а *до* этого события и гораздо раньше, чем эти республики превратились в независимые государства» (Рогов. С. 197–198).

В частности, Рогов отмечает различие социальных укладов в разных республиках и полагает, что «по мере снижения уровня насилия в советской системе постсталинского периода роль унифицирующих советских институтов ослабевала, а фактическое различие социальных укладов соответственно возрастало» (Рогов. С. 199). Поэтому «за общим “советским фасадом” формировались достаточно различные типы региональной политической власти, и состав элит, сетей доверия, социальных иерархий и социальных лифтов,

норм взаимодействия, бытовых стандартов» (Рогов. С. 201). Отсюда и разные типы массовой мобилизации в разных республиках, и силы элитной сецессии, при которой республиканские элиты перехватывали у центральной власти контроль над местными ресурсами в сочетании с блокированием возможностей местной оппозиции. Причём внутри массовой мобилизации сил, противостоящих уходящему «коммунизму», в разных республиках складывались разные по силе оппозиционные слои либерально-демократического и вестернизационного, с одной стороны, и националистического типа — с другой. Сочетание и относительная сила этих компонентов и предопределила дальнейшие пути бывших советских республик.

Естественно, Рогов уделяет внимание особенностям эволюции разных типов мобилизации в истории России. Тем более, что наличие в ней уже в самом начале перестроечных процессов слабых коалиций и незавершенности распределения сил обусловило дальнейшую их эволюцию от типа режима, характеризующегося как конкурентная олигархия, к консолидированию режима персоналистского авторитаризма. Рогов выделяет уже в начале 1990-х гг. расслоение России на Россию крупных городов и периферии, что и сегодня отражается в электоральном профиле страны⁵. По его мнению, первоначально массовая мобилизация в России состоялась именно тогда. «Более того, она носила преимущественно гражданско-демократический характер, отчасти близкий к прибалтийскому» (Рогов. С. 217). Но затем отмеченная выше слабость коалиций в сочетании с глубоким переходным экономическим кризисом сыграли свою роль. При этом Рогов в отличие от многих исследователей, трактуя события осени 1993 г. как кризис демократии в России, полагает, что эти и последующие события укладываются в общие сценарии «кризиса перехода», возникающие «в результате распада слабой “учредительной” коалиции, сформировавшейся в периоде становления республиканской политики в рамках СССР» (Рогов. С. 224). Развитие этих процессов вело к тому, что повестка «порядка» всё более актуализировалась, замещая повестку «реформ».

В целом анализ прошедшего тридцатилетия, исходящий из того, что устремления и активных, и массовых акторов политической борьбы в разных республиках к ее началу были сформированы в предшествующие годы, подводит Рогова к следующему выводу. Последующие циклы борьбы вокруг электоральных манипуляций и их исход «с высокой степенью вероятности будут формировать новые долгосрочные ожидания населения и элит относительно электоральных процедур и понимание их места в жизни данной политики, как это произошло с выборами 1990 года» (Рогов. С. 231).

Д. Трейсман (Университет Калифорнии, Лос-Анджелес) сконцентрировал внимание на трансформационных процессах в странах ЦВЕ. С его точки зрения, «драма ожиданий» населения этих стран, где среднедушевой ВВП в предреформенные годы колебался в пределах 0,4–0,5 уровня ВВП западноевропейских стран, была связана отнюдь не с провалом реформ (по многим важным макроэкономическим показателям к началу 2000-х гг. они приблизились к общемировым). Но для того, чтобы достичь уровня жизни Западной Европы, им «потребовался бы не просто рост, а беспрецедентный в экономической истории скачок» (Трейсман. С. 158). Отсюда разочарование результатами тридцати лет транзита, вылившееся, в частности, в смену политических предпочтений большинства населения, рост популистских настроений и достаточно устойчивую победу таких лидеров, как Орбан или Качиньские, о чём пишут и другие авторы книги.

⁵ Ср. выделение четырёх России, данное в начале 2010-х гг. Н.В. Зубаревич. Это Россия городов-миллионников; Россия городов с населением от 20–50 до 250–500 тыс. человек; Россия сельских поселений и посёлков городского типа; Россия слабо развитых национальных республик [Зубаревич, 2012].

А. Рябов (ИМЭМО РАН, Москва) в центр своего исследования поставил особенности развития трансформационных процессов на постсоветском пространстве⁶. Как и Трейсман, Рябов отмечает фактор «надежды на чудо» и у масс, и у лидеров реформирования, сменившейся разочарованием, ростом патерналистских настроений, запросом на лидеров, способных «позаботиться о простых людях», прежде всего на «крепких хозяйственников» (Рябов. С. 174). Это стало основой поворота массовых настроений в бывших союзных республиках в сторону государственного патернализма и жёсткого регулирования экономики. Аналогичные процессы стали позже проявляться и в ряде стран ЦВЕ. Хотя Рябов полагает, что пока трудно сказать, идёт ли в данном случае речь о «неожиданно проявившемся феноменологическом сходстве некоторых тенденций внутриполитического развития в регионах с различными типами трансформации» (Рябов. С. 184). Нужен дальнейший анализ развития авторитарных тенденций в каждой из стран, учитывающий и фактор устойчивости подобного рода режимов. В целом же Рябов подчёркивает явные тенденции к развитию патронажно-клиентских отношений не только на постсоветском пространстве, но и в некоторых странах ЦВЕ. Хотя там «их влияние на политику и устойчивость всё же ограничивается как институтом свободных выборов, так и внешним давлением со стороны Европейского союза» (Рябов. С. 187).

С точки зрения Рябова, фундаментальным фактором, обуславливающим склонность к авторитаризму и его устойчивость, является институт власти-собственности, особо проявляющийся на постсоветском пространстве. Однако, если по отношению к российской специфике он изучается давно, то в том, что касается других постсоветских стран, исследований практически нет (Рябов. С. 188). Но как раз соединение власти и собственности — основа сужения пространства для конкуренции и в политике, и в экономике. Оно создает предпосылки для формирования рентной модели капитализма.

Эволюция в трактовках постсоциалистического транзита

Монография интересна и тем, что в ней прослеживаются не только события тридцатилетия, оцениваются особенности и общие тенденции разных их этапов. Не меньший интерес представляет эволюция исследовательских тенденций, сопровождавших эти события, отражавших их. Причём для отечественного читателя представляет особый интерес включение в такой сопоставительный анализ работ зарубежных учёных, рассматривавших процессы в странах ЦВЕ и на постсоветском пространстве, а также предложение новых концепций, объясняющих специфику развития этих процессов за 30 лет.

А. Мельвиль строит свою главу как анализ пяти несбывшихся политических и теоретических ожиданий, зародившихся в начале постсоциалистической трансформации, выделяя для них отдельные разделы. *Первый* из этих разделов он назвал «Демократия без предпосылок», отмечая двойственность желаний общества в этот период — одновременно и стабильности, и перемен. При этом в ортодоксальных теориях того времени развиваются идеи, что демократии возникают и приживаются и там, где с точки зрения теории для них нет объективных предпосылок. Но в то же время в научный оборот входят концепции, согласно которым благоприятные «структурные» условия не гарантируют демократизации общества и не препятствуют авторитарному откату. Особо выделяется ситуация развития

⁶ Сама структура СССР как объединения национальных республик выдвигает в центр анализа этнические проблемы. Это очень сложная и тонкая тема, требующая особого рассмотрения. Поэтому я вынуждена оставить её за рамками данной статьи, хотя темы национализма широко представлены в книге не только как дополнительные сюжеты в разных главах, но и как специальный предмет анализа у Г.Хейла (Университет Джорджа Вашингтона, Вашингтон) и Н. Митрохина (Центр восточноевропейских исследований, Берлин).

процессов в условиях «слабого государства» и политической неустойчивости. Эта теоретическая проблема, которую можно охарактеризовать как конструирование «демократии без предпосылок», и сегодня остаётся нерешённой (Мельвиль. С. 68–72).

Вторым разочарованием исследователей стало поколебленное представление, господствовавшее ранее, что в современных обществах экономическое и социальное, связанное с формированием среднего класса, естественно приводит «к политической демократии и её институтам, отражающим рост требований участия и представительства» (Мельвиль. С. 72). Оказалось, что развитие, опирающееся на перераспределение рентных доходов, создаёт и специфические слои «среднего класса», не иницилирующего массовый демократический запрос, а вполне удовлетворяющееся вписыванием в цепочки государственного перераспределения. Прежде всего это проявилось в ходе развития постсоветских государств, особенно России. При этом наступило разочарование и в возможностях авторитарной модернизации, и в «системном либерализме» в условиях электорального авторитаризма. Мельвиль делает вывод, что сложившаяся ситуация ставит сегодня перед всем российским либерализмом (и «системным», и «несистемным») пока не решённую дилемму, требующую «концептуальной и программной “перезагрузки”». Важным направлением исследований... мог бы... стать обстоятельный сравнительный анализ ограничителей посткоммунистического развития и современных реально существующих моделей авторитарного капитализма» (Мельвиль. С. 75–76).

В качестве *третьей* несбывшейся надежды Мельвиль называет надежду на имплантацию в ткань постсоциалистических стран «правильных» институтов из развитых стран. Эта тема достаточно широко представлена в современной литературе — и экономической, и политологической. Отмечу лишь замечание Мельвиля о том, что такая практика даже при её успешности не смогла «воспрепятствовать поднявшимся в последние годы волнам популизма, ксенофобии и “ползучего” авторитаризма. Фактически мы сталкиваемся сегодня с реабилитацией недемократических форм правления» (Мельвиль. С. 77).

Четвертой политической и теоретической дилеммой, так и остающейся нерешённой, Мельвиль называет дилемму соответствия демократических и рыночных преобразований: проводить их в той или иной последовательности или одновременно. Анализ разнообразных результатов постсоциалистического развития, подчеркивает Мельвиль, показывает особую важность в этом процессе государственной состоятельности, качества государственного управления, взаимоотношения государства с разными структурами гражданского общества. То есть общим трендом становится «возвращение государства» как аналитического фокуса» (Мельвиль. С. 82). Эмпирический анализ процессов в странах и ЦВЕ, и СНГ показывает: «...государственная состоятельность и общее качество институтов напрямую связаны со степенью демократичности политического режима» (Мельвиль. С.84). При этом возникает ряд концептуальных вопросов: «в чём польза “плохих институтов” для автократа, можно ли выйти из ловушки “bad governance” при сохранении недемократического правления, как низкое управленческое качество, в том числе коррупция и “приватизация” государства элитными группами, влияет на выживание и стабильность авторитаризма?» (Мельвиль. С. 84–85). При этом исследования показывают, что «высокие уровни государственной состоятельности — отнюдь не обязательное условие устойчивости авторитарного режима». Его стабильность зависит от иных факторов — распределения ренты, выполнения базовых социальных обязательств, кооптации потенциальной оппозиции, мобилизации общественной поддержки и т.д. (Мельвиль. С. 85).

Наконец, *пятой* несбывшейся надеждой начала преобразований Мельвиль называет надежду на крушение авторитаризма и переход к демократии. Опыт трёх десятилетий показал многообразие вариантов постсоциалистического транзита, что дало материал для новых исследований и дальнейшего развития типологии политических режимов. Хотя, отмечает Мельвиль, здесь кроется и исследовательская опасность для учёного — «стать

заложенным “прилагательных”, то есть умножать эпитеты, а не уточнять концепты» (Мельвиль. С. 87). Он выделяет ряд требующих серьёзного теоретического обоснования и эмпирической проверки концептов. Тут и всё более распространенные в литературе последнего десятилетия концепты и «электорального авторитаризма», и «конкурентного авторитаризма», и «неопатримониализма», и др. Особого внимания, с его точки зрения, требуют так называемые гибридные режимы. Если С. Хантингтон писал о таких режимах, как о неустойчивых, то опыт последних десятилетий говорит об их устойчивости и воспроизводимости (Мельвиль. С. 88).

Кроме того, возникла важная и относительно новая тема — «стабилизация и легитимация современного авторитаризма, в том числе в его “гибридных” формах» (Мельвиль. С. 89). Новизну Мельвиль видит тут, во-первых, в отношении к стабильности как к статике, к не-развитию, во-вторых, в отсутствии у автократа мотивов для реформ, угрожающих успешному извлечению ренты, в-третьих, достижению стабилизации за счёт ослабления формальных институтов, в-четвертых, в сочетании традиционных и новых приёмов легитимации вплоть до идеологической мобилизации «информационного авторитаризма» (Мельвиль. С. 89).

В целом же, завершая свой анализ, Мельвиль при всех постигших исследователей разочарованиях не находит те, ранние, идеи дискредитированными. Просто они переживают очередной кризис как естественную фазу развития в новых условиях глобального мира, принесших свои проблемы, новые тренды, а также рост общего состояния неопределённости, охватившего не только постсоциалистический, но и весь мир. С одной стороны, новые реалии порождают и рост регулирующей роли государства, разочарования в возможностях свободного рынка, необходимость новых подходов к демократическим процедурам в условиях ширящихся популистских тенденций. С другой стороны, мы не можем не видеть и примеров укрепления самоорганизации и самоограничения ради индивидуального и коллективного блага, понимания важности реформирования сложившегося status quo и преодоления порождённых им угроз для всеобщего выживания.

Свой анализ динамики постсоциалистических режимов и их интерпретаций предложил В. Гельман (Европейский университет, Санкт-Петербург. Университет Хельсинки, Хельсинки). Автор не согласен с доминирующим исследовательским подходом, акцентирующим внимание на причинах неудач постсоциалистических трансформаций, считая его контрпродуктивным: «Он подменяет ответ на вопрос о том, почему у России (и не только) не получилось встать на путь демократизации, либо утверждениями о том, что у этих стран ничего хорошего получиться в принципе не могло, либо инвективами в адрес Путина и многих других политиков» (Гельман. С. 116). В качестве альтернативы такому подходу Гельман предлагает концентрироваться «на анализе интересов и стимулов основных политических игроков и тех ограничений, с которыми они сталкиваются в политическом процессе» (Гельман. С. 117).

Большинство исследований о результатах постсоциалистических трансформаций Гельман характеризует как своего рода «фильм-нуар», но, с его точки зрения, «сложившийся пессимистический консенсус лишь отчасти отражает характер реально происходящих политических изменений», а также сместился «от “агентских” к “структурным” объяснениям этих изменений» (Гельман. С. 119). Такой подход не даёт ответа на многие вопросы, а потому предлагается в анализ траекторий постсоветских режимов добавить перспективу, ориентированную на акторов. Гельман представляет две модели трансформаций и анализирует «эффекты динамики структурных переменных, а также неожиданных последствий, к которым приводят намерения и решения политических акторов, которых не стоит, однако, считать всеисильными и полностью информированными стратегами» (Гельман. С. 122).

Свои модели Гельман обозначает как модель «повелителя мух» (по роману У. Голдинга) и модель «плюрализм по умолчанию». Действия в рамках первой модели естественны

для успешных политиков по концентрации своей власти при отсутствии эффективных ограничений. На всех развилках постсоветской истории России, когда перед политиками стоял выбор между демократизацией и сохранением власти, естественным был отказ от демократизации. Однако, если фрагментация элит не позволяет никому монополизировать власть, возможна реализация второй модели «плюрализма по умолчанию». Эта модель предполагает более сложные внутриэлитные взаимодействия, активизацию массовой поддержки, обращение за помощью к иностранным акторам и институтам. В таком случае утверждается электоральная демократия, но не как осознанный выбор элит и масс, а как следствие невозможности монополизации власти какой-то одной группировкой и удержания её всеми средствами, включая насилие. По сути, главной причиной различия между двумя моделями становятся способы разрешения конфликтов внутри элит. «Ключевой “агентской” переменной, предопределяющей такой результат, служила конфигурация элит в стране, в то время как массовые движения и “рычаги давления” международных демократических или антидемократических акторов в лучшем случае играли второстепенную роль» (Гельман. С. 127).

По Гельману, динамика всех постсоветских политических режимов вписывается в логику либо одной, либо другой из этих моделей. Из этого делаются выводы о сомнительности общепризнанного аргумента о ключевой роли уровня социально-экономического развития как необходимой предпосылки демократизации, а также о том, что «по многим параметрам постсоветские недемократические страны не были обречены (и по-прежнему не обречены) на установление персоналистских авторитарных режимов раз и навсегда» (Гельман. С. 129).

Смена акторов процесса может открыть возможность для перехода от одной модели к другой — к созданию новой «динамической модели» эволюции политических режимов в противовес современному «пессимистическому консенсусу». В такой анализ вовлекаются не только социально-экономические структурные факторы, но и факторы, связанные со спецификой важнейших акторов идущих процессов. И тогда эффекты разных «наследий прошлого», например насилия, «можно рассматривать не только в качестве причин расхождения траекторий эволюции политических режимов, но и как следствие политических шагов, предпринятых политическими игроками», причём и в сугубо тактических и даже в личных или корпоративных интересах (Гельман. С. 133).

Гельман призывает перейти с нормативной оптики на позитивистскую, воспринимать политиков просто как эгоистических конъюнктурщиков, в зависимости от обстоятельств, делающих выбор в пользу демократии или авторитаризма не по идейным соображениям, а в связи с конкретной калькуляцией в тот или иной период выгод и издержек от того или иного выбора. При этом, естественно, ими учитывается и «шлейф», оставленный предшествующей чередой выборов. На этом пути авторитарный лидер делает многие стратегические просчёты, но это всё же не даёт повода для его демонизации. И разумеется, для перехода к демократии, отказа от насилия. Само общество должно достичь определённого уровня зрелости, включая и уровень зрелости элит (вспомним «пороговые условия» для элит Д. Норта и его коллег [Норт, Уоллис, Вайнгайт, 2011. С. 76], а также тезис о важности «пороговых условий для общества» [Плискевич, 2013]). Важно, что анализ этого пути упирается не только в ограниченные прогностические возможности, но и в изменчивость условий в связи с действиями акторов этого процесса, образующих огромное количество неизвестных переменных. А эти переменные могут обрести решающее значение для понимания «траекторий» развития режимов. И огромную роль играет динамика массовой поддержки как лидера, так и потенциальных перемен. Причём уровень поддержки лидера может снизиться как раз тогда, когда появится возможность реального политического выбора: «Неизвестны и степень управляемости постсоветских государств, печально известных низким качеством государственного управления», как они «могут отреагиро-

вать на различные внешние шоки и повлияет ли эта реакция (а если да, то каким образом) на динамику политических режимов» (Гельман. С. 149–150). Осознание границ имеющегося уровня научного знания — «необходимый шаг к преодолению пессимистического консенсуса и началу поисков новых моделей динамики политических режимов» (Гельман. С. 150).

Разнообразие в развитии отдельных постсоциалистических стран и трактовки как успехов, так и провалов на этом пути подталкивают к разработке типологий траекторий такого развития. Б. Мадьяр и Б. Мадлович (Центральный Европейский университет, Вена) предприняли попытку синтеза в общей таксономической модели типов транзита с предсказанием возможных траекторий их последующих изменений. В основу публикуемой статьи положено резюме их исследования [Magyar, Madlovich, 2020]. Авторы полагают, что концентрация лишь на политических институтах ведёт к созданию упрощённой типологии. По их мнению, «в посткоммунистическом регионе разделения трёх сфер социальной деятельности — политической, экономической и общественной — нет вообще, или оно находится в зачаточном состоянии» (Мадьяр, Мадлович. С. 233). К тому же важна роль формальных и неформальных институтов. Если акторы в подавляющем большинстве придерживаются формальных норм и принимают основанные на них формальные институты, то такой режим устойчив. Если нет, то «акторы будут управлять формальными институтами в соответствии с неформальными нормами» (Там же. С. 234). Такой режим или будет слаб и подвержен деградации в сторону более приемлемой для него системы, или начнёт создавать особые механизмы, чтобы противостоять такой деградации.

Для того чтобы учесть разнообразие факторов, действующих в обществах эпохи транзита, Мадьяр и Мадлович полагают необходимым введение в анализ новой типологии, «которая одновременно отражает порядок сопряжения политических институтов и жёстких структур, а также порядок экономических и социальных отношений после смены режима» (Там же. С. 238). Они выделяют шесть основных «идеальных» типов режимов: 1) либеральную демократию западного образца (плюрализм власти и преобладание формальных институтов); 2) патрональную демократию (плюралистическая конкуренция патрон-клиентских сетей); 3) патрональную автократию (однопирамидальная патрональная сеть с подавлением плюрализма и тенденцией к неограниченной власти главного патрона в политической и экономической сферах); 4) консервативную автократию (патрональность охватывает политическую, но не экономическую сферу); 5) коммунистическую диктатуру (слияние экономики и политики происходит посредством классической бюрократической патрональной сети); 6) диктатура с использованием рынка (однопартийная система сосуществует в разных формах с рыночной экономикой).

Эти шесть типов режимов авторы размещают в предложенном ими треугольнике. Его вершины символизируют либеральную демократию, коммунистическую диктатуру и патрональную автократию. Стороны обозначают: между либеральной демократией и патрональной автократией — патрональную демократию; между либеральной демократией и коммунистической диктатурой — консервативную автократию; между патрональной автократией и коммунистической диктатурой — диктатуру с использованием рынка.

Внутри этого треугольного пространства авторы помещают разные страны в зависимости от их тяготения к тому или иному типу режима. Например, Китай расположен близко к стороне треугольника, обозначающей диктатуру с использованием рынка. Ближе всего к вершине, символизирующей патрональную автократию, размещена Россия. Чуть дальше — Венгрия и Казахстан. Ближе всех к вершине, символизирующей либеральную демократию, помещена Эстония. Польша ближе всех к стороне, названной консервативной автократией. Значительное число стран расположилось в той или иной степени близости от стороны треугольника, обозначенной как патрональная демократия, но в разной степени удалённости от тех вершин, которые названы как либеральная демократия и патрональная автократия.

Кроме того, внутри созданной треугольной конструкции авторы выделяют зоны разной степени патрональности. Ближе к полюсам либеральной демократии и консервативной автократии расположена непатрональная зона. Бюрократическая патрональная тяготеет к диктатурам двух типов, а неформальная патрональная расположена в зоне тяготения патронального авторитаризма и патрональной демократии. Наконец, формальные и неформальные институты располагаются следующим образом. Формальные образуют зону между вершинами либеральной демократии и коммунистической диктатуры вдоль стороны консервативной автократии. Полуформальные институты расположились в центре конструкции между сторонами патрональной демократии и диктатурой с использованием рынка. Наконец, неформальные институты тяготеют к вершине треугольника, связанной с патрональной автократией. Подобным же образом авторы выделяют в своём треугольнике зоны, соответствующие тем или иным функциям правящей партии, а также доминирующим системам экономического механизма, степени коррупционности режима и роли в нем идеологии.

Концепция Мадьяра и Мадловича, с их точки зрения, диктует требование при помещении страны в их треугольное пространство такого определения её места, при котором оно было бы одинаковым во всех треугольниках с выделенными там разными зонами. В этом они видят качественное отличие своей работы от разных одномерных сопоставлений, например опирающихся на исторические аналогии. С их точки зрения, «из треугольной схемы выводится строгий критерий когерентности, охватывающий не только определяющую характеристику режима, но и все сферы социальной деятельности, а также уровень их разделения» (Там же. С. 253). Использование треугольной схемы позволяет также при наложении на нее данных о преобразованиях, совершённых в разное время, начиная со времени установления коммунистического режима и до наших дней, графически проследить путь трансформации той или иной страны со всеми его зигзагами.

В то же время сами авторы видят и ограниченную реалистичность предложенной ими модели. Здесь встает вопрос о том, насколько действительность соответствует выделенным ими идеальным типам. Ведь эти типы — именно сконструированные черты режимов, их институционализированных наборов основополагающих правил, структурированных взаимодействий внутри политической власти, её взаимоотношений с обществом в целом, и т.д. Но у каждой страны есть свои особенности (географические, природные, этнические, культурные и т.п.). Естественно, что, хотя между особенностями страны и режима есть взаимосвязь, они и различны. А потому треугольная схема не может «объять необъятное». Однако и усложнение её с помощью ввода дополнительных параметров «лишило бы её эвристической ценности, да и не позволило бы представить измерения в виде когерентной матрицы» (Там же. С. 265). А именно в этом авторы видят её полезность как средства демонстрации того или иного режима в фиксируемой сложности его политической, экономической, общественной сфер деятельности.

Человек в эпоху постсоциалистической трансформации

Важный раздел книги отведен анализу того, что происходит с человеком, оказавшимся в центре событий постсоциалистической трансформации. Здесь центральным аспектом обсуждения стало то, насколько *homo soveticus* отличается от *homo post-soveticus*, насколько глубоко изменились его ценностные предпочтения за прошедшие 30 лет. Естественно, представленная в данном разделе глава, написанная Л. Гудковым (Левада-Центр, Москва), отражает идеи Ю.А. Левады и его последователей (см., например: [Левада, 2000; Левада, 2006; Гудков, 2004; Гудков, 2012]) об устойчивости типа *homo soveticus*. Сама концепция Ю.А. Левады и работы, развивающие тему специфики человека, оказавшегося после привычных советских реалий в неизведанном, полном непривычных трудностей

и неопределенностей постсоциалистическом мире, достаточно известна. Авторы данного раздела и уточняют некоторые её детали, касающиеся прежде всего эволюции человеческого потенциала в постсоветский период, и достигнутых к настоящему времени результатов этой эволюции.

С. Грин (Русский институт, Королевский колледж, Лондон), опираясь на работы отечественных и зарубежных авторов, прослеживает путь *homo soveticus* к *homo post-soveticus*, на котором ориентиром ему служило «народное знание», покоящееся и на предшествующем опыте, и на разочаровании в возможности быстрого перехода к «жизни как на Западе», и пропагандистском воздействии СМИ. Этот путь породил массовое недоверие к подавляющему большинству общественных институтов. В то же время это был путь адаптации к новым условиям, но адаптации пассивной, при которой ощущающий свою «беспризорность» и одиночество человек хочет «прислониться» к тому, кто обеспечил бы ему пусть не комфортное, но сносное существование. И в такой ситуации авторитарная власть «строится “совместными усилиями” правителя и народа» (Грин. С. 299). Поэтому вместо широко распространённого мнения о том, что транзит — это нечто, обрушившееся на россиян как устроенный элитами пересмотр политических, экономических, и социальных правил, Грин предлагает другой подход. Российский транзит — это некий результат того, что сделано ими самими. Не отрицая вовсе первого подхода, второй подход «тем не менее возвращает россиянам по крайней мере некоторую субъектность в создании того “народного знания”, с помощью которого они объясняют мир вокруг себя» (Грин. С. 319). Призывая к возвращению субъектности, Грин в то же время не минимизирует авторитарности российской политики: «Пример России... показывает, что авторитаризм можно рассматривать как нечто более всеобъемлющее, более целостное. Суть российской автократии не в том, что Путин считает поддержку народа полезной для себя,... сила Путина заключается в том, что простые россияне считают полезным для себя его поддерживать по причинам, не имеющим никакого отношения к самому Путину и связанным исключительно с их собственной жизнью» (Грин. С. 323–324). С этим перекликается и тезис Гудкова: «...как власть пыталась манипулировать населением, так и население, в свою очередь, “управляет” властью, пользуясь её ресурсами, покупая её чиновников для своих нужд» (Гудков. С. 289). А значит, по Грину, для граждан современной России «сотрудничество с государством и приверженность ему превратились из реального факта глобального значения в символический факт морального значения» (Грин. С. 324).

В эволюции от *homo soveticus* к *homo post-soveticus* важную роль играет поколенческий сдвиг, произошедший в обществе за 30 лет. С этих позиций приверженность левадovской концепции подвергал критике ещё в 2018 г. В. Радаев. Он утверждал, что современная молодёжь живёт в другом, цифровом, мире, у нее формируются иные ценности [Радаев, 2018]. Теме поколенческого сдвига посвятил свою главу и Е. Гонтмахер (Экспертная группа «Европейский диалог», Москва). Он сделал акцент на проблеме смены поколений в элитах: «...сейчас нас со всей неизбежностью ожидает не только смена поколений в чисто демографическом смысле, но и, очевидно, приход к власти людей с иным жизненным опытом, не замутнённым коммунистическим/советским прошлым» (Гонтмахер. С. 359). Но возникает вопрос: в какой степени эти новые люди могут дать толчок новому развитию? Ведь и имеющийся у них постсоветский опыт построен во многом на уроках жизни, данных им предшественниками. По сути, это опыт не развития, а перераспределения в рамках ренто-ориентированной экономики.

Поэтому всё же остаются актуальными идеи о специфике *homo soveticus*. Приводимые аргументы о глубине ценностных изменений в связи со сменой поколений всё же, согласно исследованиям Левада-Центра⁷, не находят подтверждения. И видимые изменения в стиле

⁷ Министерство юстиции РФ внесло Левада-Центр в список иностранных агентов.

жизни, и недовольство окружением, доходящее до желания покинуть страну, пока не могут служить индикатором ценностного перерождения масс молодых людей. Л. Гудков вновь напоминает вывод Ю. Левады, что главное в сложившейся ситуации «не в изменении ценностных ориентаций у молодого поколения (а они, безусловно, возникли в новых условиях); дело в том, что с ними делают социальные институты» (Гудков. С. 296). Выяснилось, что установки на изменения у более молодых и образованных горожан, фиксируемые и в первой половине 1990-х годов, «были характеристикой *не процесса, а определённой фазы самореализации*» (Там же. С. 297).

Система современной России формировалась не столько на стремлении к регенерации старых тоталитарных институтов, сколько на отсутствии сопротивления этому процессу со стороны общества, массовом отказе от ответственности за его судьбу. Немалую роль сыграли и упоминавшиеся уже нарастание недоверия, и процессы атомизации общества. Черты *homo post-soveticus*, включая и значительную долю молодёжи, в той или иной степени интенсивности присутствуют более чем у половины населения России. За последние 30 лет *homo post-soveticus* «адаптировался к рыночной экономике... Он не противник демократии (но и не будет чем-то жертвовать ради её утверждения в России), ему не нравится коррумпированный авторитаризм, но он не будет выступать против него, поскольку это не касается его лично» (Там же. С. 297).

В то же время ценностная картина *homo post-soveticus* за последние 10–15 лет существенно изменилась. Об этом пишут В. Магун и М. Руднев (НИУ ВШЭ, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва), опираясь на данные Европейского социального исследования (ESS). В своём анализе этих данных они в итоге выделили в европейских странах пять групп населения в соответствии с их ценностными типами. Расположив их на ценностной шкале Ш. Шварца (его методика лежит в основе ESS), они выделили некую ценностную диагональ из четырёх групп приверженцев ценностей от социальной ориентации до индивидуалистических. В рамки этой диагонали вписывается до 80% населения Европы, включая и постсоциалистические страны.

При этом каждая страна имеет своё сочетание этих четырёх ценностных групп — соответственно, конкурирование социального и индивидуалистического начал. Однако обращает на себя особое внимание пятая группа, выделенная по принципу господства в ней сочетания шварцевских принципов Открытости изменениям и Заботы о людях и природе. То есть можно сказать, что именно для этой группы оказалось органичным сочетание созидательно-индивидуалистического и социального начал. Причём, согласно исследованию ESS, представители именно этой группы господствуют среди населения наиболее развитых европейских стран. Постсоциалистическим же странам присуще не объединение этих двух начал, а скорее, их конкуренция, столкновение, что, возможно, сказывается и на успехах в экономическом развитии.

Важная черта, отмеченная Магуном и Рудневым, состоит в подвижности пропорций между социальными и индивидуалистическими ценностными компонентами. Стоит, в частности, обратить внимание на ценностную эволюцию населения России, фиксируемую в исследованиях 2006–2018 гг. (они проводились каждые два года). Если в первые годы вхождения России в ESS социально ориентированный кластер охватывал практически половину населения страны (соотношение носителей социально ориентированных и индивидуалистических ценностей составляло 49 к 46%), то в 2010-х гг. ситуация меняется на противоположную. В 2018 г. уже индивидуалистические ценности явно преобладают (54 против 38% социально ориентированных) (Магун, Руднев, С. 348). Основываясь на этих данных, отражающих и поколенческие сдвиги, авторы отмечают просчёт продвигаемых властями пропагандистских идеологем, строящихся на приписывании россиянам «особой склонности к бескорыстному альтруизму, коллективизму, “соборности”» (Там же. С. 353).

Таким образом, данные ESS показывают, что 2010-е гг. стали годами существенных изменений в ценностных ориентациях россиян. Однако выделенная тенденция существенного усиления индивидуалистических ценностей в ущерб социальным, на мой взгляд, вызывает скорее тревогу. Ведь индивидуализм также бывает разным. Неслучайно представителей пятой выделенной ценностной группы, сочетающей созидательно-индивидуалистические с социальными компонентами, в стране крайне мало — всего 8% (хотя в последние годы это число увеличилось). Господствующий же в России тип индивидуализма связан прежде всего с атомизацией общества и крайне низким уровнем доверия в нем. Во многом это развитие выявленного ещё в 1990-е гг. Г.Г. Дилигенским агрессивно адаптационного индивидуализма. Поэтому представляется, что анализ данных ESS не противоречит и концепции homo post-soveticus, а в какой-то мере и подкрепляет её со своей стороны.

* * *

Объём статьи не позволяет охватить во всей полноте богатство материала, идей, концепций, представленных в книге. В целом же важно, что её авторы дают представление как о тридцатилетней эволюции хода постсоциалистической трансформации, так и о процессах изменения в исследовательских подходах, связанных с разными этапами этой эволюции. Но особенно важно то, что все авторы рассматривают прошедшее тридцатилетие лишь как этап длительного трансформационного процесса. Именно с этих позиций они анализируют успехи и провалы разных стран на пути преобразований, выявляют механизмы, блокирующие развитие в разных его сценариях, даже трагических. Поэтому книга представляется ценной не только как анализ прошлого, но и вкладом в будущее, предоставляет материал для прочерчивания новой «дорожной карты», дающей шанс не совершать ошибок, сделанных в прошлом, и укреплять достигнутые ранее успехи.

ЛИТЕРАТУРА

- Гудков Л.Д. (2012). Абортивная модернизация. — М.: РОССПЭН.
- Гудков Л.Д. (2004). Негативная идентичность. — М.: Новое литературное обозрение.
- Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя. (2021). — М.: Новое литературное обозрение.
- Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. (2016). Стратегия экономического развития России. Теоретический аспект. — М.: URSS.
- Зубаревич Н.В. (2012). Социальная дифференциация регионов и городов // Pro et contra. № 4–5. С. 135–152.
- Левада Ю.А. (2006). Ищем человека. — М.: Новое издательство.
- Левада Ю.А. (2000). От мнений к пониманию. — М.: МШПИ.
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. (2011). Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. — М.: Издательство Института Гайдара.
- Плискевич Н.М. (2013). Возможности трансформации в России и концепция Норты — Уоллиса — Вайнгаста. Статья 2. Пороговые условия перехода для общества // Общественные науки и современность. № 6. С. 45–60.
- Радаев В.В. (2018). Прощай советский простой человек // Общественные науки и современность. № 3. С. 51–65.
- Шкаратан О.И., Ильин В.И. (2006). Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Hellman J. (1998). Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transition // World Politics. Vol. 50. No. 2. Pp.203–234.
- Magyar B., Madlovich B. (2020). The Anatomy of Post-Communist regimes. — Budapest, Hungary; New York, NY: CEU Press.

Плискевич Наталья Михайловна

znplis@yandex.ru

Natalya Pliskevich

Senior Researcher, Institute of economics of the Russian Academy of sciences (Moscow)

znplis@yandex.ru

**THE MAN, THE SOCIETY AND THE STATE IN YEARS OF POST-SOCIALIST TRANSFORMATION
(ABOUT THE BOOK «DISMANTLING COMMUNISM. THIRTY YEARS LATER»)**

Abstract. The article is devoted to the analysis content of the collective monograph of the international Expert Group “European Dialogue” presented the results of the implementation of the project “Thirty Years of Post-Soviet Europe”. Attention is focused on three main themes of this project. Firstly, this is the stages of post-socialist transformation and its comprehension. Secondly, this is the the evolution of interpretations of post-socialist transit and its new versions. Thirdly, is man in the era of post-socialist transformation. It is shown that the post-socialist transition is not over, and all countries still have a long way to go. But the trajectory of this path is different for everyone.

Keywords: *post-socialist transformation, stages of post-socialist transformation, totalitarianism, authoritarianism, liberalism, evolution of research approaches, human potential, human capital, Soviet people, post-Soviet people, evolution of value preferences.*

JEL: A10, A12, A13, B15.

REFERENCES

- Demontazh kommunizma. Tridtsat' let spustya.* (2021). [The dismantling of communism. Thirty years later]. — M.: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Evstigneyeva L.P., Evstigneyev R.N.* (2016). *Strategiya ekonomicheskogo razvitiya Rossii. Teoreticheskiy aspekt* [Russia's Economic Development Strategy. Theoretical aspect]. — M.: URSS.
- Gudkov L.D.* (2012). *Abortivnaya modernizatsiya* [Abortive modernization]. — M.: ROSSPEN.
- Gudkov L.D.* (2004). *Negativnaya identichnost'* [Negative Identity]. — M.: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Hellman J.* (1998) *Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transition* // *World Politics*. Vol. 50. No. 2. Pp. 203–234.
- Levada Yu.A.* (2006). *Ishchem cheloveka* [We are looking for a person]. — M.: Novoye izdatel'stvo.
- Levada Yu.A.* (2000). *Ot mneniy k ponimaniyu* [From opinions to understanding]. — M.: MSHPI.
- Magyar B., Madlovich B.* (2020). *The Anatomy of Post-Communist regimes.* — Budapest, Hungary; New York, NY: CEU Press.
- North D., Wallis D., Weingast B.* (2011). *Nasiliye i sotsial'nyye poryadki. Kontseptual'nyye ramki dlya interpretatsii pis'mennoy istorii chelovechestva* [Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpretation Recorded Human History]. — M.: Izdatel'stvo Instituta Gaydara.
- Pliskevich N.M.* (2013). *Vozmozhnosti transformatsii v Rossii i kontseptsiya Norta — Uollisa — Vayngasta. Stat'ya 2. Porogovyye usloviya perekhoda dlya obshchestva* [Possibilities of transformation in Russia and the North-Wallis-Weingast concept. Article 2. Threshold conditions of transition for society] // *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*. No. 6. Pp. 45–60.
- Radayev V.V.* (2018). *Proshchay sovetskiy prostoy chelovek* [Farewell to the Soviet simple man] // *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*. No. 3. Pp. 51–65.
- Shkaratan O.I., Il'in V.I.* (2006). *Sotsial'naya stratifikatsiya Rossii i Vostochnoy Yevropy: sravnitel'nyy analiz* [Social stratification of Russia and Eastern Europe: a comparative analysis]. — M.: Izdatel'skiy dom GU VSHE.
- Zubarevich N.V.* (2012). *Sotsial'naya differentsiatsiya regionov i gorodov* [Social differentiation of regions and cities] // *Pro et contra*. No. 4–5. Pp. 135–152.

А.П. Заостровцев

к.э.н., старший научный сотрудник, Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский Центр» (Санкт-Петербург)

«30 ЛЕТ ПОСЛЕ СОЦИАЛИЗМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РОССИЙСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ»: 21-Я ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗ ЦИКЛА «ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»¹

Аннотация. В работе представлен обзор прошедшей 11–12 февраля 2022 г. 21-й ежегодной конференции из цикла «Леонтьевские чтения». В этот раз она была посвящена 30-летию начала перехода к рыночной экономике в России. Участники конференции представили разные взгляды на особенности эволюции политических и рыночных институтов в этот период. В процессе обмена мнениями и дискуссиях они старались найти ответ на вопрос: построена ли рыночная экономика в России и если да, то какая? Возможен ли альянс России с международными организациями (например, ЕС), или же она противостоит Западу как чуждая ему цивилизация? Что отличает российские институты от тех, что сложились в рыночных демократиях? Большое внимание в этой связи было уделено власти-собственности как ключевому звену институциональной системы России. В целом участники конференции сумели представить широкую палитру мнений относительно сущности и перспектив российского общественно-политического и экономического порядка.

Ключевые слова: институты, власть-собственность, эффект колеи, цивилизация, модели рыночной экономики, реформирование экономики.

JEL: B40, B52, D02, D72, P20, P30, P50.

DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_2_172_185.

Конференция проходила 11–12 февраля 2022 г. в Санкт-Петербурге и её центральным вопросом был, естественно, вопрос о том, чем стало российское общество за прошедшее после решительного отхода от социализма 30-летие. Несмотря на то, что абсолютное большинство участников было представлено экономистами, значительная часть выступлений касалась не узких экономических, а гораздо более широких проблем, явно носящих междисциплинарный характер. Ближе всего они относились к институциональному историко-экономическому анализу. С их обзора и стоит начать освещение поднятых на конференции проблем.

Открыл конференцию доклад *А.П. Заостровцева* на тему «Посткоммунистическая эволюция российских институтов: модернизация как реставрация». Согласно его видению, модернизация бывает двух типов: адаптационная как трансформация этакратического общества с сохранением его основ (Китай, Россия, Иран) и вестернизирующая как преодо-

¹ Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя. (2021) / Под ред. К. Рогова. — М.: Новое литературное обозрение.

ление этакратического общества с устранением его основ (переход к верховенству права), примерами которой могут быть Япония, Ю. Корея, Тайвань. Исторический путь России — это воспроизводство верховенства государства (этакратизма). На этом пути можно выделить следующие этапы:

- середина XV — конец XVII вв.: патримониальное монархическое государство (Московия 1.0);
- XVIII в. — начало XX в.: продвижение к гибриднему государству (внедрение элементов правового государства со второй половины XVIII в.);
- начало XX в. — до 90-х гг. XX в.: неопатримониальное коммунистическое государство (Московия 2.0);
- 90-е гг. XX в.: трансформация (номенклатурно-буржуазная революция; короткий период олигархического капитализма);
- XXI в. (по настоящее время): неопатримониальная этакратия (Московия 3.0).

Для современной неопатримониальной этакратии характерна структура, представленная на следующем рисунке:



Ядром данной институциональной системы служит власть-собственность, складывающаяся из трёх составляющих. Самовластье означает, что источником власти служит сама власть: этакратия монопольно владеет и распоряжается государством. Служение означает внеправовое принуждение этакратией к исполнению ее воли (как бизнес-сословия, так и более широких слоев). Держание характеризует условный характер собственности в такой институциональной среде: она есть дарованная привилегия, конечным распорядителем которой выступает всё та же этакратия (в первую очередь, силовая). Сущность власти-собственности заключается в том, что индивид в ней утрачивает самопринадлежность (право собственности на самого себя) и становится объектом (подданным), теряющим права гражданина.

В докладе обращалось внимание на то, что коррупции в России нет, поскольку нет разделения на публичное и частное. То, что по аналогии с правовыми обществами именуется коррупцией, на самом деле есть административная рента как капитализация государства его владельцами.

В то же время рассмотренная система несовместима с правовыми обществами, которые несут в себе постоянную потенциальную угрозу ей в силу демонстрационного эффекта. Это неизбежно порождает то, что автор доклада назвал имперством или институциональной экспансией: необходимо все время подрывать и сжимать сферу распространения институтов правовой цивилизации.

Правление этакратии нуждается в сильной идеологической индоктринации населения, поскольку оно неизбежно проигрывает в легитимации через благополучие. Требуется насыщение сознания масс так называемыми высшими ценностями, которые позволяют им мириться со скудостью бытия и, хотя бы отчасти, компенсировать его через сопричастность самой правильной вере, мессианству и державному величию.

Выступление *В.И. Нефедкина* было озаглавлено «От власти корпораций — к корпоративному государству: постсоветская эволюция». Основные его положения заключались в следующем:

1. За последние 25 лет сформировалась «экономическая вертикаль» власти, основу которой составляют крупные ресурсные и инфраструктурные корпорации, в том числе прямо или косвенно контролируемые государством.

2. «Новые корпорации», как правило, являются прямыми «наследниками» советских министерств.

3. Главный фактор экспансии крупного бизнеса — неорганический рост (рост, не связанный с экономическими преимуществами).

4. Противоречия между интересами крупных корпораций, национальными интересами и интересами отдельных регионов не стали менее острыми, хотя и приобрели в контексте современных российских реалий новую конфигурацию.

В РФ сложился институт корпоративной ренты, позволяющий устойчиво осуществлять перераспределение эффектов в пользу крупных корпораций за счёт:

- экономически выгодных регулируемых тарифов (для естественных монополий);
- прямых государственных субсидий для финансирования операционной деятельности или для осуществления инвестиционных проектов крупных компаний;
- доступа к внешнему финансированию на нерыночных условиях (в том числе с участием госбанков и регулятора);
- льготы по налогам и прочим платежам в бюджет;
- преференции в получении крупных государственных заказов и подрядов;
- прочих систем господдержки (сельхозпроизводителей, авиаперевозчиков и т.п.).

Доклад *Р.М. Нуреева* «Экономические субъекты постсоветской России: эффект колеи» включал в себя следующие составляющие: раскрытие «эффекта колеи», институциональные изменения домохозяйств, институциональные изменения фирм, институциональные изменения государства, а также рассмотрение сути новых тенденций.

Были выдвинуты следующие тезисы:

- долгосрочные экономические изменения являются результатом накопления бесчисленных краткосрочных решений политических и экономических агентов;
- выборы, которые делают агенты, отражают их субъективное представление об окружающем мире. Поэтому степень соответствия между результатами и намерениями зависит от того, насколько эти представления являются правильными;
- поскольку модели отражают идеи, идеологию, убеждения (которые, в лучшем случае, лишь частично подвергаются исправлению и улучшению обратной связью), то последствия являются не только неопределёнными, но и непредсказуемыми.

Институциональные изменения домохозяйств включали следующие сдвиги в 10-е гг. XXI в.: затормозился рост межличностного доверия, имело место небольшое увеличение мобильности, переход от приспособления к освоению рынка, спрос на самоуправление

является отложенным, институты гражданского общества не пользуются доверием ни у граждан, ни у государства.

Аналогичные изменения применительно к фирмам складывались из следующих тенденций: функционирование фирм в условиях возрастающей власти-собственности, ограничение иностранной собственности, сохранение олигополистической структуры, постепенное повышение защиты прав собственности предпринимателей.

Для институциональных изменений государства характерно частичное восстановление диктата государства над обществом, дальнейшее укрепление вертикали власти, сохранение институциональной коррупции и др.

В докладе был проведён подробный сравнительный анализ власти-собственности и частной собственности по десяти критериям. Так, если взять такой критерий, как субъекты прав собственности, то в первом случае таковыми субъектами являются государственные чиновники, во втором — индивидуальные владельцы ресурса, домохозяйства. Для власти-собственности типом правомочий собственности служат властные общественно-служебные правомочия госчиновников, для частной собственности — индивидуальные правомочия владения, пользования и распоряжения. Целевой функцией субъектов в системе власти-собственности является максимизация разницы между полученными раздачами и произведенными сдачами, в системе частной собственности — максимизация приведенной текущей стоимости активов или дивидендов по акциям. Стимулами при наличии власти-собственности являются административный контроль и принуждение, при наличии частной собственности — индивидуальные стимулы к повышению личного благосостояния.

Завершился доклад обращением к демонстрации новых тенденций глобального развития. На основе анализа статистических и прогнозных данных был сделан вывод о том, что Россия не участвует в «великом забеге» за благосостоянием и утрачивает позиции в глобальном мире.

Доклад *Е.А. Капогузова* «Трансформация импортированных институтов и российские реформы: 30 лет спустя» был посвящён проблеме адаптации институтов «Западной матрицы»: рыночная экономика, частная собственность, предпринимательская деятельность. Наряду с импортом таких мега-институтов речь шла и об импорте локальных реформ: государственное управление (меритократия, выборность, подотчетность, соучастие), образование и наука (коммерциализация и гармонизация), технолого-институциональная трансформация (электронная/цифровая Россия).

- были разработаны критерии отнесения институтов к импортируемым. В том числе: — происхождение института, его изначальное функционирование и формальное описание;
- в разработке аналогичного, по содержанию, формального института участвуют зарубежные консультанты и эксперты и/или представители иностранных или наднациональных организаций.

Успешность импорта институтов обеспечивается, когда в его процессе учитывается как специфика институциональной среды страны-реципиента, так и конгруэнтность импортируемых институтов. В этой связи большое значение имеет совпадение взглядов идеологов реформ (институциональных проектантов) и реализующих их идеи исполнителей (готовность к принятию «навязанных» институциональных изменений).

Импорт институтов сталкивается с особенностями российской институциональной системы. Отмечается, например, наличие специфической экономической ментальности, определяемой в первую очередь не религиозными традициями, а многолетним «выдавливанием» генетического кода применительно к развитию базовых институтов западного пути развития — предпринимательства и частной собственности.

Россияне в целом скорее одобряют «капиталистические» институты частной собственности и предпринимательства (особенно, наиболее сильные категории населения). Однако они негативно относятся к импорту институтов с Запада, предпочитая ориентацию на опыт стран Востока.

Отсюда следует рекомендация: дозированная модернизация, усиление дифференцированного отношения к опыту развитых зарубежных стран. Частичная замена стратегии «вестернизации» успешным опытом «остернизации» с выявлением элементов институциональной структуры, конгруэнтной специфике российской институциональной среды.

Польский экономист *М. Домбровский* сравнивал рыночную трансформацию Китая со странами бывшего Советского блока. Он обратил внимание на то, что китайский опыт рассматривается его апологетами как пример градуализма против российской шоковой терапии. Они утверждали, что китайский градуализм обеспечил высокие темпы роста в то время как шоковая терапия в России породила глубокий спад. По мнению автора доклада, это неверное понимание и интерпретация фактов. Во-первых, ни Китай не представляет медленный градуализм, ни Россия — шоковую терапию. Во-вторых, здесь прослеживается пренебрежение стартовыми условиями и опытом стран Восточной Европы и Балтии.

Страны Восточной Европы/бывшего СССР (ВЕ/бСССР) должны были быть деиндустриализированы с тем, чтобы создать пространство для рыночно ориентированной реструктуризации. Китай имел свободные ресурсы (избыточный труд в сельском хозяйстве) — по аналогии с нэпом в СССР в 1920-е гг. В Китае было более легко приватизировать сельское хозяйство и создать новый частный/квазичастный сектор вне его. В странах ВЕ/бСССР необходимо было снизить социальные расходы ради макроэкономической стабилизации. Построение рыночной экономики при авторитарном режиме не было опцией для стран ВЕ/бСССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг., но было таковой для Китая.

Градуализм был менее обещающим для ВЕ/бСССР по причине неспособности к «тонкой настройке». Кроме того, у этих стран был разочарующий опыт с реформами под лозунгом «рыночного социализма». Против градуализма работали и аргументы из области политической экономии (использование политического окна возможности после коллапса коммунизма, избегание промежуточных победителей).

Философ *В.П. Макаренко* обсуждал проблему «Насилие и политическая бюрократия». Концепция автора позволяет критически относиться к политической истории и политической системе России вплоть до настоящего времени. Им осуществлена классификация российских идеологов, которые предлагаются для описания способов трансляции монархического, советского и «демократического» опыта в современный контекст. Автор обсуждал проблемы освобождения ума и совести от наследия советской эпохи, реанимацию обскурантизма в России на фоне противоположности между культурой и государством, основные характеристики XX в. и константы русской истории, ветхозаветный концепт священной войны, трансформацию войны в христианстве, русский и советский государственный разум, цивилизаторскую диктатуру империи в прошлом и настоящем, эволюцию правительственной философии к системе тотальной лжи, современные формы ее воплощения, а также влияние указанных факторов на формирование государственной власти в стране.

А.Я. Рубинштейн, Р.С. Гринберг, А.Е. Городецкий представили разработанную ими концепцию теоретических аспектов регресса патерналистского государства. Они выделили три типа «провалов»: провалы рынка, государства и общества. Говоря о провалах общества, они указали на то, что речь идет о таком его состоянии, которое допускает выбор целей патерналистского государства, не соответствующих интересам общества, и ошибочных стратегий их реализации.

В докладе были выделены признаки регресса патерналистского государства. Во-первых, был отмечен дрейф патерналистского государства в сторону эскалации его

вмешательства во все сферы человеческой деятельности, с опорой на самовозрастающую бюрократию и силовые структуры, милитаризация экономики и имперские амбиции. Во-вторых, довольно быстрое сползание к «пограничной фазе» патерналистского государства — его закату. В-третьих, формирование автократического государства: фразеология патриотизма и идеи «особого пути», их обоснование через «улучшение прошлого». В-четвёртых, сужение общественного выбора вплоть до его полной монополизации — диктатуры. И, наконец, в-пятых, долговременный экономический застой и, как следствие, снижение уровня благосостояния.

Согласно авторам доклада, в России уровень доверия граждан к главе государства всегда был выше, чем к политическим институтам. В этом находит своё отражение патернализм политического сознания россиян. Такое сознание появилось не на пустом месте, оно накапливалось под влиянием многих факторов, в том числе связанных с «мифологизацией утраченного» и «забвением негатива прошлого». Не успев создать зрелое гражданское общество, большую часть «тридцати лет после социализма» страна прожила в условиях «сползания» к четвертой фазе эволюции патерналистского государства, к его деградации и неопределённости будущего.

Философ А.Г. Тульчинский озаглавил свое выступление на конференции как «Терминатор в колее, или российская эхолалия² цивилизационных трендов». Докладчик рассмотрел различные интерпретации «эффекта колеи», отражённые в концепциях «Русской системы», опричнины-земщины, ордынского наследия, власти-собственности и системы кормлений. По его мнению, из эхолалии русской культуры вытекает важнейшее для России следствие: эхолалия цивилизационных трендов. При этом добавляется (или вычитается) что-то своё. Так, поверили критике индустриального общества (упрощённому марксизму) — свалились в госфеодализм, поверили в постиндустриальный уклад (рыночный либерализм) — оказались недоразвиты, поверили в цифровую благодать — перспектива зависимости от Китая.

Среди проблем России выделяются: комплекс жертвы, враги вокруг и внутри (вражеская «лента Мебиуса»), безответственная невменяемость, диагнозы без знания реального больного, недобросовестные манипуляции. И, как результат, догоняющая модель развития (неспособность запуска инновационного развития).

Однако у России видится и конструктивный потенциал. Он включает следующие компоненты: регионы, яркая культурно-историческая специфика культур, ландшафты и т.д.; постимперская «культура культур», массовое общество и развитая массовая культура, образованное население (пока ещё), высокая рецептивность, преадаптивность и прокреативность; потенциал цифровизации (возможно). Вся проблема — в акторе реализации этого потенциала.

А.А. Яковлев предложил участникам конференции исследование по теме «Конкуренция моделей капитализма: проекция на Россию». Опираясь на идею разнообразия капитализмов, докладчик показал четыре основные модели. Первая — либеральная рыночная экономика — характерна для США и Великобритании. Вторая — координируемая рыночная экономика — отличает Германию, Японию, Францию. Далее, встречаем зависимые рыночные экономики (страны Центральной и Восточной Европы) и такие системы из похожего ряда, как иерархические рыночные экономики (Латинская Америка), патримониальные рыночные экономики (страны Ближнего Востока, Африки и СНГ). И, наконец, последний тип — это разрешаемые государством рыночные экономики (Китай, Индия, Бразилия). Высокая динамика и большая устойчивость этой модели в период кризисов стала восприниматься как альтернатива либеральной и координируемой рыночной экономике.

² Эхолалия — это эхо-симптом, заключающийся в повторении чужих слов и фраз.

Переходя к классификации экономики России, докладчик указал на новые тенденции после 2012 г. Среди них: снижение зависимости от внешнего мира с акцентом на безопасность, все более явное вмешательство государства в рыночные процессы, уменьшение социального напряжения через помощь значимым социальным группам (майские указы 2012 г.), явный акцент на помощь бедным группам и бедным регионам при сохранении преференций для «силового сословия», давление на элиты с целью повышения эффективности системы управления (антикоррупционная кампания и пр.). Однако итогом всему этому стало повышение «операционной эффективности (например, рост собираемости налогов) на фоне того, что экономический рост перестал быть значимым приоритетом (менее 1% в год в 2012–2019 гг.).

Далее автор доклада задает риторический вопрос: с какой моделью рыночной экономики все это соотносится? И приходит к выводу, что с моделью «осаждённой крепости» и «экономики сопротивления» (Иран). Обращается внимание на доклад Изборского клуба осенью 2012 г. «Стратегия “большого рывка”», где были представлены тезисы о третьей мировой войне через 5–7 лет и необходимости перехода к мобилизационной экономике. В 2017 г. академическая делегация из Ирана представляла в Москве «экономику сопротивления».

В заключение выступления были представлены два сценария для России при опоре на данную модель. Первый вариант означает, что при сохранении социально-политической стабильности внутри страны и отсутствии сильных внешних шоков с течением времени страна будет проигрывать другим странам в экономическом соревновании и оттесняться на периферию мировой экономики и политики.

И второй вариант: при нарастании напряжения, вызванного высоким уровнем социального неравенства, и при втягивании страны во внешние конфликты, требующие всё большего финансирования, выбранная модель с высокой вероятностью приведёт к банкротству экономики и к кризису, сравнимому с событиями 1991 г.

Доклад *В.Л. Тамбовцева* назывался «Изменение режимов собственности в России (конец РСФСР — сегодняшняя РФ): теоретическая реконструкция». Теоретической предпосылкой анализа является проведение различия между формами собственности и режимами собственности. В случае подхода с позиции формы собственности собственность трактуется как нерасчленимое целое, при этом на первый план выходит вопрос о том, кто является собственником. Это видение проистекает еще из Кодекса Наполеона, где собственность трактуется как неделимость имущественных прав. Этой традиции и следует современное российское законодательство. По умолчанию предполагается, что собственник может всё, что не ограничивается законодательством.

В концепции режимов собственности таковой режим означает совокупность прав (и задающих их правил), определяющих условия доступа к правам собственности на тот или иной ресурс (объект), порядок выбора вариантов его использования, а также порядок изменения того и другого.

В эпоху конца РСФСР в терминах форм собственности наблюдался рост числа объектов коллективной (кооперативной) собственности, признание не законности частной. В терминах режима собственности происходило резкое сокращение государственного режима и рост частного режима. Непоставленными и нерешенными задачами были легализация прав собственности и развитие защиты прав собственности.

По мнению докладчика, в сегодняшней РФ частная форма собственности стабильна, но частный режим стал во многом коммунальным; государственная форма собственности расширяется. Однако при этом государственный режим сокращается, а частный (рыночный) режим в государственной форме собственности растёт.

Причины такого положения дел заключаются в непоставленных и нерешенных задачах реформирования периода становления РФ, невнимание «исходных» реформаторов

к «технологии власти», т.е. текущей ежедневной бюрократической деятельности; пренебрежение к PR — публичному объяснению своих решений и действий.

Л.М. Григорьев выступил с докладом по теме «Проблема конгруэнтности трансформации». Он обратил внимание на то, что основная проблема «эволюции политэкономии» — как при латиноамериканской системе собственности, социальной структуры. Трансакционные издержки изменения структуры собственности (и корпоративного контроля) — неподъёмные. А на входе они были максимально низкими! Политэкономии остается поддерживать работоспособность социально-экономической системы частными реформами и изобретать частичные меры возврата на магистраль.

О конгруэнтности было сказано следующее:

- трансформация экономики, социальной системы и системы политической относится к трём наукам, но к одним и тем же «людям», относящимся к разным странам;
- «люди» при трансформации выходят из своих прежних страт под влиянием обстоятельств, законов или личного выбора. Свобода присоединения к новым стратам ограничена;
- в новых стратах «объекты трансформации» должны быть довольны своей судьбой настолько, чтобы поддерживать демократические институты — хотя бы в целом на выборах;
- благосостояние массовых страт после трансформации должно быть приемлемо в течении разумного времени;
- возникшая социальная структура должна поддерживать гражданское общество и политическую демократию.

Однако на пути конгруэнтности — проблемы собственности, эффективного хозяина и корпоративного управления. Приватизация не дала «зацепиться за портфельные активы и доходы» потенциальному среднему классу. Упор на передачу собственности, а не на конкуренцию — проблема «корпоративного контроля» и мотивации новых собственников на удержание «дешевых активов». Бедные образованные слои не имеют шансов на доходную «независимость» и не могут обеспечить гражданское общество.

Темой выступления *М.Э. Дмитриева* были «Рыночные реформы и структурные шоки: некоторые уроки 30 лет спустя». Во главу угла был поставлен вопрос о том, как экономические реформы соотносятся с резкими структурными изменениями в экономике и какого рода реформы могут потребоваться в моменты структурных экономических шоков. Отмечалось, что структурные проблемы российской экономики могут резко обостриться под влиянием ускорившейся декарбонизации мировой экономики и связанного с ней глобального энергетического перехода.

Рыночные реформы начала 1990-х гг. ознаменовали начало самой глубокой, поистине шоковой трансформации отраслевой структуры российской экономики за истёкшие полвека. Но на повестку отраслевых изменений как таковых у команды Гайдара почти не оставалось времени, сил, компетенций и политических ресурсов. В целом структурные реформы были отложены на потом. Шаг в реформах, который достался Гайдару и его команде, в основном состоял из структурно нейтральных реформ, более или менее одинаково влияющих на основные отрасли экономики и не преследующих непосредственной задачи содействия развитию конкретных отраслей.

В настоящее время задачу разработки пакета структурных реформ в ответ на вызовы глобального энергетического перехода не получится решить с наскока, как не удалось её решить и в 1991 г. Откуда бы ни исходил запрос на кардинальное обновление повестки реформ, экспертное сообщество не сможет отреагировать на него моментально. Задел принципиально новых решений, пригодных для ответа на вызовы предстоящего структурного перелома в развитии, до сих пор не сформирован. Наполнить новую отрас-

левую повестку реформ по-настоящему полезными и практически реализуемыми мерами в короткие сроки будет невозможно. Поэтому новая структурная повестка нуждается в тщательной заблаговременной подготовке.

Энергетический переход пока развивается в щадящем для России темпе: хотя его неизбежность уже не вызывает сомнений, он еще не успел набрать обороты. Благодаря относительно плавному началу глобального энергетического перехода, ситуация в российской экономике пока меняется не так стремительно, как в 1991 г. Для подготовки отраслевых реформ остаётся больше времени, чем было в начале перехода к рынку. Но это не повод расслабляться и откладывать подготовку структурных реформ на потом. Иначе позитивные и негативные уроки первых рыночных реформ тридцатилетней давности останутся неувоенными.

Т.М. Малева рассматривала динамику социальной структуры в посттрансформационной России. Основные выводы исследования заключались в следующих тезисах.

1. Численность среднего класса долгие годы, начиная с 2000-го, держалась на уровне примерно 20% населения, однако в 2017 г. снизилась почти до 15%. За указанный период нижний класс составлял от 10 до 15%, в принципе соответствуя доле бедного по доходам населения по данным Росстата, хотя среди критериев нижнего класса кроме материального положения присутствуют субъективный и социально-профессиональный стратификационные признаки.
2. Судя по сочетанию ряда материально-имущественных индикаторов — потребительские возможности (что могут купить или какая доля доходов расходуется на питание); наличие и размер сбережений; имущественная обеспеченность (автомобиль, второе жильё) — доля тех, чей уровень жизни соответствует стандартам среднего класса, сократилась с 27% в 2013 г. до 24% населения в 2017 г.
3. Субъективный компонент индикатора среднего класса также значительно снизился, с 26 до 20% за тот же период. По социально-профессиональному статусу произошло некоторое увеличение доли тех, кого можно отнести к среднему классу (с 19 до 21%), однако в целом доля интегрального среднего класса сократилась с 22% в 2013 г. до 21% в 2015 г., а затем до 15% населения в 2017 г.
4. Вместе с сокращением размера среднего класса некоторые его характеристики улучшились, а консистентность признаков среднего класса возросла, что означает тенденцию к выравниванию действия социальных факторов формирования среднего класса.

Доклад *В.М. Полтеровича* «Альянс ЕС и России: возможно ли это?» исходил из того, что, по мнению автора, между Западной Европой и США имеются глубокие противоречия. США постепенно теряют доминирующие позиции. Группа европейских стран формирует новый тип организации общества (имелись в виду страны, для которых более характерна не модель либерально рыночных, а скоординированных рыночных экономик). Пока эта группа невелика, но есть тенденция к её увеличению. России нужна стратегия догоняющего развития, и, прежде всего, необходимо крепить сотрудничество с ЕС.

Идея создания альянса стран на территории от Атлантического океана до Тихого остаётся актуальной и для Европы. Альянс Европы и России может стать «третьей силой», способной уравновесить США и Китай и, в конце концов, сформировать новые стандарты социально-экономической и политической организации общества, основанного на сотрудничестве.

В то же время автор доклада говорил о неуверенности в том, что Россия выберет эффективную стратегию.

«Планирование в СССР и РФ: разрыв и преемственность» — такая постановка проблемы была сформулирована в выступлении *Ю.В. Кузнецова*. Согласно его точки зрения, существуют следующие отличия государственного планирования РФ от народнохо-

зяйственного планирования в СССР. Во-первых, это существование рыночного сектора в сфере производства (рынков факторов производства и продукции), во-вторых, наличие рыночных цен на многие факторы производства (возможность адекватной оценки затрат), в-третьих, ключевая роль государственных бюджетов, во многом заместивших балансы ресурсов («деньги – основной ресурс»), и, наконец, декларируемый программно-целевой характер государственного планирования и управления.

В то же время докладчик видит и преемственность с прежней формой планирования. Сводит ее он к следующим двум моментам. Во-первых, к программно-целевому подходу — преемственность с позднесоветскими инициативами и реформами, во-вторых, попыткам внедрения стимулирования и самостоятельности организаций госсектора (*new public management* — «хозрасчёт»).

Будущее стратегического планирования описывается следующими перспективами его эволюции:

- появление всё новых «стратегических целей» и «приоритетов»;
- расширение государственного сектора и государственного вмешательства;
- рост популярности технократических решений;
- всё большее искажение внешних рыночных сигналов.

В докладе *В.В. Вольчика* «Эффект колеи в эволюции российской инновационной системы» зависимость от траектории предшествующего развития рассматривалась по следующей схеме: случайные исторические события — возрастающая отдача — блокировка (*lock-in*) — эффект колеи. Далее исследование предмета ведётся методами нарративной экономики. Нарративы разделяются на упрощенные протомодели и на данные о социальном контексте.

С помощью нарративов мы можем получить информацию о том, какие институты и идеи акторы считают влияющими на современный выбор в развитии российской инновационной системы. Через нарративы (истории) можно лучше понять, как акторы интерпретируют влияние институтов и идей на текущие взаимодействия в той или иной сфере деятельности.

Эмпирическая база для изучения нарративов:

- 43 рейтинговых источника СМИ, журналов, Интернет-ресурсов;
- отбор круга значимых, влияющих на социальные процессы источников осуществлялся с помощью системы мониторинга и анализа СМИ «Медialogия»: «Федеральные СМИ: 2020 год»;
- временной период поиска: с 1 января 2010 г. — 1 июля 2021 г.

В результате были определены следующие главные проблемы российской инновационной системы:

- государственное управление инновационной деятельностью;
- выбор тематики и направления исследований;
- спрос на инновации;
- институциональная структура и конкурентная среда для инноваций;
- проблема кадров для исследовательской и инновационной деятельности;
- проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью.

Было выявлено, что эффект колеи проявляется прежде всего во влиянии советского наследия в регулировании инновационной сферы. Он наблюдается, во-первых, в определении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники; во-вторых, в показателях инновационной деятельности («принуждение к инновациям»).

«Политическая экономика защиты прав собственности» стала темой выступления *К.И. Сониной*. Оно состояло из двух частей. В первой обращалось внимание на эволюцию институтов защиты прав собственности (1991–2022); во второй — на развитие теории прав собственности — от первых моделей «ловушек развития» до современных моделей.

«Ловушка» определяется двояко. С одной стороны, это равновесие по Нэшу, — ситуация, в которой никакому экономическому субъекту невыгодно отклоняться от выбранной стратегии. С другой стороны, это ситуация, когда у субъектов экономики нет спроса на изменение институтов («институциональная ловушка»).

В модели Полищука-Саватеева (1997) богатые субъекты не являются источником спроса на хорошие институты. Чем богаче субъект, тем больше его относительная отдача от борьбы за ренту, больше его инвестиции в борьбу за ренту и, как результат, для него более предпочтительны плохие институты защиты прав собственности.

Согласно «институциональной теории бесконечного передела» (Сонин, 2003), имеют место долгосрочные множественные равновесия: в «плохом» равновесии экономика постоянно живёт в ситуации высоких расходов на *частную* защиту прав собственности, высокого неравенства, власти, принадлежащей богатой олигархии.

В модели Гуриева-Сонина (2009) — «олигархи», стратегические игроки, теряющие прибыль из-за борьбы за ренту, имеющие возможность выбрать диктатора и рискующие тем, что диктатор при определённых обстоятельствах может закрепиться у власти и перестать зависеть от них.

В итоге были сформулированы следующие заключительные положения.

1. Через тридцать лет «эксперимента» мы знаем гораздо больше о том, как устроены и как эволюционируют институты защиты прав собственности.
2. «Ловушки» — экономические субъекты не только находятся в плохом равновесии, но и не хотят — и не дают политически — чтобы это равновесие менялось (против институциональных реформ).
3. Для российского случая важен общий вопрос — каким образом можно реформировать институты, консервирующие власть элиты?
4. Интересно также получить ответы на частные, «русские» вопросы, «микрооснования патернализма» — есть ли в этом что-то, кроме формы контроля?

Эволюция российских денежных институтов была рассмотрена в докладе *С.Г. Кирдиной-Чэндлер* «Институционализация денежного обращения в постсоветской России: выучены ли уроки СССР?». В нем были представлены следующие разделы: методология анализа институтов денежного обращения, институционализация денежного обращения в СССР, институты денежного обращения в современной России, закономерности и риски отечественной институционализации денежного обращения. В заключении автор ставит риторический вопрос: так выучены ли уроки?

В методологическом плане автор опирается на разработанную ею теорию X и Y — матриц. Институты X-экономики в России доминантны. К ним относятся редистрибуция, верховная условная собственность, кооперация, служебный труд, X-эффективность (ограничение издержек). Институты Y-экономики являются комплементарными: рынок, частная собственность, конкуренция, наемный труд, эффективность (максимизация прибыли).

На этой основе выделяются три этапа институционализации денежного обращения.

1. Тотальное доминирование X-институтов в денежной системе СССР и стагнация экономики.
2. Попытка перехода к доминированию Y-институтов и, как результат, угроза разрушения экономической системы в постсоветской России.
3. Восстановление доминирующей роли X-институтов в экономике и вновь возникновение рисков их тотального доминирования в наше время.

К рискам Y-институционализации относятся: неустойчивость и хрупкость денежной системы, потеря суверенности системы денежных институтов, зависимость денежной системы от внешних факторов и колебаний на глобальных рынках, порождение высокого уровня инфляции в связи с рассогласованностью преобразований, рост социального неравенства в пользу «имущих».

К рискам X-институционализации относятся: зависимость денежной системы от нефункциональных целей, исходящих, например, из политической системы (необеспеченная денежная эмиссия позднего СССР); нарушение институционального баланса в связи с неаккуратным использованием Y-институтов; риск тотального доминирования X-институтов.

С.А. Васильев затронул вопрос о том «Была ли возможность компенсации вкладов населения в Сбербанке СССР?». Причины невнимания реформаторов к данной проблеме: технократический настрой, негативное отношение к индексациям, желание погасить внешний долг. По мнению докладчика, реформаторы должны были сразу провозгласить компенсацию через секьюритизацию, внести в Думу закон о компенсации, объявить о поступлении доходов от приватизации в фонд компенсации.

А.Е. Шаститко выступил с докладом «Химеры в российском антитрасте: подходы к расшифровке генома». Идея его исследования заключалась в ответе на вопрос: что и почему происходит с инструментами антимонопольной политики, трансплантированными в российскую правовую систему?

Имеет место ползучее регулирование: замещение антитраста экономическим регулированием на уровне механизмов управления транзакциями. По форме — антитраст, по сути — экономическое регулирование химеры в экономической политике. Наиболее отчётливый пример — институт коллективного доминирования в России. Аналогично — проблема двусторонней монополии. Расшифровка генома российского антитраста традиционной теории организации рынков не по силам.

П.М. Лукичев раскрывал проблему «Новое международное разделение труда и позиция в нем России». Важнейшее экономическое последствие коронавирусного кризиса, по мнению докладчика, — это модификация мирового разделения труда. Существовавшее до пандемии разделение труда имело определённую интенсивность обмена товарами, определённую интенсивность обмена инновационными идеями, определённую интенсивность обмена услугами, определённую интенсивность обмена технологиями. Сейчас удельный вес каждого из этих видов глобального обмена не только меняется в абсолютном выражении, но и относительно друг друга.

Основные трансформации рынка труда после COVID-19 связаны с усилением процессов автоматизации и роботизации производства, расширением использования цифровизации в экономике; резким увеличением числа удалённых рабочих мест, концентрацией занятости на крупных предприятиях. В связи с этим необходима разработка и применение новых форм организации труда, наилучшим образом сочетающих обычную и удалённую работу. Для этого, в частности, необходимо «переучивать» сегодняшних студентов, готовя их к работе и взаимодействию с телеприсутствием.

В этих условиях перед Российской Федерацией стоит непростой выбор: идти ли по инерционному сценарию, надеясь на скорое прекращение пандемии, или активно развивать применение цифровой экономики, искусственного интеллекта, роботизации в России.

«Российская афазия 1990-х и формирование нового авторитетного дискурса экономической науки». Представляя доклад под таким общим заголовком *П.А. Ореховский* начал с определения афазии. Применительно к экономистам и экономической теории афазия, на взгляд автора, является удачной характеристикой ситуации смешения дискурсов («парадигмальной речи»), обусловленное невозможностью интерпретации наблюдаемой действительности в привычных категориях. При наступлении афазии у экономистов используемые ими концепты невозможно применить к «реальности», предлагаемые механизмы устранения причин будут ухудшать экономическое положение, объём «слепых пятен» будет увеличиваться вплоть до возникновения «туннельного зрения».

Выделяется марксистская афазия и либеральная афазия.

Остановимся на оценке автором либерализма. Неявной внутренней проблемой либерализма является противоречие между краткосрочными и долгосрочными целями рыночного актора. В долгосрочном периоде выгодны инвестиции в НИОКР, в «деловую репутацию», в «социальное партнёрство», в «устойчивое развитие». В краткосрочном периоде рациональным поведением является «обдирание активов», оппортунизм, «оптимизация налогов» и пр.

Для сегодняшних коммунистов СССР стал «государственным капитализмом» (социализма не было). Для либералов нынешняя РФ — «нефтяное государство», «кумовской капитализм». Но именно его они и строили.

В третьей части доклада выделяются аутсайдеры, радикалы, гетеродоксы. Аутсайдерами названы экономисты-структуралисты, которые на исходе социализма обращали внимание на перекошенную структуру экономики (в первую очередь, Ю. Яременко). Радикализм представлен персонажами, олицетворяющими две крайности: А. Илларионовым и М. Делягиным. Гетеродоксы ведут разговор в терминах власть-собственность и Восток-Запад. Их отличает разная интерпретация 1990-х: в одном случае это недоведённая до конца «модернизация» (нужна ещё одна демократическая революция), в другом — «насилие над цивилизацией».

В заключительной части доклада говорится о том, что решающим было перераспределение «государственно-политического» капитала: сделавшие ставку на Ельцина молодые «еретики» победили сделавших ставку на Горбачева «ортодоксов». Такая революция не связана «наукой», понимаемой как «приращение знания». Зато она хорошо укладывается в ситуацию афазии, когда «победители» и «побеждённые» говорят на разных языках.

По мнению докладчика, модель «зависимого развития» удачно описывает не только российские хозяйственные практики, но и нынешнюю когнитивную структуру отечественной экономической науки. Новый авторитетный дискурс, использующий основные концепты «экономикс» и «новой институциональной экономической теории» позволяет: 1) находиться в комфортной позиции «критиков правительства»; 2) вписываться в «мировую науку»; 3) защищать и воспроизводить результаты «научной революции» 1990-х, сохраняя структуру символической власти в поле экономической науки.

В докладе Ю.В. Латова «“Запрос на перемены” как результат незавершённости “антиноменклатурной” революции 1991 года» этот запрос определяется как внешне выраженный (фиксируемый, как минимум, опросами общественного мнения) посыл определённой части общества о необходимости смены приоритетов развития страны.

Рассматриваются акторы запроса в широком смысле слова — все, кто при социологических опросах выбирают «перемены», а не «стабильность» (примерно 50% россиян) — и в узком смысле слова — только те, кто не только выступают за перемены, но и как-либо действуют за перемены (участвуют в протестных выступлениях и др. — примерно 5%).

Доминирующий вектор запроса на перемены (15% респондентов: либерально-социалистическая ориентация (рынок/демократия + соцсправедливость); второстепенный вектор (5%): национал-державническая ориентация (держава + Россия для русских). Отсюда делается вывод: существует один главный идеологический вектор.

Докладчик ставит вопрос: были ли события 1989–1991/1993 гг. революцией? И видит аргументы «за» и «против». В пользу первого говорит то, что, во-первых, произошли качественные изменения «правил игры» во всех сферах (замена «власти-собственности» частной собственностью), во-вторых, произошло частичное обновление элиты, в-третьих, изменения происходили в условиях массовой политизации граждан. В пользу второго можно высказать тоже три соображения. Во-первых, в «правилах игры» произошла частичная реставрация (особенно в 2010-х), во-вторых, у власти осталась «номенклатура», в-третьих, не было массового применения вооруженного насилия.

В заключении ставится вопрос о том, дотягивает ли современный запрос на перемены до революции? И также приводятся аргументы «за» и «против». В пользу первого свидетельствуют те обстоятельства, что, во-первых, желающих перемен — половина россиян (в наиболее активных группах ещё выше), во-вторых, что желаемые большинством перемены невозможны при сохранении современного политического режима. Однако в пользу второго говорит то, что, во-первых, желание перемен у россиян слабо связано с желанием лично действовать ради этого, во-вторых, политический режим консолидирован (нет «кризиса верхов») и умело воздерживается от резких действий, способных дестабилизировать ситуацию; в-третьих, существующему режиму нет внятной институциональной и персональной альтернативы.

Доклад Д.Я. Травина «Современная Россия: советская, несоветская, антисоветская, постсоветская» завершал конференцию. В выступлении прозвучал тезис о том, что если исходить из представления, будто Россия должна была мигмом стать антисоветской, то налицо сегодня крах модернизации. С 2008 г. наблюдается застой, отказ от реформ, имеет место авторитарный режим, конфронтация с Западом, усиление цензуры, мифологизация истории, конформизм. На самом же деле, исходя из сложившихся институтов, российское общество ведёт себя вполне рационально. Наблюдается поддержка того, к чему стремились 30 лет назад: полные прилавки и рыночная экономика. И отказ от поддержки тех институтов, смысл которых пока не ясен (демократия и пр.). Наблюдается максимизация личной выгоды здесь и сейчас: отказ от рисков борьбы за преобразования, которые маловероятны; стремление вписаться в сложившуюся систему извлечения ренты, эмиграция в том случае, если есть ресурсы, обеспечивающие ее успех. К рациональному поведению относится и проявление лояльности к политическому режиму без идеологического восторга и веры в светлое будущее.

Заостровцев Андрей Павлович

zao-and@yandex.ru

Andrey Zaostrovstev

PhD (economics), research fellow in the International Center for Socio-economics Researches “Leontief Center” (St.-Petersburg)

**«ECONOMICS AND SOCIOLOGY»: XIX ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
FROM THE «LEONTIEV READINGS»**

Abstract. The paper presents an overview of the 21st annual conference held on February 11–12, 2022 from the Leontief Readings series. This time it was dedicated to the 30th anniversary of the beginning of the transition to a market economy in Russia. The conference participants presented different views on the peculiarities of the evolution of political and market institutions during this period. In the process of exchanging views and discussions, they tried to find an answer to the question: has a market economy been built in Russia, and if so, what kind? Is an alliance between Russia and international organizations (for example, the EU) possible, or does it oppose the West as a civilization alien to it? What distinguishes Russian institutions from those that have developed in market democracies? Much attention in this regard was paid to power-property as a key link in Russia’s institutional system. In general, the participants of the conference were able to present a wide range of opinions about the nature and prospects of the Russian socio-political and economic order.

Keywords: *institutions, power-property, track effect, civilization, market economy models, economic reform.*

JEL: B40, B52, D02, D72, P20, P30, P50.